Детство Маврика



ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

Детство Маврика

Евгений Андреевич Пермяк

Аннотация
Евгений Пермяк. «Детство Маврика»
Часть первая
  Первая глава
  Вторая глава
  Третья глава
Часть вторая
  Первая глава
  Вторая глава
  Третья глава
Часть третья
  Первая глава
  Вторая глава
  Третья глава
Часть четвёртая
  Первая глава
  Вторая глава

Аннотация

Эту книгу – «Детство Маврика» – я задумал, как мне кажется теперь, еще в студенческие годы, но до последних лет не решался написать ее. Меня останавливало главным образом то, что и без того много книг о детстве.

Но позднее, спустя годы, мои опасения рассеялись, потому что в жизни уральской детворы столько самобытного и своеобразного, что и при желании нельзя повторить ничье детство. Об этом говорил мне в своих письмах и знаменитый уральский сказочник Павел Петрович Бажов, говорили то же самое и мои родные. И я понял, что не написать об этом – значит спрятать от других самое дорогое, чем я располагаю.

Евгений Пермяк
«Детство Маврика»



© Евгений Пермяк, 2022
© Оформление. ООО «Издательство Эксмо», 2022

Часть первая

Первая глава

I

Рано начинаются зимние сумерки в затемнённой сырой квартире с двумя маленькими окошками, которые выходят на тесный двор высокого дома. Скучно сидеть в полумраке восьмилетнему Маврику и смотреть на стрелки будильника. Ещё целых два круга нужно пройти большой стрелке, и только тогда вернётся мама, если её, конечно, не задержат в магазине швейных машин Зингера, где она служит кассиршей. С мамой придёт свет керосиновой лампы и тепло круглой печи, остывшей за день.

Маврик мог бы и сам растопить печь и зажечь лампу. Спички так и просятся: «Возьми нас… Не бойся. Чиркни!» «Нет, нет, — отвечает им Маврик, не открывая рта. — Я дал маме честное слово не прикасаться к вам. И пожалуйста, не поддразнивайте меня. Разве вы не знаете, что обмануть маму — это самое страшное из всех самых страшных преступлений. За это мало тюрьмы…»

Спички получают по заслугам. Маврик закрывает их блюдцем. Пусть сидят в темноте и не

смеют попадаться на глаза. Один их вид наводит на всякие размышления. А Маврик был и останется порядочным человеком на всю жизнь.

Но и порядочному человеку, выучившему все уроки, невесело коротать время с мышами. Опять хлопнула мышеловка. И опять пришлось вздрогнуть. Маврик не трус, он просто немножко нервный. В прошлом году он испугался громкого пароходного свистка и стал после этого заикаться.

Нужно посмотреть, кто попался. И Маврик лезет под кровать. Попалась очень скромная, тихая мышка. Не бьётся, не бегает, не старается улизнуть. Среди таких мышей и встречаются заколдованные феи, добрые волшебницы. А вдруг это не простая мышь? Стоит только её пожалеть, и жалость снимет с неё злые чары. Пока этого ещё не случилось, но может случиться. Выпущенная мышь превратится в красавицу и скажет: «Спасибо, Маврик. Проси что захочешь, и я всё сделаю для тебя».

И Маврик скажет ей: «Пожалуйста, сделайте так, чтобы я сейчас же очутился в Мильвенском заводе, в дедушкином доме, где светло горят лампы и топятся печи, где не нужно смотреть на часы и сидеть одному в тёмной комнате».

«Только-то и всего, — скажет волшебница. — А я думала, ты попросишь лошадку пони, а то и двух… Одну себе, а другую для Санчика. Вдвоём куда интереснее скакать по улицам Мильвенского завода…»

Скажет так и тут же исчезнет, а Маврик окажется в дедушкином доме, и на дворе будут тоненько ржать две маленькие лошадки пони. Феи любят нежадных и поэтому дают им и то, что они не смеют у них попросить, но очень хотят.

Фея может сделать так, что на дедушкином дворе, за старым сараем, появится пруд. По пруду фея может пустить и пароход. Ей что?.. Махнула волшебной палочкой и сказала: «Будь пароход!» И будет пароход. Небольшой. С тремя каютами. Для мамы с папой одна. Для тёти Кати с бабушкой другая. И для Маврика с Санчиком. Хотя они могут обойтись и без каюты. Потому что им некогда будет в ней сидеть. Нужно вертеть рулевое колесо, подбрасывать в котёл дрова, давать свистки, отдавать чалки, приставать к пристаням.

Фея может сделать и так, что на пруду появятся две пристани. Тоже маленькие, но побольше кровати. И с крышей. И с флагами. Одна пристань будет называться Банная — на том берегу возле бани, а другая на этом, возле сарая, Сарайная. Или

лучше — Сарайск. Город Сарайск. Вот и езди туда и обратно… Какое это счастье!

Размечтавшийся мальчик открывает мышеловку и осторожно выпускает из неё серую пленницу. Мышь не торопится убегать в свою норку. Она оглядывается на Маврика, раздумывает о чём-то… И вот-вот, кажется, начнёт превращаться в фею, но не превращается…

На свете очень редко встречаются добрые феи. Из них Маврик знает только одну, да и та не фея, а тётя Катя.

Тётечка Катечка, а почему бы тебе не стать хоть на немножечко, хоть на одну минуточку феей? За эту минуточку ты бы успела взмахнуть волшебной палочкой и вернуть к себе своего Маврика.

Милая тётечка Катечка, ты не знаешь, как трудно сидеть без лампы и ждать, когда мама вернётся от Зингера и затопит печь. Милая тётечка и милая бабушка, мне плохо, мне холодно, а мамы всё нет и нет…

Крупные слёзы заливают глаза Маврика. От слёз ему становится ещё холоднее, и больше нет никакой возможности терпеть, он должен написать письмо тёте Кате и упросить взять его к себе, в Мильвенский завод, в тёплый дедушкин дом…

II

В тот вечер Маврику не удалось написать письмо своей тётке. Помешали слёзы, которые никак не хотели переставать литься из его глаз, да и мама вернулась раньше, чем всегда. Загорелась под потолком лампа, и затрещали в печи дрова. Мама принесла очень свежие сосиски, которые так любил Маврик. Она получила прибавку. Рубль. Рубль — это воз дров. Пусть небольшой, но всё же воз.

Мама не забыла купить и любимые царьградские яблоки. Она всё, что могла, делала для Маврика. И Маврик знал, что мама любит его. И он любил её, хотя всё реже и реже сидел у неё на коленях. Наверно, вырос. А может быть, теперь маме нужно любить не одного Маврика, потому что появился папа. Второй папа. Первый умер. Его почти не помнит Маврик. Ему тогда было три с половиной года.

Первый папа похоронен на старом кладбище против тюрьмы, где сидят «политические». На папином кресте написано: «Андрей Иванович Толлин». Маврик тоже Толлин. Тётя Катя ни под каким видом не советовала ему менять фамилию. И второй папа ничуть не обиделся на это. Навер-

но, он понимал, что нехорошо отказываться от фамилии настоящего отца. И кроме того, тётя Катя сказала, что быть мещанином города Перми Маврикием Андреевичем Толлиным лучше, чем сыном крестьянина деревни Омутихи Маврикием Герасимовичем Непреловым.

Мещанин — это мещанин, да ещё такого города. А крестьянин — это совсем другое. Хотя его новый папа совсем не похож на крестьянина и он не носит лаптей, но всё равно… Мама стала теперь Непреловой. Для неё перестать быть Толлиной ничего не значит, потому что это тоже не её фамилия, а папина. У мамы настоящая фамилия Зашеина, как у дедушки и у тёти Кати.

Но зачем на это обращать внимание. Мама со всякой фамилией остаётся мамой. Правда, не очень приятно объяснять в школе, почему он Толлин, а не Непрелов. Но что же делать. Он же сам согласился на нового папу и венчался вместе с ним и мамой в церкви на Слудке. И священник не запретил Маврику ходить вокруг аналоя, когда мама была папиной невестой, а папа — её женихом. Значит, Маврик тоже повенчанный со своим новым отцом. Они втроём праздновали свадьбу, и Маврик пил шипучее вино, разбавленное лимонадом. Оно шипело и щекотало в носу.

Папа в этот день подарил Маврику волшебный фонарь, которым можно показывать на стене туманные картины. Очень хороший фонарь, только мало картин. Шесть стёкол. Осталось пять. Одно разбилось.

Папа и теперь каждый раз, как только получит жалованье, покупает ему подарки. Хотя и не такие, как волшебный фонарь, но тоже интересные. Он и сегодня принёс подарок. Электрический фонарик с кнопкой. Стоит нажать эту кнопку, и под увеличительным стеклом, на боку фонарика, зажигается лампочка. Маврик был очень рад.

— Теперь я не буду сидеть в темноте.

Но папа сказал, что батарейки хватает только на два часа, если фонарик держать всё время зажжённым.

— Как мало! — удивился Маврик.

— Что же делать, — сказал папа и пообещал в следующее жалованье купить ещё две батарейки.

Не попросить ли Маврику денег у тёти Кати?

Нет. Он этого не сделает. Тёте Кате нужно написать не о батарейках, а совсем о другом. Да и много ли изменится в его жизни, если у него будет двадцать или тридцать батареек? От этого будет, конечно, светлее в комнате, но не там, не

внутри, где душа, где сердце, где спрятано самое главное, о чём нельзя рассказать ни папе, ни маме и никому, кроме тёти Кати и бабушки.

В комнате стало очень тепло, и мама была так ласкова, а царьградские яблоки оказались ещё вкуснее, чем они были всегда, но письмо в Мильвенский завод не выходило из головы Маврика. Оно и не могло выйти, потому что мама опять задала Маврику тот же вопрос. Она сказала:

— А не веселее ли будет тебе, если мы купим на Чёрном рынке маленького братца или маленькую сестричку?..

Мама всегда советовалась с Мавриком, и Маврик всегда отвечал то, что ей хотелось. Теперь ей хотелось мальчика или девочку. И Маврик не мог запретить ей хотеть этого. И если бы он сказал «нет», то мама всё равно бы добилась от него «да». И он ответил:

— Да.

Мама была очень рада. Папа пообещал, не дожидаясь жалованья, завтра же купить ещё три батарейки и постараться разыскать к волшебному фонарю новые стёкла с новыми картинками.

Маврик молчал и краснел. Мама и папа, наверно, думали, что он краснеет от удовольствия. А он краснел от стыда. Ему было очень стыдно

говорить неправду и ещё стыднее слушать её. Покупка братика или сестрицы на Чёрном рынке, где будто купили и его, это неправда. Он родился в Мильве, в дедушкином доме, в большой комнате, в пять часов утра восемнадцатого октября, и его принимал доктор Овечкин. Это правда. А то, что старый цыган привозит на рынок полный короб плачущих ребятишек, которых продаёт, как цыплят или поросят, — это ложь. Но в неё приходится верить. Делать вид, что веришь. Нельзя же сказать матери, что она… Что она сочиняет. Этого сказать невозможно, но невозможно и прикидываться дурачком, хотя бы в угоду матери. Это значит — тоже лгать.

Если бы у него были деньги, он завтра же послал бы длинную-предлинную телеграмму в Мильвенский завод. И может быть, он это сделает. Его первый папа когда-то служил на почте, и у него там остался товарищ. Телеграфист. Этот телеграфист всегда здоровается с Мавриком и рассказывает ему о папе. Может быть, он пошлёт телеграмму без денег или в долг?

Нет. Об этом узнает мама. Телеграфист может рассказать ей. Только письмо. Прошитое нитками и запечатанное сургучом…

III

Маврик уснул рано. Электрический фонарик лежал у него под подушкой. Мальчик улыбался во сне, и мать была очень рада, что её сын так сладко спит. Теперь никто не мешал поговорить и помечтать вслух.

— Ты знаешь, Люба, — сказал Мавриковой маме его отчим, — бумаги уже находятся на подписи. Наверно, на той неделе я буду чиновником, и тебя никто не посмеет упрекнуть за меня…

Герасиму Петровичу очень хотелось получить первый чин — коллежского регистратора — и надеть чиновничью форму. Хотя он и не останется служить в пермском окружном суде, где сейчас числится переписчиком, но, став чиновником, он перестанет называться крестьянином, что так важно для счастья Любочки и его счастья.

Ради этого он покинул Мильвенский завод, где мог занять очень хорошее место доверенного товарищества «Пиво и воды» и получать не двадцать три, а семьдесят рублей при готовой квартире с отоплением и освещением за счёт фирмы. Но всё равно бы все говорили, что писаная красотка Любочка выскочила замуж за мужика из Омутихи. И ей нечего было на это

ответить. А теперь, извините, она чиновница, жена коллежского регистратора.

— Я так счастлива, Герочка, я так счастлива, милый мой, — говорила и плакала Любовь Матвеевна на плече мужа, который станет её гордостью на той неделе, и она заложит в городской ломбард плюшевую шубу на лисьем меху, и тогда хватит денег, чтобы заказать настоящую форму коллежского регистратора.

Всё равно скоро весна, и ей ничуть не трудно бегать в драповой жакетке от Сенной площади, где они живут, до Зингеровского магазина на Чёрном рынке. А потом ему прибавят жалованье… А летом не нужно будет покупать дрова и платить за обучение Маврика в школе Ломовой.

— Всё будет хорошо, — шептала, засыпая, Любовь Матвеевна. И Герасим Петрович верил этому.

Розовый свет трёхлинейного ночника озарял уснувших надеждами. Каждый лелеял свои желания, и они очень часто сбывались во сне. Этот бескорыстный обманщик не жалел красок, рисуя спящим людям и то, что наяву не могло выдумать самое пылкое воображение.

Герасим Петрович видел себя фермером. Фермер — это новое слово, которое появилось

несколько лет тому назад. Ферма Герасима Петровича снилась ему не столь большой. Тридцать коров. Дом в три комнаты. Хорошие лошади. Пролётка на резиновых шинах. Небольшое, но и не маленькое рубленое помещение молочного завода, где будет стоять ведёрный сепаратор, бочка для сбивания сливок и пресс. Пресс прессует фунтовые кружки сливочного масла, а на кружках рельефное изображение породистой коровы и надпись: «ФЕРМА Бр. НЕПРЕЛОВЫХ». Его брат — Сидор Непрелов, умный и хозяйственный, но малограмотный мужик — тоже войдёт в компанию. И вообще вся деревня Омутиха будет кормиться, и хорошо кормиться, возле фермы. Кто сбивать масло, кто работать на молочном заводе, кто ходить за скотом. Но до этого нужно заработать и скопить деньги. Всё начинается с них. И служба в суде началась с денег. Продаётся и покупается всё, даже место судейского переписчика.

Герасим Петрович не собирается сделать хуже для своих однодеревенцев-омутихинцев. Он хочет, чтобы они ходили в сапогах, а не в лаптях, пахали плугами, а не сохами, и благодарили своего благодетеля — коллежского регистратора в отставке, фермера Непрелова.

Лучшего сна нельзя и желать. Однако же, если бы этот фермерский сон вместе с Герасимом Петровичем могла видеть и Любовь Матвеевна, то им, наверно, пришлось бы скоро проснуться. Любовь Матвеевна ни при каких обстоятельствах не будет жить в деревне. Потому что «это ужасно и невыносимо и, одним словом, кошмар».

Любовь Матвеевна видит себя женой доверенного фирмы «Пиво и воды». Квартира на втором этаже. Варшавские кровати с никелированными шишками. Ковры на полу и на стене. Большой столовый стол с двенадцатью венскими стульями. Четверги или пятницы, когда собираются гости. Преферанс и лото. Пельмени. Шуба на беличьем меху. Оренбургская шаль, которая легко продевается в обручальное кольцо, и смирная вороная лошадь. Как у Дудаковых в Мильве.

И это она отчётливо видит во сне. Видит и знает, что этот сон станет явью. Любовь Матвеевна не позволит себя обманывать даже снам. Она видит только то, что будет или, по крайней мере, может быть.

А мещанин города Перми Маврикий Андреевич Толлин по малолетству позволяет снам властвовать над собой и показывать им невозможное.

Невозможное заключалось в том, что тётя Катя

вела, ломая лёд на Каме, крейсер «Варяг» и командовала: «Наверх вы, товарищи, все по местам…» И все подымались наверх. Палили из пушек. Льдины рушились, и крейсер подходил уже к Перми, чтобы, забрав Маврика, двинуться обратно в Мильву, но в последнюю минуту «Варяг» наскакивает на огромную льдину… «Шумит и гремит и грохочет кругом…» Маврик просыпается.

Начинается утро. Обыкновенное зимнее утро, когда заглушают будильник, когда гасят ночник с розовым стеклянным абажурчиком, зажигают лампу, потому что на улице ещё темно, разогревают вчерашний ужин или просто пьют чай с почерствевшим за ночь хлебом.

Маврик, закрывшись с головой одеялом, оплакивает гибель тёти Кати вместе с крейсером. Но сон постепенно оставляет мальчика, а с ним проходит и страх…

IV

Маврик мог бы и не просыпаться так рано. В школе Ломовой занятия начинаются в девять часов утра. А до школы — пять минут. Но Маврика нужно накормить, а потом погасить лампу. Ему этого делать тоже не разрешено. И Маврику приходится уходить из дому на полтора часа раньше,

когда уходят его родители. Ничего не поделаешь — они тоже не виноваты.

Маврик обычно заходит в Богородскую церковь. Там тепло, и его знает церковный сторож. Но что делать в церкви? Смотреть на иконы? Он уже насмотрелся на них. Замаливать грехи?.. Какие?

Иногда Маврик заходит в булочную. Булочная открывается очень рано. Но в булочной можно постоять недолго. Там обязательно спросят: «Что тебе?» Не ответишь же: «Мне ничего, я просто так».

Утром необыкновенно трудно проболтаться час. Раньше он заходил к сапожнику Ивану Макаровичу, который с удовольствием разговаривал с ним. Но мама запретила заходить к нему, потому что у сапожника он может набраться скверных слов, хотя у Ивана Макаровича были только хорошие слова. Он любил Маврика. Он называл его «барашей-кудряшей». Он рассказывал ему множество интересных историй. Почему же нельзя дружить с сапожником, у которого нет детей, а он любит их? Почему?

Но мама всё равно потребовала, чтобы Маврик дал ей честное слово не заходить больше к Ивану Макаровичу, и заходить стало некуда.

Другое дело после школы. Можно пойти в го-

родской музей. Правда, он там бывал раз сорок и знает всё, от чучел зверей до двухголового ребёнка, заспиртованного в банке. Но всё равно, когда некуда деваться, можно пойти и в музей. Там его знают…

Иногда он проводит время у бабушки. У мамы первого папы. Но бабушка живёт в богадельне и не одна. В её комнате ещё шесть других чьих-то бабушек. Там нужно сидеть на одном месте и разговаривать шёпотом. А это очень трудно. Да и бабушка начинает расспрашивать, как он живёт, что делает, любит ли его новый отец, тепло ли в квартире, почему его мама давно не была в богадельне… На эти вопросы ему не очень легко отвечать. Если Маврик скажет правду, то получится, что он жалуется на свою маму, а ничего не говорить тоже нельзя. Бабушка требует рассказывать всё.

— Я же твоя родная бабушка, — говорит она, — ты ничего не должен скрывать от меня. Если что, я сумею постоять за тебя…

А как «постоять»? Обидеть его маму? Накричать на неё? Она и без того как «белка в колесе».

Если бабушка на самом деле хочет «постоять» за него, так пусть приходит после школы и посидит с ним хоть полчасика. А бабушка этого

не делает. Но и её нельзя обвинять. Наверно, ей неприятно видеть вместе с мамой другого папу… Да и папе, наверно, тоже не хочется встречаться с бабушкой, которая ему никто, а «одни только напоминания». Хватит ему и того, что Маврикий Андреевич Толлин напоминает и лицом и фамилией первого папу, а тут ещё «старая свекровка Толлиниха». Так её называет Маврикова мама.

Вот и приходится заходить в богадельню к бабушке очень редко, когда совсем некуда деться. Если бы Маврик учился в обыкновенной школе, то у него были бы обыкновенные товарищи. Как он. И Маврик мог бы приходить к ним, а они к нему. И было бы хорошо. Но в школе у Александры Ивановны Ломовой учатся мальчики, которых привозят и увозят на лошадях или приводят и уводят горничные. Не всех, но многих. А те, которые ходят сами, всё равно не кассиршины дети. У них папы не служат переписчиками в судах. У них папы господа или купцы, а мамы купчихи или барыни… И все они живут в своих больших домах или в квартирах, где много комнат, и туда нельзя приходить, как к сапожнику.

Впрочем, Маврика однажды пригласил к себе школьный товарищ Володя Морин, но потом перестал приглашать. Перестал приглашать

потому, что Володя побывал в квартире у Маврика. Побывал и увидел, что у Маврика вместо столика для учения уроков стоит ящик из-под зингеровской машины, покрытый клеёнкой. Увидел, что стульев только три и все разные, а комнат — одна. Увидел и рассказал об этом всем остальным в первом классе. И все заметно переменились. Правда, Александра Ивановна Ломова разговаривала с классом и сказала, что «бедность не порок», но всё же от этого Маврик не стал богаче, а несчастнее стал. Его при всех назвала бедным сама Александра Ивановна… А быть бедным среди богатых ещё хуже, чем сидеть одному в темноте.

Однако в классе находились мальчики, которые не обращали внимания на богатство. Например, Геня Шаньгин. Геня был паровозом. Он самый большой в классе. Его оставили на второй год. Он умел свистеть и шипеть, как настоящий паровоз. И когда в переменку играли в поезд, Геня Шаньгин подымал пары, подавал свисток, и все мальчики становились вагонами друг за дружкой, держась за ремни. Геня начинал шипеть, потом двигать локтями, как паровозными рычагами… Поезд двигался по классу, потом по большой комнате…

Маврик сначала был почтовым вагоном, а теперь его сделали простым товарным — и он мог прицепляться только к хвосту поезда. Самым последним.

Плохо быть простым товарным вагоном в хвосте поезда. Можно оторваться на крутых поворотах и полететь кувырком и больно удариться о печь. Но быть никем ещё хуже.

Спасибо Гене Шаньгину за то, что он разрешает Маврику быть в его поезде хотя и последним, но — вагоном…

V

Если бы Маврик знал, что ему так плохо будет в Перми зимой, разве бы он поехал сюда? Ему нужно было сказать всего лишь одно слово — «нет», и тётя Катя и бабушка ни за что не отпустили бы его из милой Мильвы.

Но Пермь манила его. Он любил приезжать в этот белый город. Белый город начинался дымным Мотовилихинским заводом. Мотовилиха чем-то походила на родной Мильвенский завод. За Мотовилихой сразу же начиналась Пермь. В городе Маврика ждал жареный миндаль в «фунтиках», вафли трубочками, горячие жареные пирожки, фонтан в театральном саду, извозчики,

у которых лошади так хорошо выколачивают копытами «ток-ток-ток».

Да разве можно с чем-нибудь сравнить Пермь летом. Что может быть лучше, чем стоять в набережном саду, который почему-то называется Козьим загоном, хотя там нет никаких коз. Стоять в Козьем загоне и любоваться пароходами. Сколько их тут… Любимовские, каменские, кашинские, русинские… А буксирных? А барж? А плотов? Про лодки нечего и говорить. На них можно и не смотреть.

Как было бы хорошо, если бы не застывала Кама, не заносило снегом улицы и ночи бы всегда оставались короткими, светлыми, а дни длинными и тёплыми. Тогда бы не нужно Маврику торчать в музее, в церкви, в писчебумажном магазине и вообще придумывать, куда уйти от холода и рано наступающей темноты.

Маврик многое увидел, узнал и понял в Перми. Но мог ли он увидеть больше и понять лучше увиденное, чем он мог?

И помехой этому были не только его малые годы, но и глаза, которые могли видеть окружающее и понимать его так, как видели и понимали мама, папа, тётя Катя и две бабушки.

Недавно бабушка Пелагея Ефимовна Толлина

внушала внуку:

— Кому как написано на веку, тот так и живёт. К примеру: булочник торгует булками, мужики сеют рожь, судьи судят, рабочие работают, губернатор губернаторствует, школьники учатся, нищие просят милостыньку, а царь царствует над всеми. Понял?

— Понял!

И бабушка опять начинает наставлять:

— Всякому своё, и всё от бога. И никто ничто не может изменить, потому что от бога не до порога и без него даже и волос не упадёт ни с чьей головы. Ясно?

— Ясно.

Да и как может быть неясно, когда он это же, только другими словами сказанное, слышал от первой бабушки. От главной.

Значит, так устроена жизнь не только в Мильвенском заводе, но и в Перми. Коли Агафуровым написано на веку быть хозяевами большого магазина, они и торгуют. А батюшкам в Богородской церкви написано отпевать покойников и крестить ребят — они и отпевают и крестят. Всякому своё. И было бы смешно, если бы губернатор стал играть вдруг на шарманке и предлагать билетик на счастье или отпевать покойников, а шарман-

щик ездить в карете. Не может и он, Маврик, стать вагоном-салоном или хотя бы багажным, если ему написано на веку быть товарным вагоном и прицепляться в хвост поезда. И этого нельзя изменить.

Мало ли истин, на которые можно и нужно положиться. И полагались. Терпели, обманывались и молились.

Кто же мог сказать Маврику, что богатые люди богаты потому, что бедны другие, что они обворовывают их. Этому не поверил бы Маврик, даже если бы так сказал ему и сам Иван Макарович, который очень много знает. Больше учительницы в школе Ломовой. Маврик обязательно бы удивился и спросил: если они воры, то почему же не сидят в тюрьме?

Кто мог разъяснить Маврику, что эта кража состоит в том, что одни нанимаются на работу, а другие нанимают их. Одни работают, а другие наживаются на их работе, не доплачивая им за неё.

Кажется просто, но этого бы не понял и его отчим Герасим Петрович Непрелов. Ему, как и миллионам других, не могло прийти в голову, что через семь лет рухнет это царство купцов, фабрикантов, чиновников и жандармов.

Многие ли знали, что «политические», которые

сидят в тюрьме напротив кладбища, которых иногда проводят по улицам в кандалах, — хорошие люди?

Маленький Маврик, ты ничего не знаешь. Ты даже не знаешь, что сапожник Иван Макарович, которого ты любишь и который любит тебя, вовсе не сапожник. Не такой простой была жизнь, какой она представлялась многим людям.

Если бы знал Маврик, как много будет значить в его жизни Иван Макарович!

А пока…

А пока Пермь живёт своей жизнью нужды и благополучия. Идёт тысяча девятьсот десятый год, когда, кажется, утихомирилось все и забылись недавние волнения. Волнения тысяча девятьсот пятого года. Он ушёл навсегда и как будто ничто не возвратит теперь эти опасные для империи месяцы.

Купцы Агафуровы расширяют торговлю. Пароходчики Любимовы, Каменские готовятся пустить новые пароходы. На фабриках и заводах тишина. Его превосходительство господин губернатор может безопасно ездить в открытой карете и давать открытые балы. Власть тверда и незыблема.

Так думала, так заставляла себя думать благо-

получная, богатая, верноподданная, чиновная, купеческая, епархиальная, губернаторская, чернорыночная Пермь.

VI

Когда пришло письмо, прошитое нитками, с печатью из хлебного мякиша вместо сургуча, Екатерина Матвеевна Зашеина, оставив всё, распечатывая конверт, дрожащим голосом сказала:

— Мамочка, от Маврушечки письмо, — и принялась читать вслух: — «Дорогие родители, тётя Катя и бабушка!..»

Этих слов было достаточно, чтобы высокая полная женщина, в очках, которые ей придавали особую солидность, прослезилась вместе с маленькой старушкой, сидевшей на низенькой кровати, покрытой лоскутным сатиновым одеялом. У неё сами собой вырвались слова:

— Конечно, родители! Кто же мы ему?

Написав без единой ошибки первую строку, уместив буквы в линеечки листка, вырванного из тетради, далее Маврик уже не заботился о грамматике и каллиграфии. До них ли ему, когда нужно было рассказать самое главное. О том, как «плохо ему живецца», как поздно приходит мать, как ему «нечево делать в Богородцкой церкве»…

Теперь уже тётушка и бабушка не плакали, а рыдали:

— И за что это всё, за что…

Маврик знал, как тётя Катя боится, чтобы он не простудился, и особенно выразительно написал про холод в квартире: «а вечеромъ холотно здесь и зуббы нипирастаютъ чакадь одинъ объ другой».

Платок был мокр. Екатерина Матвеевна утиралась кухонным полотенцем.

— Что же это, что это, мамочка…

Буквы письма вылезали из строк, прыгали, скакали, будто им тоже было холодно, и от них отскакивали палочки и крючки.

И так три страницы. На одной оставила след слеза, растворившая и размазавшая слово «приездяй».

Екатерине Матвеевне стало трудно дышать. Она подошла к русской печи и открыла дверцу трубы, затем снова принялась читать. Маврик умолял: «Не дожидайса ковда пройдетъ летъ на каме, а приездяй на делижанцовых лошадях».

И далее: «буду ждать тибя днём и ноччю».

И наконец, подпись: «Учён. 1-ого класса Маврикий Толлинъ».

Валерьяновых капель оказалось недостаточно.

Пришлось нюхать нашатырный спирт.

На «бессовестную из бессовестных Любку», то есть на мать Маврика, был исторгнут весь запас ругательств, которыми располагала оскорблённая тётушка. Просолонив слезами полотенце, Екатерина Матвеевна, причитая, жаловалась Мавриковой бабушке:

— Я же как в воду глядела, что так и будет. И как только мы отпустили его? О чём мы только думали? Отчим не отец, и родная мать при втором муже немногим лучше мачехи.

Далее шли «преисподние» и «тартарары» и ещё менее приятные пожелания.

За окном разыгралась метель, усиливая впечатление после прочитанного письма и сгущая краски. Екатерина Матвеевна, видящая теперь Пермь сквозь письмо Маврика, рисовала себе, как он в пургу бродит по занесённым снегом улицам города и ждёт, когда закроется распроклятый Зингеровский магазин, ни дна ему и ни покрышки и всем, кто там служит. А здесь такая благодать. Новые обои с голубенькими цветочками так оживили большую комнату, а порыжевший потолок, оклеенный белоснежной матовой бумагой, так хорошо отражает свет лампы. А для кого всё это? Для кого тюлевые

новые шторы на окнах и заново покрашенный золотистой охрой пол? Как бы он мог кататься по этому полу на своём трёхколёсном велосипедике, который обиженно стоит в углу вместе с пароходами, паровозами, клоуном, бьющим в медные тарелочки, и обезьянкой в зелёном железном сюртучке, лазающей по верёвочке.

Как бы он мог играть в этот вечер! Каким бы сладким был его сон в белой кроватке с кисейным пологом! И если она теперь ему стала мала, то разве нельзя было купить новую? А для кого томилось сегодня в русской печи хорошее молоко, которое приносит добросовестная, чистоплотная соседка Кулёмина? Как он любил молочные пенки с белыми слоёными плюшками. А что ест он там?

Дума побивает думу. Один план за другим строит Екатерина Матвеевна и не может придумать ничего путного. Она не может даже потребовать в письме: в корне изменить жизнь Маврика. Тогда «ей и ему» будет известно, что ребёнок жаловался своей тёте Кате, и от этого Маврушеньке будет ещё хуже.

Но утро, которое не только в сказках бывает мудренее вечера, подсказало хорошее решение. Утром пришло второе письмо из Перми. От Пе-

лагеи Ефимовны Толлиной. И она посоветовала «принанять старушонку, которая бы могла доглядывать за Мавриком и сидеть с ним часок до школы и часа четыре после уроков».

Как всё оказалось легко и просто. Нужны были какие-то пять рублей в месяц. Ну пусть семь, и мальчик будет не один в эти месяцы, а потом она перевезёт его сюда, в Мильву.

Через неделю в Пермь пришло обдуманное, хорошо взвешенное письмо и перевод на двадцать пять рублей.

«Дорогая Любочка, — писала Екатерина Матвеевна, — мы знаем из письма Пелагеи Ефимовны, как тебе трудно, поэтому просим тебя…»

Далее подробно указывалось, какой должна быть нанятая старушка и что должна была делать она по уходу за Мавриком. Но в конце письма Екатерина Матвеевна не удержалась и приписала: «Если же ты, Любовь, эти деньги измотаешь на другое, тогда запомни раз и навсегда, что не получишь от меня никогда ни одной копейки, ни одного лоскутка, и я вымолю у бога кару на твою голову…»

И наконец, Екатерина Матвеевна взывала к Герасиму Петровичу, как человеку рассудительному, непьющему и некурящему, исполнить

её просьбу относительно единственного племянника и самого дорогого в жизни существа — Мавруши.

Старуха была нанята. Лампа зажигалась засветло. Купили три воза дров. Топили дважды, и стало тепло. Но веселее от этого не стало Маврику. Докучливая и исполнительная старуха Панфиловна, у которой пахло изо рта чем-то тухлым, ревностно выполняла свои обязанности. Она провожала Маврика до школы, как требовала Екатерина Матвеевна, встречала его и вела за руку. И это было унизительно для мальчика, лишённого самостоятельности. Панфиловна держала его дома, потому что в её годы были затруднительны прогулки на берег Камы, куда рвался Маврик, чтобы посмотреть, не посинел ли, не собирается ли тронуться лёд. Это было всего важнее в его жизни.

Сказки Панфиловна рассказывала плохие. Про жадных попов, про кровавых царей — Злодеянов, Живодёров, Костоглодов. К тому же она часто дремала. И наконец это стало невыносимо. Старуха не облегчила, а затруднила жизнь Маврика.

— Мама, — сказал он, — я не хочу, чтобы приходила Панфиловна. Вечером теперь стало светло, и не нужно зажигать лампу.

Дни очень прибавились. Теплело с каждым днём. Тянуло на улицу, к ручьям, на оттаивающие тротуары. Зачем томить мальчика дома ради того, что так хочет тётка. Зачем платить деньги старухе, у которой такой хороший аппетит, за то, что она спит. Маврик прав, её нужно уволить, а на оставшиеся деньги выкупить из городского ломбарда лисью шубу, сшить чёрную шерстяную юбку и купить Маврику весеннее пальтишко. А если «скупая Катька» заставит вернуть оставшиеся деньги, то их можно выплатить. Летом их куры не будут клевать.

Всё оказалось разумным и правильным. Лисья шуба вернулась из ломбарда и была зашита от моли в мешок. Появилась чёрная шерстяная юбка, а затем и фотографические карточки, где папа, мама и Маврик в новом пальтишечке стоят у каменной ограды испанского замка. Папа в форме и в фуражке с чиновничьей кокардой. Мама в чёрной юбке и в модном жакете, взятом у знакомых для примерки, и в туфлях на высоких каблуках.

Очень красивая фотографическая карточка. Никто не догадается, каких трудов и забот стоит этот снимок, появившийся для того. чтобы обмануть родных и знакомых запечатлённой

на нём беспечной улыбкой Любови Матвеевны, независимым взглядом Герасима Петровича и восторженным личиком Маврика, ожидающего, что из аппарата вылетит обещанный франтоватым фотографом скворец. Скворец! Не какая-то другая птица, а та, с которой приходит весна. Милая, добрая царевна Весна-Красна из очень хорошей сказки бабушки Толлинихи.

VII

И бабушкина сказка сбывалась…

Царевна Весна-Красна шла и шла в своём солнечном платье. И это платье было столь широко, что нет на свете меры измерить его ширину. А уж долго-то оно так, что и досужий язык ретивого краснобая — малая верста в нескончаемой длине жаркого царевниного подола, протянувшегося далеко за Казань, до тёплых морей за лазоревые Крымские горы. И пока его край, отороченный кружевом, сплетённым из золотых лучей, сметает последние снега с древних киевских земель, пока расковывает ото льда преславный Дон и священный Днепр, Весна-Красна ступает на камские берега, держит путь на Север через Пермь в Мильвенские леса, в солёные Строгановские земли и дальше на Вишеру, Колву, где стоит

старая Чердынь — бабка всех городов и селений малохоженного, мелкокопанного, плохознаемого, лесного, гористого царства скрытых руд, невиданных самоцветов, ненайденной чёрной огненной воды, неслыханных кладов, позапрятанных на дне самого ветхого из всех морей — Пермского моря…

Весна-Красна в этом году рано накрыла своим жарким голубым подолом холодную пермскую землю. Если бы не ночные заморозки, то посиневший камский лёд треснул бы, тронулся и пошёл бы шелестеть, скрежетать, жаловаться на раннее таяние.

Тётя Катя снилась теперь Маврику каждую ночь. Каждую ночь она увозила его на пароходе в Мильвенский завод, но всегда что-нибудь случалось, и он просыпался. То слишком громко свистел пароход и спугивал сон вместе с тётей Катей… То возвращался неверный месяц март и замораживал пароход… То просто-напросто бессердечный будильник заглушал тёти Катин голос и возвращал Маврика из солнечного сна в серое утро…

А сегодня тётя Катя снилась так, что Маврик слышал её голос и боялся открыть глаза. Вдруг сон опять улетит и останется только ночник с

розовым стеклянным абажурчиком да насмешливый, недобрый будильник с двумя громкими колокольчиками. Как будто мало ему одного, чтобы прозвенеть людям: «Хватит спать».

Маврик слышал, как тётя Катя говорила:

— Уже десятый час, и цветику-самоцветику пора открыть свои голубые глазоньки.

Но Маврик не мог поверить. Сны вытворяживали всякое. Когда же знакомая рука, от которой пахло как ни от какой другой, потрепала его по щеке, он решил открыть один глаз. Только один, чтобы другим удержать сон.

— Деточка моя, — услышал он, — голубок мой…

Это была она, и он завизжал от радости, обнял её и, заикаясь стал спрашивать:

— Ты не во сне? Ты не во сне, тётечка Катечка?

— Да что ты, да что ты, проснись, моя худышечка… Боже мой, какие у тебя остренькие лопатки… И рёбрышки можно пересчитать… Я ведь ещё вчера приехала… С первым. Ты уже спал. Не хотела будить тебя…

Екатерина Матвеевна тут же, в постели, дала Маврику тёплого молока, мягкую плюшечку и только потом стала помогать ему одеваться.

Маврику там много нужно было рассказать,

и ему никто не мешал. Мама и папа давно уже ушли на службу. На будильнике половина десятого. И он говорит об отметках, перескакивает на электрический фонарик, потом начинает рассказывать о Панфиловне, расспрашивает о Санчике…

Рассказывая, Маврик то и дело трогает тётю Катю, проверяя, на всякий случай, не во сне ли она и не исчезнет ли так же, как вчера, как исчезала она много раз.

Екатерина Матвеевна не знает этого и очень боится за «умственное состояние» племянника. Впечатлительные дети порой заболевают по самым непредвиденным обстоятельствам…

С Мавриком ничего подобного не случилось. Он просто измучился и начал заикаться, и немножечко больше, чем раньше. Но скоро она его увезёт, и мальчик снова окажется в хорошей обстановке. От заикания не останется следа. А теперь нужно как можно скорее пойти в город по магазинам, чтобы он знал, как она любит его, и что ей не жаль для него ничего, и она готова истратить все десять рублей, которые отложены только для прихотей Маврика.

Прихотей оказалось не столь много. Нужно было купить фунт мягкой вишнёвой пастилы

беззубому сторожу Богородской церкви. Затем побольше колбасных обрезков, чтобы «чайные» и «рябчиковые» съесть без хлеба самому, а остальными досыта накормить ласковую собачонку из соседнего двора и мышей. Наверно, всё-таки одна из них, та, что смело приходила к нему на стол, когда он учил уроки, не простая мышь. Фея не фея, но какая-нибудь добрая девочка, заколдованная мачехой или кем-нибудь ещё.

И наконец нужно было купить жареного миндаля и батареек. Тётя Катя, как и мама, также боится спичек, свечек, огня. И ей будет удобно обходить перед сном с фонариком все уголки дома и проверять, не забрался ли кто и на все ли крючки заперто всё.

Как он повзрослел за эту зиму! Не прибавив в росте и одного вершка к огорчению Екатерины Матвеевны, Маврик очень часто рассуждал не по годам и задумывался над тем, что не должно беспокоить его на девятом году жизни.

Когда жареного миндаля было куплено два фунта, потому что его не найдёшь и днём с огнём в Мильве, Маврик очень серьёзно спросил:

— А останутся ли у нас, тётя Катя, деньги на билеты? — И наставительно, точь-в-точь как это делала бабушка Толлиниха, сказал: — Их нынче

надо тратить с умом. Золотые корабли к нам не приплывут.

Тётя Катя испуганно посмотрела на Маврика, глубоко вздохнула и ответила:

— Это верно, Маврушечка, но нельзя же отказывать себе в самом необходимом, — и попросила татарина-лавочника взвесить ещё фунт жареного миндаля на дорогу.

Дорога уже была предрешена. Они поедут послезавтра. В экономной одноместной каюте второго класса на пароходе с негромким свистком.

Как хорошо, что они поедут во втором классе, а не в общей дамской каюте третьего класса, где нет никаких дам и полно тёток в вязаных жакетках, которые всю дорогу тискают Маврика, сажают на колени, нахваливают его кудри и целуют толстыми мокрыми губами, не имея на это никакого права.

Пассажиру второго класса не нужно просить разрешения у толстого капитана побыть немножечко на верхней палубе и потом благодарить его, вежливо шаркая ножкой. Во втором классе можно попросить в каюту телячьи ножки, поджаренные с сухарными крошками и с зелёным горошком, вкуснее которых никогда и ничего

не едал Маврик. Разве только пельмени. Но это домашняя, а не пароходная еда.

Как знает тётя Катя все его желания! Какая начнётся теперь у него жизнь! Вернётся всё — и велосипед, и лужок за сараем, по которому можно плавать на самодельном пароходе из старых ящиков и досок. Хорошо бы купить щенка и достать настоящий спасательный круг.

Маврик приникает к тёте Кате и громко, не обращая внимания на лавочника, на покупателей, признаётся ей в любви:

— Я люблю тебя со всю Пермь, со всю Мотовилиху, со всю землю и со всё небо… А «им» тоже хорошо будет жить без меня, с другим мальчиком или с другой девочкой.

Екатерине Матвеевне, солидной женщине в очках с золотой оправой, никак не годилось давать волю слезам в бакалейной лавке, а они текли.

VIII

Вот уже всё было готово к отъезду, нужно было только сходить к бабушке Пелагее Ефимовне Толлиной. Маврик вчера побывал на папиной могилке, и тётя Катя велела обложить её новым дёрном. Это сделали тут же, при ней и при Мавррике, а потом отслужили панихиду. Мама, хотя и

знала, что нужно следить за могилкой, служить панихиды, насыпать зёрен и крошек птицам, но ей было некогда. А у тёти Кати было время. Она не забывала первого папу Маврика и привезла три крашеных яйца. Одно из них она положила на могилу и сказала папе, как живому:

— Здравствуйте, милый Андрей Иванович!

Маврику тоже нужно было поздороваться с папой и положить второе яйцо на могилку, а третье положить на другую, на дяди Володину могилу. Он тоже умер скоропостижно и преждевременно. И тоже от скоротечной чахотки, поэтому Маврику нужно беречь своё горло и завязывать его шарфом даже в тёплую погоду.

Побывал Маврик и у тёти Дуни на собачьем дворе. Пришлось прикупить колбасных обрезков для собак, которые сидят в клетках, потому что их ещё не нашли хозяева.

Зашли проститься и к сапожнику Ивану Макаровичу Бархатову, в подвал с крутой лестницей, и тётя Катя очень боялась оступиться. Но всё равно она спустилась туда, потому что «безнравственно забывать старых друзей». Маврик хотя и не знал, что значит это слово, но понимал, что поступать «безнравственно» — это плохо. Почти бессовестно.

Сапожник Иван Макарович подарил на прощание Маврику маленький молоток и привинтил резинки на каблуки его новых башмачков. Тётя Катя преподнесла Ивану Макаровичу штоф с водкой и сказала:

— Спасибо вам, Иван Макарович, за всё, за всё, — и поклонилась ему.

— Что вы, зачем же это, — стал отказываться заметно смутившийся Иван Макарович. — Я же не за это любил и люблю вашего мальчика… Мне, конечно, трудно объяснить вам, но вообще-то спасибо, поскольку это от чистой души. Когда-нибудь я сумею отблагодарить вас… И вообще… — не досказал Иван Макарович и смущённо улыбнулся.

А что он мог досказать ей? Что она произвела на него очень хорошее впечатление? Что по счастливой случайности он знает о ней куда больше, чем рассказывал Маврик? Что её мильвенский сосед Артемий Кулёмин познакомился с ним в ссылке? Что, рассказывая о своём заводе, говорил и о Зашеиных. А теперь, когда было решено создавать подпольную типографию в Мильвенском заводе, Кулёмин указал на зашеинский дом как на очень подходящий.

Ничего этого не мог сказать Иван Макарович.

И он ограничился тем, что узнал о дне отъезда и названии парохода, на котором она отправится с Мавриком.

— Желаю вам, Екатерина Матвеевна, и вашему племяннику всяческого благополучия в Мильве. Я слышал, что это очень хороший и тихий завод.

— Да, да, — подтвердила Екатерина Матвеевна и протянула Ивану Макаровичу руку в чёрной плетёной перчатке. — Желаю и вам благополучия в вашей работе. Прощайся, Маврушечка, с Иваном Макаровичем.

Иван Макарович поцеловал своего барашу в голову и, не заметя того, прослезился.

А бабушка Толлина не прослезилась, прощаясь с Мавриком. Она только благословляла и наставляла внука. Тётя Катя подарила бабушке чёрную косынку. А бабушка ничего не подарила ей. И Маврику тоже ничего.

Как оказалось, Пелагея Ефимовна не сумеет прийти на пристань, чтобы проводить Маврика. Она сказала:

— Во-первых, дальние проводы — лишние слёзы, а во-вторых, умер купец Кунгуров и меня звали читать. За это дадут никак не меньше трёшницы. При моём положении, Катенька, три рубля — большой капитал…

— Конечно, конечно, — согласилась тётя Катя и велела Маврику поцеловать бабушку.

Потом бабушка взяла толстую книгу — псалтырь, — напечатанную церковными буквами, по которой она будет читать у купца Кунгурова, и сказала:

— Я провожу вас до уголка.

На углу бабушка в последний раз поцеловала Маврика и пошла от живого внука к мёртвому купцу, чтобы обогатить новыми рублями свою пуховую копилку-подушку, завещанную Маврику, которого она видит в последний раз. И это прощальное свидание с ним, с единственным человеком, которым она хоть как-то продолжится и останется жить на земле после своей смерти, и есть самое дорогое и самое яркое в этом её последнем году.

И никто, даже тот, кого она называла «всемогущим, всезнающим и живущим в ней», не подсказал ей: «Остановись, многогрешная, в скаредности своей и запечатлись в его памяти доброй улыбкой и не рассказанной тобою сказкой про обманную злодейку Суету-Сует и прекрасную княжну Щедроту-Щедрот…»

Ах, Пелагея Ефимовна, ну зачем вам ходить читать псалтырь по покойникам и копить рубли?

Вы же так щедро одарены умением сочинять. Перенесли бы на белые листы напридуманные в длинные бессонные ночи дивные сказки. Не уносите бесценные стоцветные слова в землю на старое кладбище. Останьтесь жить своими былями-небылями в неистощимой людской любви к прекрасному. Какую бы хорошую память оставили вы по себе вашему внуку, а через него всем добрым людям. Не верите?

Не верите. Вы и не можете поверить. И вас нельзя за это винить. Вы не первый и не последний человек, не познавший себя. Идите добывайте очередной рубль. Его тоже вместе с остальными накопленными рублями выкрадет из подушки косоглазая старуха Шептаева, как только вы в последний раз закроете глаза.

Если бы всё это вы могли знать, как бы много изменилось.

Но тсс… Пелагея Ефимовна оглянулась. Она возвращается к Маврику. Может быть, сейчас произойдёт неожиданность. Зачем-то же она лезет в карман своей кашемировой юбки. Она развязывает узелок носового платка и подаёт Маврику две копейки:

— Это тебе семик на сахарное мороженое. Да не потеряй…

— Не надо, не надо, — прошептал Маврик. — У нас есть деньги…

— Ну-ну… Богач ещё какой нашёлся.

Тут Пелагея Ефимовна сунула в карман куртки внука медную монетку и ушла. Ушла навсегда…

IX

До отвала парохода оставалось более четырёх часов, а делать в Перми уже нечего. Можно бы зайти в городской музей и показать тёте Кате двухголового ребёнка, заспиртованного в банке, но это невозможно. Она тогда не будет есть два дня. Тётя Катя может лишиться аппетита, если ей показать лягушку. И не живую, а нарисованную на картинке.

Можно бы отправиться за богадельню на пустырь. Там гастролируют цирки, балаганы, показывают чудеса заезжие фокусники, факиры, властелины чёрной и белой магии… Там же продаётся владельцем прогоревшего балагана маленькая лошадка пони, которая называется загадочным и прекрасным именем Арлекин. Арлекин позволял погладить себя Маврику, и он мог на нём прокатиться за три копейки два круга. Теперь пони не нужен хозяину, потому что нужны деньги на проезд в Самару, и он продаёт

смирного и ласкового Арлекина.

Неплохо было бы добавить копейку и прокатать бабушкин семик на Арлекине. Но зачем? Зачем ещё раз расставаться, ещё раз обнимать шею, гладить исхудавшие бока и шептать: «Прощай на всю жизнь, прощай, моя маленькая лошадка, тебя, наверно, купят для богатого мальчика, пусть он любит тебя не меньше, чем я».

В нелюбимой квартире на Сенной площади делать тоже было нечего, и тётя Катя сказала, что лучше посидеть на пристани, где свежий воздух, чем слоняться по улицам. На пристани могли разрешить занять каюту раньше времени.

Так и сделали. На бирже наняли извозчика. Извозчик забрал вещи. Их было немного. Мавриковы костюмы с кружевными воротниками, бельё, волшебный фонарь и книжки. Простыней не оказалось, а одеяло совсем вытерлось. А подушки никто не возит в Мильвенский завод, когда там столько пера и пуха продают на базаре. Подушки лучше продать в Перми, а в Мильве купить новые.

Тётя Катя ни за что не захотела садиться в пролётку, пока не вылез извозчик и не подержал лошадь за узду. Лошадь может дёрнуть, когда одна нога находится в пролётке, а другая

на земле. Но лошадь не дёрнула. И вообще она, оказывается, не трогалась без громкого «но-но» и кнута. После «но-но» и кнута она бежала тоже «так себе».

— Так рано? — спросила мама.

— Да что же тянуть, Любочка, — ответила тётя Катя.

В магазине было много покупателей. Мама то и дело получала деньги за иголки, за нитки, за машинное масло во флакончике с картинкой, на которой румяная боярышня сидела за ножной машиной и шила в большой букве «З».

Маме не хотелось на прощание расстраивать сына, и она старалась говорить очень весело:

— Я осенью приеду… А лето пролетит незаметно…

Маврик знал, что мама приедет в августе или в сентябре, потому что его братцу или сестрице лучше и дешевле появляться на свет в Мильве, чем в Перми.

Поговорить в сутолоке при посторонних людях так и не удалось. Да и не о чем говорить, когда всё переговорено. Нужно скорее, пока ещё у сына сухие глаза, отдать ему большую коробку с вафлями, пирожным и с десятью катушками прочных ниток для змейков.

— Слушайся тётю Катю. Она тебя любит больше всех.

Маврик получил коробку. Мама поцеловала его и тут же, повернувшись лицом к полкам магазина, громко сказала:

— Теперь идите. Можете опоздать…

Тётя Катя повернула Маврика к двери, и вскоре лошадь снова зацокала копытами по булыжнику. Маврик не плакал, но и не радовался.

Очень хорошо, что он уезжает в свой Мильвенский завод, но было бы лучше, если бы мама не оставалась, а ехала бы вместе с ними в каюте второго класса, а папа мог бы пожить в Перми, если ему нельзя пока не служить в суде.

Маврик прижался к тёте Кате и, заикаясь, сказал:

— Хорошо бы, когда мы приедем в Мильву, послать маме какую-нибудь посылку… Она их очень любит…

Губы Маврика дрожали, как и голос.

Заметив это, тётя Катя пообещала послать очень большую посылку и указала на курносого мопсика, которого какая-то барынька вела на цепочке, а он лаял и на столбы…

— Смотри, какая отвратительная пустолайка. Разве такую куплю я тебе, как только приедем

домой?

X

На пристани боцман сказал:

— Четвертак — невелики деньги, зато загодя будете чин чином сидеть в своей каюте.

Тётя Катя с радостью согласилась, и они очутились в беленькой, пахнущей краской каюте. Теперь можно было пробежаться по палубе, ощупать спасательные круги, познакомиться с официантом, который принесёт телячьи ножки, или запереть багаж в каюте и отправиться на берег, где множество лавчонок, ларьков, лотков, где торгуют пирогами, пирожками, жареным мясом, копчёной рыбой, вяленой воблой, кислыми щами, овсяной бражкой, тыквенными семечками, живыми раками, печёными яйцами, красным топлёным молоком… Где торговки кричат, зазывают, ссорятся из-за покупателей, сбивают цену, обсчитывают, где мазурики шарят по карманам, шарманщики предлагают купить на счастье билетик, который вынимает из ящика общипанный попугай, где свистят полицейские и забирают воришек, где кишмя кишит народ, куда бы ни за что не пошла тётя Катя, если б не надо было ей отвлечь Маврика.

— Батюшки-матушки, как это мы забыли с тобой купить пеклёванного хлеба и вчерашней «четырешки» для чаек.

И они идут через пристань по мосткам, навстречу потоку крючников-грузчиков с большими кулями. То и дело слышится «эй, поберегись». С грохотом катятся тачки с ящиками, с тележными колёсами… Пахнет весенней рекой, смолой, воблой. Множество запахов. Тьма людей. Славно журчит под мостками Кама, а на берегу ещё веселей.

Екатерина Матвеевна покупает свежий пеклёванный хлеб, потом вчерашнюю «четырешку», вместо четырёх копеек фунт — по три. Тётя Катя не жадная, а бережливая. Чайкам всё равно. Чайки не разбирают, вчерашний или сегодняшний хлеб им бросают.

Думая о чайках, Маврик безразлично смотрел, как взвешивается хлеб, как расплачивается тётя Катя.

— Хорошо бы, — мечтательно сказал он, — наловить чаек корзины две, увезти с собой в Мильвенский завод… Прикармливать каждый день, и развелись бы у нас в Мильве чайки.

Екатерина Матвеевна хотела было одобрить затею, но послышался голос:

— А я тоже еду в Мильвенский завод…

Маврик и Екатерина Матвеевна оглянулись. Перед ними стоял темноволосый мальчик с огромными чёрными глазами.

— Ты кто? — спросил Маврик.

— Я Иль!

— Такое имя?

— Да. Так зовёт меня папа, а мама — Ильюшей. А тебя как зовут?

— Мавриком. А на каком пароходе ты едешь, Иль?

— На том же, что и ты.

— А в каком классе?

— Мама, я и Фаня во втором, а папа в третьем.

— А почему он в третьем?

— Так ему больше нравится.

Мальчик производил хорошее впечатление на Екатерину Матвеевну. На нём была хотя и старенькая, но чистая, тщательно заштопанная куртка. Смугловатое лицо, уши, нос тоже были безупречно чисты, и густая шевелюра, отливающая на солнышке, кажется, тоже была вполне в приличном состоянии. Кроме этого, он едет во втором классе. И самое главное, мальчик поможет Маврику скоротать время до отвала парохода. Екатерина Матвеевна сказала:

— Сейчас мы выйдем из толчеи и начнём знакомиться…

И они втроём направились к Козьему загону. Черноглазый весёлый Ильюша понравился Маврику, а Маврик — ему. Они сдружились и выяснили всё, не сделав и ста шагов. В этом возрасте люди не требуют многих подробностей. Маврик будет учиться во втором классе, и он во втором. Маврику было трудно жить в Перми. И ему было нелегко. Разве этого недостаточно?

Но Екатерине Матвеевне хотелось знать больше, и она спросила:

— Кто твой папа, Ильюша?

— Мой папа штемпельщик. Он умеет делать очень хорошие штемпеля и печати. Вот посмотрите.

В доказательство мальчик вынул из кармана куртки небольшой штемпель, подышал на него, затем отпечатал им на своей руке — «Илья Киршбаум».

— Какая прелесть, — похвалила Екатерина Матвеевна прочитанный оттиск. — Только зачем же ручку-то пачкать?

— А на чём же я мог показать?

Видя, что довод неотразим, Ильюша лизнул напечатанное на руке и стёр рукавом, доказывая

этим, что только так, а не иначе он мог поступить.

— А кто твоя мама, Ильюша?

— Она теперь просто мама. Нас же двое у неё. Фаня ещё ничего, а меня приходится воспитывать. А вообще-то мама — наборщик первой руки. Но что ей платили? Жалкие гроши. Папа тоже зарабатывал мало у своего хозяина. Зато хозяин неплохо зарабатывал на папе.

Екатерина Матвеевна, внимательно слушая, отлично понимала, чьи слова повторяет маленький говорун.

— И вы решили переехать в Мильву?

— Не в Екатеринбург же нам ехать? — снова серьёзно принялся рассуждать мальчик. — В Екатеринбурге штемпельщиков больше, чем клопов в ночлежном доме. А в Мильве папа будет один. Ну пусть два. Типография Халдеева тоже пробует делать штемпеля и печати, но это же не печати, а сырые блины.

Выговорившись и расположив к себе Екатерину Матвеевну, Ильюша попросил разрешения побегать с Мавриком по Козьему загону.

— Я буду козлом, а ты будешь меня загонять.

Маврик с радостью согласился. Что ещё лучше можно было придумать до первого свистка.

Козлом Ильюша оказался преотличнейшим. Он бегал на четвереньках, подымался и кричал «ме-е-ке-ке». Требовал афиш, заявляя, что афиши его самый вкусный обед.

Сидя на лавочке Козьего загона, Екатерина Матвеевна любовалась двумя кудрявыми головками, мечущимися по большому, безлюдному в эту пору дня набережному саду. Сентиментальная и в меру мечтательная Екатерина Матвеевна думала о встрече Маврика с Ильюшей, в котором тоже так рано проглянул взрослый человек.

XI

Отец Ильюши Григорий Савельевич Киршбаум и был тем самым организатором подпольной типографии, которого Иван Макарович Бархатов всячески стремился поселить в зашеинском доме. По замыслу Ивана Макаровича и Киршбаума, знакомство должно было состояться на пароходе. Анна Семёновна Киршбаум должна была разговориться с Екатериной Матвеевной, но всё оказалось проще, естественнее и быстрее.

Киршбаум не знал в лицо Екатерину Матвеевну, но узнал её по приметам. Очки в золотой оправе. Чёрная кружевная косынка. Степенна в походке, взгляде и разговоре. Родимое пятно

на подбородке. И наконец, самая безошибочная примета — кудрявый, голубоглазый мальчик в бархатном костюмчике с белым кружевным воротником. И когда Киршбаум увидел Маврика на мостках вместе с его тёткой, он сказал сыну:

— Иль, не лучше ли, чем сидеть на багаже, познакомиться с этим мальчиком? Вам же вместе ехать…

И тогда Ильюша пошёл за Мавриком и его тёткой. А теперь они возвращались втроём. Екатерина Матвеевна вела за руки по шумным мосткам обоих мальчиков.

— А это, тётя Катя, моя мама, мой папа и моя сестра, — сказал Ильюша, подводя Екатерину Матвеевну к своей семье, сидящей на багаже.

— Илья, ты с ума сошёл, — оговорил его отец, — может быть, госпожа, которую ты так невежливо называешь тётей Катей, и не желает знакомиться с нами…

— Ну как вы можете так, — смущённо сказала Екатерина Матвеевна, протягивая руку. — Здравствуйте, Анна Семёновна, здравствуйте, Григорий Савельевич…

Киршбаум оживился, пожал плечами и весело сказал:

— Как? Этот маленький чертёнок уже предал

своих родителей?..

— Так нельзя, — остановила его Екатерина Матвеевна. — Так нельзя называть младенца, Григорий Савельевич…

Не договорив, она услышала:

— Бараша-кудряша!

Маврик оглянулся. Ну конечно, это он, сапожник Иван Макарович Бархатов.

— Как вы любезны, — сказала ему Екатерина Матвеевна.

А он:

— Как на шиле сидел всё это время. Дай, думаю, сбегаю на пристань. Невелико время полчаса, а помнить не один год будешь.

Иван Макарович Бархатов на пристани оставался недолго. Ему нужно было, чтобы Киршбаум увидел его разговаривавшим с Зашеиной и Мавриком. Бархатов нарочно громко называл Екатерину Матвеевну, а Киршбаум, проходя в это время на пароход, тоже громко сообщал своей жене:

— Теперь я вижу, что не только ты считаешь меня пентюхом, но и другие…

— Ильюша, Ильюша, — предупреждающе крикнул Маврик, — осторожно по сходням…

— Я знаю, я знаю, — отозвался Ильюша. — И ты

иди. Сейчас засвистит второй.

Бархатов понял, что его опасения были напрасны. Он мог бы и не приходить на пристань. Ему очень хотелось сказать Маврику об Ильюше: «Какой хороший у тебя новый знакомый», но большая конспирация не терпит и малых промахов. Поэтому Киршбаум и Бархатов на прощание даже не обменялись взглядами.

Иван Макарович не стал дожидаться второго свистка.

— Прости, мой дружок, тороплюсь. Не забывай меня…

— Никогда. Никогда, — ответил Маврик и протянул руки к шее Бархатова.

— До свидания, Екатерина Матвеевна, — сказал Бархатов и поцеловал ей руку.

«Бывают же и среди сапожников обходительные люди, — подумала она. — Конечно, может быть, он зашёл по пути. Но всё равно нужно быть благодарной ему. Хоть один человек да проводил Маврика. Пусть не до третьего свистка, но проводил».

— Маврик обязательно вам напишет, Иван Макарович… Дай бог вам всего хорошего…

И они расстались.

Маврик в кармане своей куртки обнаружил

надувного чёртика и пачку с множеством картин для волшебного фонаря.

— Ты смотри, тётя Катя, — радовался мальчик, — папа не сумел разыскать их, а он разыскал…

Это были картинки к сказкам «Конёк-горбунок», «Про братца Иванушку и про сестрицу Алёнушку» и особый пакетик с картинками к рассказу Л.Н.Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет».

— Как это хорошо, как это хорошо с его стороны, — твердила Екатерина Матвеевна и в первый раз в жизни подумала, что за такого человека она, может быть, и могла бы выйти замуж. Правда, у него не очень чистые руки… Они, кажется, в дратвенном вару… Но зато сам он чистый и, безусловно, честный человек.

XII

Третий свисток засвистел скорее, чем думал Маврик. Пароход постоял ещё с полминуточки, потом убрали сходни. Послышалась команда:

— Отдать носовую, — и зашумели плицы колёс.

Потом отдали кормовой канат с большой петлёй. Петля шлёпнулась в воду и стала ползти на

пароход.

Пароход шёл против быстрого течения всё ещё прибывавшей воды вверх по Каме. С пристани махало множество рук, зонтов, шляп, платков. Маврик тоже махал тёти Катиным кружевным платком. Не им, а городу. Вокзалу. Перми первой, Козьему загону, белым домам, мощёным, оживающим весной улицам, и маме. Прощай, Пермь, с театральным садиком и городским музеем. Прощайте, Богородская церковь и школа Александры Ивановны. Прощайте, Геня-паровоз и мальчики-вагоны. Пассажирские, почтовые, служебные. Пусть вы и не очень хорошо относились к товарному вагону и никогда не разрешали ему быть хотя бы багажным вагоном, но всё равно Маврик не сердится на вас и не желает вам колов и двоек. Это безнравственно.

Маврик смотрит на похорошевшую и ожившую в мае Пермь, жалеет и не жалеет её. Пусть смутно, но всё же он начинает представлять, что есть две Перми. Пермь богатых и Пермь бедных.

Ему ещё много надо прожить, чтобы понять, как устроена жизнь и почему у одних есть всё, а у других ничего или очень мало, хотя и теперь он задумывается об этом, глядя на оборванных людей, сидящих внизу на корме парохода между

канатами и клеткой с живыми цыплятами. На корме едут и дети. Они с удовольствием съели бы всю «четырешку», потому что едят чёрный хлеб с солью. Значит, он, и тётя Катя, и мама с папой живут лучше их. А они едут даже не в третьем, а в четвёртом классе, где общие нары и железный пол.

Пермь остаётся позади. Всё меньше и меньше становится высокий кафедральный собор, от которого так недалеко мама получает деньги за иголки, за нитки, за масло для швейных машин.

Вспомнив о маме, Маврик вспоминает о копейке, которую она дала ему, чтобы подарить её Каме. Это нужно делать каждый год при первой встрече с рекой, чтобы она была доброй и в ней нельзя было утонуть.

Маврик находит в кармане монетку и бросает её в воду. Чайки кидаются за ней, думают, что это хлеб, но монетка тонет в сероватой воде, и птицы остаются ни с чем. Это смешит Маврика, но ненадолго. Он снова думает о маме, о папе, о бабушке, об Арлекине, о белой собачке в клетке, о серой осиротевшей мыши, совсем забывая, что рядом с ним стоит тётя Катя и что от неё нельзя ничего спрятать. Она знает, о чём он думает.

— Милый мой, не нужно вспоминать обо всём

этом. Тебе ещё рано морщить лобик. Пусть всё остаётся за кормой парохода, — сказала она и махнула рукой на берег. — Пойдём лучше на нос и будем смотреть вперёд.

Екатерина Матвеевна увела племянника на нос парохода.

Нелегко пароходу бороться с могучей вешней водой. Наверно, кочегары сейчас подбрасывают и подбрасывают в котлы большие поленья, чтобы пароход мог хоть как-то ускорить свой ход против течения.

Деревья выше колен в воде, а некоторые даже по макушку. Низкие берега залиты далеко-далеко, а высокие берега зажимают Каму так, что река не течёт, а мчится.

Скоро будет видно, как впадает в Каму очень красивая река Чусовая. И вообще, есть на что смотреть с парохода. Берега становятся выше и круче. У каждого из них свой цвет. Попадаются встречные буксиры, плоты и баржи. Разглядывать их тоже интересно, а Пермь всё равно стоит перед глазами, хотя она и далеко за кормой парохода, за многими поворотами реки.

Конечно, нужно смотреть вперёд, но не оглядываться тоже невозможно. Потому что человек — не пароход. У него ничего не остаётся за кор-

мой, а всё сохраняется в нём и с ним. В нём и с ним хорошее и плохое. И ничего нельзя выгрузить, оставить на какой-либо из пристаней и забыть, потому что он человек, а не пароход. Но…

Но всё-таки нужно смотреть вперёд.

Вторая глава

I

От камской пристани до Мильвенского завода не так далеко, но и не близко. Екатерина Матвеевна перед отъездом сговорилась с кузнецом Яковом Кумыниным, чтобы он подал свою смирную Буланиху, а потом послала ему телеграмму, какого числа и во сколько придёт пароход. Она могла бы нанять крестьянскую лошадь и не платить Кумынину за прогон на пристань и обратно, да ещё подёнщину за потерянный на заводе день. Однако же Яков Евсеевич повезёт не тряхнув, захватит одеяла и подушку для Маврика, постелет в коробок хорошего сена, прихватив на случай ненастной погоды большую старую столовую клеёнку.

Киршбаумы наняли крестьянских лошадей. Они еле разместились со своим багажом на двух телегах. Ильюша, вчера допоздна просидевший со своим новым товарищем на палубе, теперь сладко спал подле матери. Маврика, тоже сонного, уложили в коробок, где он, укрытый тёплым стёганым одеялом, проспал всю дорогу до Мёрт-

вой горы, с которой открывался вид на Мильву.

Очень не хотелось будить его на горе, но это было ему обещано, а не сдержать обещанное невозможно. Правдивость и в мелочах для Екатерины Матвеевны была святая святых. «Как я могу требовать с ребёнка того, что не выполняю сама!»

На вершине горы Буланихе было сказано «тпру», и она, довольная, остановилась, а Екатерина Матвеевна сказала:

— Мавреночек, я сдержала своё обещание, но, если не хочешь, можешь не просыпаться. Мы потом сходим с тобой на Мёртвую гору, когда пойдём навещать дедушку.

Маврик встрепенулся, широко раскрыл глаза, сбросил одеяло, выпрыгнул из коробка и громко крикнул:

— Мильва!.. Мильва!..

Ему хотелось крикнуть что-то ещё, может быть «милая» или «здравствуй», но не хватило воздуха. Он задохнулся, увидев огромный пруд, освещённый солнцем, разноцветные дымы заводских труб, дома и улицы, начинающие зеленеть деревья и всё, что называлось таким дорогим словом «Мильва» и даже «Мильвочка».

Редкий человек, приезжая в Мильву, знающий

её или видящий впервые, не останавливается на этой горе и не любуется панорамой Мильвенского казённого завода.

Сам завод находится в глубине большой зелёной долины, ниже плотины пруда. Так ставились почти все старые уральские и приуральские заводы, где падающая вода была главной силой, приводящей в движение плющильные и прокатные станы, мехи доменных печей и всё, что было не по силам коням и людям. Теперь пар потеснил воду, но всё же не заменил её полностью. Могучий Мильвенский пруд и по сей день отдаёт свои силы многим цехам завода.

Заводом здесь называют не одни лишь фабричные корпуса, но и самый заводской посёлок. Завод в понятии мильвенцев — это не село и не город, а нечто стоящее между ними. В центре Мильвы плавят сталь, прокатывают и куют железо, сооружают котлы, корпуса судов, а по улицам бредут стада коров и овец, в конюшнях ржут лошади, на дворах гогочут гуси, квохчут куры и хрюкают свиньи.

У Мильвы свой запах. Она пахнет и фабричным дымом и прелой, унавоженной землёй огородов. И тот же Яков Евсеевич Кумынин на заводе кузнец, а дома сельский житель. У него богатый

огород, корова, буланая лошадь, две овцы, свинья, гуси и куры, а он ни мужик, ни крестьянин, а мастеровой человек, как в большинстве жители Мильвы, которых «кормит завод-батюшка, а подкармливает земля-матушка».

Для Маврика пока ещё непонятны эти особенности и подробности жизни родного завода. Ему сейчас важнее всего увидеть дедушкин дом, а он не может его найти среди множества домов, сгрудившихся в низине.

— Да вон же он, вон, — говорит Яков Евсеевич, — с красной железной крышей, куда я указываю пальцем, подле тополей.

Теперь можно ехать.

Под гору Буланихе легко бежать. Она, чуя близость скорой кормёжки, весело помахивает хвостом. Маврику хочется пересесть на козлы, но из коробка тоже видно отлично, как начинается Мильвенский завод. Он начинается не обжитыми ещё «концами» улиц. Здесь не все дома достроены. Некоторые из них стоят непокрытыми срубами. Нет изгородей. Нет сараюшек.

Чем ближе к центру, тем больше и чернее деревянные дома. Каменные начнутся в самом центре. Их не так много, и все они двухэтажные, но есть один трёхэтажный дом — это дом Чура-

ковых. В нижнем этаже чураковский магазин, а в двух верхних живёт нотариус Шульгин с женой и дочерью Ниночкой, которая хочет и пока не может выйти замуж. Большой дом и у провизора Мерцаева. У него своя аптека и сын Игорь. Он старше Маврика на два года. У него настоящие сабли и ружья. Игорь не водится с Мавриком. Ему неинтересно. Может быть, теперь он обратит на него внимание? Ведь Маврик — ученик второго класса.

А вот дом старого уважаемого мастера Матушкина. Скромный такой дом, с приветливыми окнами и добрым крылечком. Дома, как и собаки, похожи на своих хозяев. У гостеприимного и сердечного человека никогда не бывает злой и кусачей собаки. Они просто не уживутся вместе в одном доме. Жадный, скаредный хозяин не может держать ласкового пуделя, как не может любить бездельничающая пустая дама умную собаку. У неё болонка-пустолайка. Обо всём этом так хорошо рассказывал Маврику милый Иван Макарович, на которого очень походит улыбающийся кулёминский деревянный дом с резными наличниками. Так и кажется, что его строил Иван Макарович.

За чопорным домом Чураковых Буланиха сама

свернёт влево, на Большой Кривуль. На углу Большого Кривуля и Ходовой улицы — дедушкин, похожий на бабушку, дом.

— Ба-буш-ка-а-а!.. Я приеха-а-ал!

Маврик закричал так громко, что о возвращении Маврика узнали все соседи и, конечно, Санчик, проснувшийся с солнышком. Оказывается, он сидел на воротах, чтобы первым увидеть Маврика и броситься к нему навстречу.

— Санчик!

— Маврик!

Мальчики обнялись.

Из окна хмурого кирпичного краснобаевского дома послышался весёлый женский голос:

— Вызволили Маврикия Андреевича? С приездом, Екатерина Матвеевна! Здравствуйте…

— Здравствуйте, — ответил Маврик, наскоро раскланявшись, и побежал вместе с Санчиком к бабушке.

Какое счастливое солнечное утро. Как пахнет распускающимися тополями, как хорошо в объятиях своей бабушки, при которой не нужно думать, как себя вести, что можно и что нельзя говорить.

— Бабушка… Я приехал, бабушка… Навсегда. На всю жизнь!

— Дитятко моё, — обнимает его старушка. — Мой маленький Матвей Романович, зашеинская кровушка, дедушкина кудрявая головушка, бабушкины глаза… Дождалась, дожила!

— И я дожил, бабушка… Где велосипед?..

II

Мальчики с Ходовой улицы ещё не знают, как следует им отнестись к новичку в плюшевом костюмчике с белым кружевным воротником. Принять ли его в свою ватагу или начать дразнить, как поповского сына Лёвку, и придумать обидное прозвище? «Неженка», «Полосатик» — Маврик приехал в полосатых чулках. «Зашейная жужелица» — по дедушке он Зашеин. «Поганый гриб» — у Зашеиных в пустующем огороде растёт уйма шампиньонов, которые в Мильве считаются несъедобными, погаными грибами. Можно прозвать и просто «Поганкой». Должно же у него быть какое-то прозвище, как у всех на Ходовой улице. Ну, а если зашеинский внук окажется «ничего себе» и разуется, как они, не начнёт воображать из себя городского, то можно прозвать как-нибудь получше.

Маврику и Санчику, нашедшим друг друга, не было дела до мальчишечьего сбора на улице.

Им нужно скорее по одному разику прокатиться на велосипеде, проверить, цела ли ёлочная коллекция, побывать в старой бане, слазить на сеновал, заглянуть в погреб, заново покрытый, как все строения, железом, потому что поросшие зелёным мхом тесовые крыши сгнили и стали теперь ещё не распиленными дровами. Вот бы в Пермь все эти доски!

Кажется, не хватит дня, чтобы всё проверить и осмотреть. А проверить нужно ещё очень много. Маврик должен знать, вывелись ли скворчата, или скворчиха всё ещё сидит в скворечнице и высиживает их. Очень важно решить, что можно сделать с грудой старого кирпича. Не соорудить ли из него кафедральный собор или пермскую тюрьму? Если тюрьму, то можно по очереди одному быть арестантом, а другому стражником.

Санчик согласен на всё. Он моложе на один год Маврика и чувствует себя при нём. Он знает, что хотя старший товарищ никогда не обидит его, но всё же он старший. И ему нужно быть капитаном, а Санчику помощником. А если они вздумают играть в церковь, то Санчик не может стать священником, а всего лишь диаконом. Но в церковь лучше играть зимой, а сейчас, летом, играй хоть во что. В охоту на тигров. В шарманщиков. В бро-

дяг, которые в бочке переплывают Байкал. Бочка есть, а Байкалом может быть двор или лужок за сараем. Но лучше всего играть в пароход. Верёвок для чалок много. Старая труба от железной печки ничуть не хуже пароходной, а большая кованая четырехрогая «кошка», которой достают упавшие в колодец вёдра, самый настоящий якорь. Котлом может стать медный ведёрный самовар. Он также валяется.

— Давай, Санчик!

— Давай…

Нелегко сделать хороший пароход, но можно, если не пожалеть сил и не бояться испачкаться. Корму и нос лучше всего выложить из старого кирпича, а первый и второй классы сделать из ящиков, палубу из досок, а мачту… Мачта найдётся — был бы пароход.

И вот уже за сараем на лужке закладывается пароход. Приличный пароход, но не такой, каким он мог бы быть, если бы мышь оказалась феей. А она не оказалась ею. Зато пришёл другой волшебник, который может сделать всё.

— Здорово, пароходчики!

— Здравствуйте, Терентий Николаевич!

— А корма-то косая и нос с изъяном, — говорит он и подымает Маврика своими сильными рука-

ми, чтобы лучше рассмотреть его.

Терентий Николаевич Лосев теперь на пенсии. У него старый-престарый дом на Лесной улице. К пенсии ему приходится прирабатывать где придётся. Для Екатерины Матвеевны он незаменимый мастер. Подновить ли сруб погреба, наколоть ли дров, починить забор, подмести двор, вставить стекло в раму — всё может Терентий Николаевич.

Екатерина Матвеевна дорожит Терентием Николаевичем. И он дорожит хорошим к нему отношением. Сегодня у него особые поручения.

— Тереша, дорогой, — попросила его Екатерина Матвеевна, — Мавруше нужно не дать заскучать без матери… И я, Терешенька, всё согласна сделать, лишь бы отвлечь его…

— Катенька! Катерина Матвеевна, не толкуй ты мне, пожалуйста, зря. Зачем-то же струмент при мне. Неужели я сам не знаю, что понадобится собачью будку сколачивать! Щеночек-то у меня уж совсем подрастает. Через неделю можно брать, — говорит и смеётся весёлый Терентий Николаевич, размахивая огромными ручищами.

— За это спасибо тебе, Терентий Николаевич. Щеночек пусть растёт, а пока нужно строить пароход.

— Что ж, можно и пароход. Старых досок достаточно. И краска от ремонту, — он делает ударение на первом слоге, — осталась. Только я покурю для разгона, чтобы в голове не шумело…

В ответ на это Екатерина Матвеевна сдержанно наливает в гранёный стакан «разгонное».

Они понимают друг друга.

— Теперь можно хоть пруд прудить, хоть мосты мостить, — говорит Лосев, закусив выпитое куском рыбного пирога.

А потом, оказавшись за старым сараем, Терентий Николаевич незаметно для мальчишек, а может быть, и для самого себя, входит в игру.

— Ненадёжно, господа судовые мастера. На этакой посудине и утонуть недолго, а уж на мель сесть — как пить дать. И палуба низка, и в каюте двум котам не разойтись.

Маврик не спорил. Он знал, что Терентий Николаевич говорит плохо о начатом пароходе не для того, чтобы посмеяться, а чтобы сделать лучше.

Так и случилось.

Терентий Николаевич вбил пять кольев, обшил их досками, и получился почти настоящий нос парохода. С него уже можно было бросать настоящую чалку и отдавать якорь.

Ямка за ямкой — четыре ямы, четыре столба.

Опять доски. Доски с боков, доски сверху.

Тётя Катя зовёт обедать, но до обеда ли, когда прорезаются окна и вставляются настоящие рамы со стёклами, валявшиеся в каретнике.

— Шабаш! — командует Терентий Николаевич. — Свисток на обед. — И он свистит куда громче и «настоящее» Гени Шаньгина.

В кухне накрыт стол. Деревянные ложки, общая чашка, а в чашке уха. Всё по-настоящему. Кормят, как плотников, которые рубили новую баню, когда Маврик был маленьким.

— Пожалуйста, рабочие люди, садитесь за стол, — приглашает тётя Катя и отрезает по большому ломтю ржаного хлеба каждому.

Маврик не знает, что всё это делается для того, чтобы он ел. Ел с аппетитом и здоровел. И Маврик ест. Он решительно откусывает от ломтя чёрный хлеб, зачерпывает за Терентием Николаевичем полную ложку ухи, дует на неё, а потом проглатывает и счастливо улыбается, переглядываясь с тётей Катей. Она не ест. За этим столом на кухне могут есть только рабочие люди. И они едят. Уписав уху, принимаются за гречневую кашу с маслом. Тоже из общей чашки и теми же деревянным ложками.

После обеда Терентий Николаевич набивает

махоркой свёрнутую из белой бумаги цигарку и долго курит её, а потом, видя нетерпение Маврика, говорит:

— Шут с ней… Пошли на пароход…

И мальчики с шумом и криком бегут за Терентием Николаевичем.

III

Терентий Николаевич увлёкся строительством парохода не меньше ребят. Наверно, в его шестьдесят с лишним лет проснулось недоигранное детство. Он рано пошёл в судовой цех нагревать заклёпки. С тех пор от темна до темна Лосев проработал без малого пятьдесят лет в судовом цехе. Помешала болезнь, случившаяся «от надсады». Уж он-то знал, какие бывают пароходы.

Не подёнщины ради, не ради отплаты покойному мастеру Матвею Романовичу за его добрые дела, а для своей душеньки строил он, потому что дитё должно жить во всяком старике, ежели он «путный человек».

Терентий Николаевич себя чувствовал «путным человеком», поэтому понимал, что пароход без дыма всё равно что собака без голоса.

— Катенька! Ты не бойся, дорогая моя, — увещевал он. — Ну какой же может быть пожар,

если в старый самовар накласть угольев, поверх их навалить сосновых шишек, а лучше ладану. Дымить будет так, что и ты залюбуешься.

Екатерина Матвеевна колебалась — можно ли играть церковным ладаном, которого осталось с фунт после похорон Матвея Романовича.

— Так не в кабаке же он будет дымить, Катенька, — продолжал убеждать её Терентий Лосев, — в божье же небо дым от него пойдёт. И Матвею Романовичу оттуль будет видно, как хорошо живётся-играется его внучоночку.

Это решило исход дела. Ладан был выдан, и пароход задымил сизым, пахнущим церковью дымом.

Маврик и Санчик завизжали от восторга. На заборе появился босой розовощёкий мальчик. Это был Толя Краснобаев. Маврик сразу же узнал его и зазвал к себе.

— Хочешь быть рулевым? Ты умеешь править?

— Нет, — застенчиво признался Толя, — я лучше пока побуду матросом.

Следом за Толей на заборе показался его брат Сеня. Он был старше Толи, но ниже его ростом, зато коренастее и крепче. Тётя Катя называла его «очень самостоятельным мальчиком», которому можно доверять, и предложила заведовать

«котлом» и подсыпать в самовар, то есть в котёл, уголь и ладан.

Сеня, довольный этим, серьёзно мотнул головой, понимая, какая ответственность возлагается на него.

Не хватало матросов. Маврик вышел через калитку и сказал ребятам, приникшим к щелям забора:

— Нужны матросы, пассажиры и грузчики.

Ребята переглянулись. Смелые на улице, не все из них набрались храбрости появиться на зашеинском дворе, где они никогда не бывали. Выручил Толя:

— Маврик, ты иди и свисти, а я выберу, кому кем быть.

Засвистел пароходный свисток. Засвистел он не ртом Терентия Николаевича, а резиновым кругом, к которому была приделана свистулька. Отвернёшь у круга запорную шайбочку, затем сядешь на круг, из него начнёт выходить воздух, и он засвистит, а потом опять надувай и садись. Сколько раз сядешь, столько и свистнет.

Трижды надули круг. Трижды просвистел пароход. Тётя Катя, бабушка, Терентий Николаевич, Толина и Сенина мама остались на «берегу».

— Отдать носовую, — скомандовал Маврик.

И носовую начали выбирать.

— Руль налево. Отдать кормовую. Полный вперёд.

И пошёл белый, крашенный известью пароход с чёрной трубой на всех парах. Замахали руками на «берегу». Направо-налево поворачивает Санчик рулевое колесо. Ходит капитан Маврикий Андреевич по палубе и смотрит в маленький тёти Катин бинокль, велит то с того, то с другого бока махать встречным судам белым флагом, сделанным из носового платка, раздувает во всю мочь Сеня котёл-самовар, и валит сизый дым из трубы с красной полосочкой…

Маврик не может сдержать себя… Прыгает в «воду» с верхней палубы и сначала «плывёт», а потом бежит по зелёной «воде»-мураве к тётечке Катечке, целует её, целует Терентия Николаевича и благодарит за пароход, за свисток, за дым, за красную полосочку на трубе и за всё, за всё…

Умилённая Екатерина Матвеевна приглашает всю команду, всех матросов, всех грузчиков и пассажиров на обратном пути из Рыбинска остановиться в старинном городе Сарайске, где будет выдано угощение.

Растроганный Терентий Николаевич не выдерживает… Он вышибает ладонью пробку из

шкалика, выпивает его через горлышко и, притопывая, поёт:

И-эх! Пароход плывёт по Каме,

Баржа семечки грызёт.

Мил уехал напокамест,

Он обратно приплывёт.

И пока под тесовым обломом сарая готовится немудрёное угощение, пароход успевает сходить в Рыбинск и вернуться обратно. Терентий Николаевич тем временем сколотил на скорую руку пристанские сходни.

Маврик смотрит в бинокль и объявляет всем:

— Скоро Сарайск!

И все оживляются:

— Вон, вон… Я тоже вижу! — кричит Санчик. — Полна пристань народу.

Как хорошо бы сюда Ильюшу и молчаливую девочку Фаню. Уж она-то бы могла стать пассажиркой первого класса… Вы представляете на ней тёмную, оставшуюся от траура вуаль… В руках у неё чёрный страусовый веер… Длинные чёрные, тоже тёти Катины, плетёные перчатки… И все наперебой:

«Барышня… Позвольте мне снести на берег вещи…»

«Нет, ваша светлость, позвольте уж мне… Я

задаром… Мне не нужны никакие чаевые…»

А она, не глядя ни на кого, отвечает:

«Ах, зачем же… У меня только лакированная шляпная картонка и ридикюль песочного цвета. Могу и сама…»

Но Фани нет. Первый класс есть, а в нём некому ехать. Как же мог Маврик не вспомнить о своих новых друзьях… И только теперь, когда пароход так торжественно причаливает к Сарайску, он вспомнил о них. Как это нехорошо и, наверно, безнравственно.

IV

Киршбаумы нашли временное пристанище в Гольянихе. Так по имени старой деревни назывались концы Замильвья, где тосковал Ильюша, требовавший и ночью сквозь сон отвезти его на Ходовую улицу. Но Киршбаумам было не до встреч Маврика и Ильюши. Не состоялись более важные встречи. Киршбаум, конечно, мог бы в поисках квартиры забрести в дом Артемия Кулёмина. Мог бы через него встретиться со своим питерским другом Тихомировым, сосланным в Мильву. Здесь, в благополучной Мильве, слежка не так строга, как в Перми. Тихомиров мог бы с главой подполья, стариком Матушкиным,

оказаться на весенней охоте и встретиться с Киршбаумом в лесу, на болоте. Однако Киршбаум свято хранит истину, преподанную ему Иваном Макаровичем: «Никогда не думай, что ты самый хитрый».

Рисковать было нельзя. Уже давно известно, что большие дела чаще всего проваливаются на мелочах.

Во всех случаях Киршбаум должен был побывать у пристава. Без его разрешения он не мог открыть своего заведения. И он, не теряя времени, отправился к приставу.

Пристав Вишневецкий был в самом хорошем расположении духа. Вчера он получил от губернатора благодарственное письмо. Счастливый пристав расхаживал по своему кабинету, заново меблированному купцом Чураковым заказной вятской мебелью из карельской берёзы, любуясь новым мундиром, сшитым другим дельцом, владельцем магазина готового платья, и радуясь солнечному дню, обещающему весёлый пикник в ознаменование губернаторского письма.

— Адъютант! — крикнул за дверь пристав. — Кто ко мне?

«Адъютантом» на этот раз был неуклюжий, толстый дежурный, урядник Ериков. Он вошёл

и, стараясь казаться молодцеватым, каким он не был и в давние молодые годы, доложил:

— Имею честь, ваше благородье… господин из Варшавы.

— Проси.

Григорий Савельевич Киршбаум ещё не знал, как себя вести с приставом. Взять ли на себя роль гонимого судьбой или воспользоваться испытанной маской неунывающего местечкового искателя грошового счастья. Но, увидев блистательного Вишневецкого, а до этого услышав его грассирующий голос, Киршбаум сразу же нашёл нужный тон. Почтительно поклонившись и задержав голову склонённой, затем, дождавшись приглашения сесть, он сказал:

— Я и не думал, ваше высокое благородие, что сумею так легко и просто представиться вам. Я действительно из Варшавы, хотя и приехал из Перми. Моя одежда не позволяет мне назваться тем, кто я есть. А я есть предприниматель, хотя и мелкий. Но если вашему высокому благородию будет угодно отнестись ко мне так же благосклонно, как ко всем другим, кто живёт в Мильвенском заводе и кто приезжает в него, то ваш покорный слуга может стать на твёрдые ноги.

— К вашим услугам, — ответил Вишневец-

кий. — Чем я могу быть вам полезен?.. Пожалуйста… «Ю-Ю», короткая курка, длинный мундштук.

Поблагодарив за предложенную дорогую папиросу «Ю-Ю» и отказавшись от неё, Киршбаум коротко рассказал о себе, начиная с Варшавы, где он родился, где бедность не позволила ему закончить пятого класса гимназии и он вынужден был искать счастья в Петербурге. Не забыв обронить очень важную подробность о своём деде — «николаевском солдате», потомкам которого разрешалось проживать беспрепятственно во всех городах Российской империи, Киршбаум подтвердил всё это предъявленным паспортом.

— Так какой чёрт, досточтимый Григорий Савельевич, — удивился Вишневецкий, читая паспорт, — заставил вас покинуть столицу и приехать в Мильву?

— Нужда, ваше высокое благородие, господин пристав. Нужда. Наверно, вы слышали о существовании этой неприятной дамы. Вот она-то и заставила меня искать город, где квартиры дешевле и руки дороже. Так я приехал в Пермь. Приехал и доучился на штемпельщика. Хозяин штемпельной мастерской, хотя и молился тому же богу, что и я, но не обращался со мной по-боже-

ски. И тут я услышал, что есть на свете счастливая Мильва. Мильва, где царит благополучие, где каждый имеет свой кусок хлеба, Мильва, где тихая, но процветающая жизнь, где нет беспорядков и, конечно, не может быть погромов и где нет, но может быть мастерская штемпелей и печатей «Киршбаум и сын». А в скобках — из Варшавы. Теперь скажите мне, ваше высокое благородие, назвали бы вы меня ослом или даже хуже, если бы я не бросил всё, не продал кое-что на дорогу и не приехал сюда?

— И преотлично сделали, — одобрил пристав. — В таком большом, по сути дела, городе Мильвенске нужна такая мастерская. «Киршбаум и сын», да ещё «из Варшавы» — превосходная вывеска. Благословляю! — Пристав простёр руки, снисходительно улыбнулся и поблагодарил за удовольствие, доставленное остроумнейшим разговором. — Надеюсь, что внук почтеннейшего солдата его величества государя императора Николая Первого вольно или невольно не доставит излишние хлопоты полиции.

— Я уже это сделал, ваше высокое благородие… И не могу поручиться, что не сделаю ещё… В губернии — губернатор, а здесь — вы. К кому же я приду, если госпожа судьба снова не захочет

улыбнуться вашему покорному слуге?

После ухода Киршбаума Вишневецкий принялся выстукивать пальцами по столу и напевать вполголоса: «Эх, тумба-тумба-тумба, Мадрид и Лиссабон», а затем решил запросить Пермь, а пока установить проверочный надзор за приезжим, оказавшимся слишком безупречным и на редкость благонадёжным, что должно вызвать неминуемую настороженность всякого пристава, и особенно — замечаемого самим губернатором.

А Киршбаум, великолепно понимая, что это так и будет или примерно так, примет все меры, чтобы облегчить полиции проверку.

V

Дом прокатчика Самовольникова, где нашли временное пристанище Киршбаумы, представлял собой обычное жилище мильвенского рабочего. Это изба-пятистенка, которую называют домом, как и горницу предпочитают именовать залом. В зале-то и разместились Киршбаумы, платя рубль в неделю за постой, чему Самовольниковы, как видно, были очень рады. Недавно построившись, эта рабочая семья дорожила каждой копейкой. Ефиму Петровичу Самовольникову и особенно его жене Дарье хотелось, чтобы приезжие по-

жили у них подольше. Им продавалось молоко, первые овощи, а самое главное, для них выпекался хлеб, что тоже давало лишнюю копейку старательной хозяйке Дарье Сергеевне…

Зубы у Анны Семёновны заболели вскоре после её приезда. Зубная боль была единственным поводом для встречи с Матушкиными.

Старик Емельян Кузьмич Матушкин в своё время ходил в знатных колдунах по выплавке инструментальных сталей. Хорошо зарабатывая, он позаботился о детях. Одна дочь, Елена, — учительница. Вторая, Варвара, — зубной врач. К ней-то и нужно попасть Анне Семёновне. Попасть умно. Не просто завязала щёку и — «здрасте, Варвара Емельяновна».

Так не могла явиться осторожная подпольщица. И она, «маясь зубами», дождалась, когда сочувственная хозяйка Дарья Сергеевна сказала:

— К доктору бы тебе, девка, надо.

А та, держась за щёку:

— А разве они у вас есть?

— Вот те на. Целых три. Один много берёт и плохо лечит. Другой мало берёт, но только дёргает. А третья — душа человек, Варвара Емельяновна Матушкина, самая дешёвая и самая толковая. За малое лечение даже вовсе не берёт. Желаешь

сведу?

Этого-то и надо было Анне Семёновне.

— Сведи, Дарья Сергеевна. Куда же я одна в чужом городе?

И вскоре Анна Семёновна была доставлена к Варваре Емельяновне.

Так началось знакомство и установилась связь Киршбаумов с мильвенским подпольем. Анна Семёновна получила возможность встретиться с «самим». Его можно было принять за церковного старосту, волостного старшину, лабазника, и назвать болваном всякого, кто бы заподозрил в этом бородатом, розовощёком, пузатом старике внутреннего врага Российской империи.

Емельян Кузьмич Матушкин был человеком вне подозрения. И если он был в чём-то замечен, то разве только в неразборчивом гостеприимстве и неумеренном хлебосольстве.

В те дни, когда Анна Семёновна лечила «затянувшееся воспаление надкостницы», новоявленный предприниматель штемпельщик Киршбаум налаживал коммерческие знакомства.

Между тем в полицию поступали самые приятные для Киршбаума сведения, чему он способствовал на каждом шагу, помогая не очень хорошо маскирующимся агентам. Одному из

них он пообещал выбить зубы, если тот посмеет ещё раз сказать при нём хотя бы одно плохое слово о господине Вишневецком Ростиславе Робертовиче, который непременно будет вице-губернатором. Потому что господин Вишневецкий Ростислав Робертович не просто большой ум, но и большое сердце настоящего русского дворянина, умеющее чувствовать и барина, и мужика, и даже такого, как бездомный штемпельщик Киршбаум. Такие губернаторы, и только такие, как господин Вишневецкий, нужны русскому и всякому народу великой империи.

Пристав Вишневецкий трижды перечитывал донесение, которое прочило ему пост вице-губернатора.

— Хватит искать чертей в кадильнице, у нас есть поважнее дела, — сказал пристав своему помощнику по негласному надзору и принялся распекать его за «нераскушенный орешек», за Валерия Всеволодовича Тихомирова, высланного по доносу из Петербурга в Мильву. — Уже полгода, и ни одной зацепки.

Помощник пристава по негласному надзору молчал, опустив голову. Иного ему и не оставалось.

Тихомиров — юрист по образованию, столбо-

вой дворянин по происхождению, опасный, но неуличенный внутренний враг империи — жил в доме своего отца, генерал-лейтенанта в отставке, жил, не давая полиции даже малейших поводов для подозрений.

А между тем Валерий Всеволодович уже дважды «пломбировал» здоровый зуб в те же дни и часы, когда Анна Киршбаум лечила «затянувшееся воспаление надкостницы».

Впрочем, у Валерия Всеволодовича были основания посещать Матушкиных не только по зубным недугам, но и недугам сердечным. Младшая дочь Матушкиных, Елена, называлась досужими языками невестой Тихомирова задолго до того, как он понял, что любит её и что только она будет его женой.

VI

А рабочая Мильва жила по заводскому свистку. Первый свисток — просыпайся, второй — беги на завод, третий — начинай работу. С третьим свистком закрываются ворота проходных.

Ранним утром оживают улицы Мильвы, и особенно те, что ведут к заводу.

Ходовая улица и Большой Кривуль, на углу которых стоит приземистый двухэтажный заше-

инский дом, особенно шумны в этот утренний час. Здесь сливаются людские потоки со всех улиц по эту сторону пруда и текут шумной лавиной к главной проходной. Екатерина Матвеевна прикрывает окна, чтобы гулкое топанье ног по звонким деревянным тротуарам и голоса рабочих не разбудили Маврика. Но стёкла окон не предохраняют от шумного говора, и Маврик слышит сквозь сон это с детства привычное оживление, и оно не будит его.

Вчера он вместе с ребятами тоже решил работать на заводе, как только подрастёт. Толя Краснобаев сказал, что будет техником. Сеня, его брат, пойдёт к отцу в механический цех и станет токарем на самоточке. А Маврик и Санчик пойдут в судовой цех нагревать заклёпки, а потом будут строить шаланды, землечерпалки, а может быть, заводу дадут заказ на большой пароход. Давали же. И Толя Краснобаев уверен, что дадут.

Жить Маврик будет по свистку, как все, и если он просыпается теперь в восемь часов, то только потому, чтобы не огорчать тётю Катю.

Уже около восьми. Санчик сидит во дворе на площадке наружной лестницы, и краснобаевские ребята тоже давно проснулись. Они ждут Маврика у себя на дворе. Наконец открывается окно.

— Санчик, ну что же ты? — приглашает Маврик.

— Иди, иди, — подтверждает Екатерина Матвеевна. — Поешь.

Санчика Екатерина Матвеевна про себя считает «мальчиком для аппетита». Вместе с ним Маврик ест всё и самое простое, а самое простое — самое полезное для организма, поэтому экономной Екатерине Матвеевне ничуть не обременителен лишний рот, лишь бы единственный и бесценный племянничек проглотил лишний кусок. И как только Маврик перестаёт есть, Санчик делает то же самое. Видя это, тётя Катя говорит:

— Так что же ты, Мавруша, хочешь, чтобы товарищ вышел голодным из-за стола, ведь он же никогда ни на одну крошечку не съест больше тебя.

И Маврику ради Санчика приходится есть.

Вот и сегодня, наскоро умывшись и помолившись «раз-два-три», отбывается самая трудная утренняя повинность еды. Маврик уже закормлен, а Санчик никогда не отказывается от еды. Правда, теперь он, с приездом из Перми своего друга, сытно и часто ест, но всё равно его тельце тоще, руки худы, щёки впалы. Ему трудно наверстать недостаток в питании первых лет его

жизни. Когда он был младенцем, ему не хватало молока, а потом, когда он подрос и сел за общий стол, семье не хватало и всего остального, даже не всегда доставало хлеба.

Но зачем вспоминать об этом сегодня, когда на столе белая молочная лапша, когда в чашку чая кладётся два куска пилёного сахара, когда чай пахнет чаем, а не прелым сеном, а хлеб, как тополиный пух, мягок и бел. Как вкусно и как хорошо есть досыта, и будто нет другого стола, где в этот же час сидит Санчикова семья и его мать со вздохом режет ржаной хлеб и думает, как всегда, где и что раздобыть на обед. А здесь уже топится печь и в глиняной латке-жаровне лежит утка, аккуратно обложенная кружками картофеля, дожидаясь, когда сгорят дрова, а угли загребут в загнетку, чтобы ей, утке, начать томиться в вольном жару при закрытой заслонке и начать пахнуть нестерпимо вкусно, а потом появиться на обеденном столе и отдать одно крылышко Маврику, а другое ему, Санчику.

— А у нас, — говорит он, — в прошлом году тоже была утка. Не целая, а хватило всем.

Этим он как бы показывает, что и они живут вовсе уж не так плохо.

С завтраком покончено. Маврик вскакивает.

Санчик бежит вслед за ним, дожёвывая хрустящую хлебную корочку. На дворе ждёт, виляя хвостом, счастливый Мальчик. Щенку выносится вымоченный в молоке хлеб, и день начинается.

В пароход играть уже не хочется. Как он ни хорош, но надоело ездить в Рыбинск и обратно. На одном и том же месте.

Манит улица. Её-то и боится Екатерина Матвеевна. Боится, но знает, что рано или поздно Маврику придётся открыть туда ворота.

Она недавно разрешила ему перелезать через три изгороди и ходить через два огорода к Толе и Сене Краснобаевым. У Краснобаевых совсем другая жизнь. Засаженный, а не пустующий огород. Красная комолая «не бодучая» корова. Куры, которых можно кормить. Но самое интересное — лазить по закоулкам большого сарая и собирать яйца. Но ещё интереснее спускаться в подвал краснобаевского дома. Там почти завод. Там множество инструментов, которыми разрешается работать. Не всеми, но некоторыми.

VII

Толя и Сеня Краснобаевы многое умеют делать сами. Ружья. Свистульки. Мечи и щиты. Ветряные мельницы с хвостом, которые поворачиваются

против ветра. У Маврика такой нет, но будет. Она уже начата, и Сеня поможет доделать её, а потом, наверно завтра, Маврику и Санчику помогут сделать щиты и мечи. Тогда они могут быть приняты в славную дружину храбрых воинов.

Медленно вытёсывается из сухой липовой доски лезвие меча. Тяжеловат для Маврика непослушный маленький топор. Боязно иметь с ним дело. Можно оказаться и без пальца или посечь ногу.

— А ты не бойся его, не бойся, — наставляет Сеня Маврика. — Пусть он тебя боится. Вот так, вот так…

И Маврик тешет «вот так… вот так». Мало-помалу, мало-помалу топор оказывается легче, удары точнее, щепки ровнее…

— Вот так… Вот так, — приговаривает вышедшая во двор бабушка Краснобаиха и нахваливает: — Ух ты, какие ровные щепочки начали отлетать — видать, понятливая у тебя рука, тетечкин кормилец-поилец… Вот так… Вот так… Сдружайся с топором. От него всякий струмет пошёл — и долотья, и пилы, и струги, свёрла, а потом станки-машины. Все они топору доводятся детками, внуками, внучками, правнучками… Сдружайся с топором. С топора всякий дельный

человек начинается, а без топора и головастый грамотей в безруких растяпах ходит. А таким ли тебе расти, коренное молодое дерево, от старого дуба сильный росток…

Наговаривает-приговаривает так Краснобаиха, а топор всё легче и послушнее становится в слабой и тонкой руке Маврика. Рука уже побаливает в локте. Пусть болит. «С топора всякий дельный человек начинается, а без топора и головастый грамотей в безруких растяпах ходит»… Боли рука, не отвалишься…

И вот уже вытесано лезвие меча. Со лба льётся пот. Обе рубашки прилипли к спине. Теперь нужно, как учит Сеня, помахать руками, да быстро-быстро, чтобы разошлась по жилам застоявшаяся кровь. И Маврик быстро-быстро машет руками, и расходится по жилам застоявшаяся кровь, и от этого веселей блестит отдыхающий на чурбаке топор. И он уже не пугает своим блеском и не говорит: «Я острый-преострый, живо отрублю тебе палец». Нет. Нет, он смеётся, отсвечивая солнечными лучами, и говорит совсем другое: «Тебе со мной скоро не будет страшен никакой сук, никакое дерево».

Как мало ещё сделано, а уже свистит свисток на обед. И снова шумные, хотя и меньшие потоки

текут по улице. Не все рабочие обедают дома, а только те, что близко живут.

Отец краснобаевских ребят Африкан Тимофеевич и его брат Игнатий Тимофеевич обедают дома. Они живут очень большой неразделённой семьёй. За стол садятся человек двенадцать. Игнатию Тимофеевичу давно хочется жить самостоятельно. Но этого сделать нельзя, пока жив старик Тимофей Краснобаев. Игнатий ненавидит старый кирпичный дом с «голубятней» наверху, как он называет мезонин. Краснобаевские ребята не любят своего дядю Игнатия и скрывают это от всех и от Маврика.

У Маврика нет дружеских отношений с Игнатием Тимофеевичем Краснобаевым. Это не то что Артемий Гаврилович Кулёмин — ясный, солнечный, мягкий, как июнь. Игнатий Тимофеевич Краснобаев похож на март. Когда как. В нём нет устойчивой теплоты даже к племянникам. Он может и поколотить. Поэтому они побаиваются его. Зато своего отца Африкана Тимофеевича они считают за товарища. За старшего, конечно, как Маврик тётю Катю, с которой можно говорить обо всём.

В Мильве встречаются люди, похожие на этот месяц март, которым хотя и можно верить, но

не во всём.

Вот и сейчас Маврик не знает, как понять Игнатия Тимофеевича, когда он, приглашая к столу, говорит:

— Садись обедать, жених, рядом с невестой.

Невеста — это Соня Краснобаева. Ей семь лет. Она подходит в невесты и нравится Маврику больше всех краснобаевских дочерей. И он уже подарил ей клоуна, который, если нажимать ему деревяшечку в животе, начинает бить в медные тарелки, прикреплённые на гвоздики к его рукам. И вообще-то говоря, на Соне можно жениться. Она очень серьёзная девочка. И тётя Катя любит её и гладит по голове. Но зачем Игнатию Тимофеевичу понадобилось говорить об этом при всех? Ведь ещё же ничего не решено. Разве бы так сказал умный Артемий Гаврилович Кулёмин?

— Спасибо, Игнатий Тимофеевич, нас ждут дома, — отказывается от обеда Маврик. Он, может быть, и остался бы, но ведь Краснобаев не пригласил Санчика.

Плохо, когда человек — март.

VIII

Продолжая «отвлекать» Маврика, Екатерина Матвеевна делала всё возможное. Нужно красить

— крась. Вот тебе кисть и краска. Хочешь засадить свой огород — пожалуйста. Нравится тебе играть в Зингеровский магазин — изволь. Чем не магазин старый каретник. Покупателей сколько угодно. Санчикова сестра. Краснобаевские сёстры. Для них уже проделана лазейка в заборе.

Был куплен и опаснейший из опасных инструментов — маленький топор. «От судьбы не уйдёшь». И если уж суждено поранить руку или ногу, этого не избежишь. Но всё же «бережёного бог бережёт». И Екатерина Матвеевна, купив топор, попросила точильщика чуточку притупить топор на своём колесе.

Новым топором пользоваться было нельзя. Он годился только для колки, но не для рубки и тёски. Маврик, тяжело вздохнув, отложил топор и решил поиграть с горя в пермскую тюрьму. И тётя Катя поддержала эти намерения. Чем не тюрьма старая баня. Сиди там с Санчиком и пой:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно…
Днём и ночью часовые
Стерегут моё окно.

А потом можно выставить гнилую раму и бежать на волю. Только тётя Катя не советует

мальчикам называть себя «политическими». Лучше сидеть за поджог или безвинно, как сидел дедушка в девятьсот пятом году — заложником. С каким почётом его встречали потом рабочие!

Екатерина Матвеевна сама придумывает игры, только бы как можно дольше удержать Маврика дома, хотя она и понимает, что улицы Маврику не избежать. Поэтому приходится брать Маврика на базар и ходить с ним по родне. У тёти Сани и у тёти Лары три девочки, три двоюродные сестрички, с которыми не очень интересно играть, зато есть надежда, что с ними отпустят купаться.

Так и случилось. Это было настоящее счастье. Маврика отпросили у тёти Кати на пруд. Старшая дочь тёти Лары, Аля, сказала:

— Странно… Ему почти девять лет, а он ещё не купался на пруду. Там купаются и пятилетние.

А вторая, толстая Танечка, добавила:

— Песок же на нашем берегу, и ни одной ямки. Ровное-преровное дно.

Тётя Саня, старшая из сестёр Зашеиных, поддержала внучек:

— В самом деле, Катенька, за всю жизнь не слыхивали, чтобы кто-нибудь из ребятишек тонул в этом месте.

Лицо Маврика было таким просящим… В глазах

его стояла такая мольба, а девочки давали такие клятвы, что тётя Катя сказала:

— Только недолго.

Этот день навсегда останется в памяти Маврика. Они бежали по широкой Песчаной улице, спускающейся к пруду. Пруд был как зеркало, и только у берега, где барахталась ребятня, вода кипела и сверкала, залитая солнцем.

Нелегко в первый раз зайти в воду и окунуться. Маврик купался впервые. Девочки раздели его, потому что он был мальчик. А сами они остались в рубашках. В них они и будут купаться. Потому что они девочки.

К Маврику не пришло ещё чувство стыда, а девочкам уже внушили его.

— Иди, иди, не бойся, — зазывали его в воду Аля и Таня.

И он зашёл по колено.

— Теперь присядь…

— Присядь ещё раз… Зажми нос. Окунись!

С чем можно сравнить эту радость первого купания, снившегося ему в Перми! Ласковые объятия тёплой воды. Визг. Брызги. Плотное, ровное песчаное дно. Неужели всё это сейчас кончится и его заставят одеваться?

Напрасные опасения. Аля и Таня ведут его глуб-

же. По пояс. По грудь. И когда он упирается, Аля берёт его на руки, затем кладёт на воду животом и, поддерживая снизу, говорит:

— Плыви, я держу тебя… Не бойся.

Маврик болтает ногами, гребёт руками. Он никогда не думал, что это у него получится. Ноги и руки делают сами всё, что нужно.

Легко плыть, когда тебя поддерживают. А попробуй поплыть один, без Алиных рук, сразу же опустишься на дно. Маврик и не знает, что Аля давно убрала из-под него руки и он плывёт сам по себе. Плывёт, как щенок, оказавшийся впервые в воде. Его поздравляют. Его называют молодцом.

— И это правда, Аля?

— Ну как же неправда, Маврик? Попробуй ещё!

Аля снова заносит его в воду, снова кладёт на свои руки. Он плывёт! Он плывёт! Этому ни за что не поверит тётя Катя, а он плывёт.

Пора выходить из воды. Он уже накупался. А ему хочется ещё и ещё убеждаться в чуде, которое совершилось сегодня. Он не только человек, но и рыба…

Маврику, живущему в мире волшебных сказок, слышанных от бабушек, читанных матерью и тёткой, хочется сказать пруду что-то очень хорошее, а слов нет. Он ищет их, торопливо надевая

штанишки, приветливо улыбаясь огромному зеркалу воды. Он придумывает, что бы ему, такому громадному, сказать, застёгивая ворот рубашки. И наконец он шепчет самые простые слова:

— Спасибо тебе, милый пруд, за моё первое купание!

Его шёпот слышит Аля и говорит:

— Какой ты, оказывается, вежливый, Маврикий…

— Нет, нет, — опровергает он, — я нисколько не вежливый. Я благодарный. Я и тебе скажу спасибо за… — Он не договорил, и так ясно, а потом объяснил: — Человек за всё должен благодарить, даже если ему всего-навсего сказали: «С добрым утром!»

Сколько раз придётся ему в это лето благодарить за всё первое! Лес — за первые найденные им грибы, луга — за первые ягоды. Речку Омутиху — за первую пойманную в ней рыбку. Топор и нож — за первое удилище. Лук — за первую попавшую в цель стрелу…

В детстве почти всё происходит впервые, но многое из этого первого бывает и последним, единственным, неповторимым. Дважды нельзя поймать первую рыбку, и тем более невозможно повторить ни один из дней своего детства. Но раз-

ве может это понять мальчик в восемь лет, да и надо ли ему понимать в это счастливое лето, что жизнь несправедливо быстротечна, что каждый день должен быть прожит хорошо и разумно.

IX

Долго старалась Екатерина Матвеевна не пускать Маврика на улицу, опасаясь, что его переедет телега, что ему выбьют мальчишки глаз или его искусает бешеная собака. Мог Маврик подцепить и чесотку, на его руки могли пересесть и цыпки. Мало ли какими болезнями хворают мальчишки, бегающие по Ходовой улице. И всё же пришлось уступить.

Сеня и Толя дали честное слово, что они будут следить за Мавриком и не дадут его в обиду. Им можно было верить. Да и умный сосед Артемий Гаврилович Кулёмин, повидавший виды, сказал про Маврика:

— В школе-то ему так и так придётся учиться с этими ребятами. Так пусть он с ними сдружается до неё.

А Терентий Николаевич вставил своё:

— Дома и молоко киснет. Проквасишь ты, Катенька, парня, и вырастет он безногим, безруким Неумеем Незнаевичем.

Это тоже страшно. И Екатерина Матвеевна решилась.

Сначала было разрешено играть напротив окон. Потом было позволено ходить по соседним улицам, и однажды он выпросился сходить за краснобаевской коровой, отбившейся от стада.

И когда всё обошлось благополучно, на защиту свобод внука поднялась сама бабушка:

— Лучше ест, крепче спит, здоровеет день ото дня, как такому человеку волю можно не давать…

Случилось невероятное. Маврик получил разрешение ходить купаться и бегать босиком. Однако же были строгие ограничения. Купаться только у берега Песчаной улицы, где мелко, и заходить в воду только по грудь и не выше ни вершка. В чём было дано клятвенное обещание Маврика, Санчика и поручителя Сени Краснобаева. Хотя и без того можно было надеяться на одного Маврика. У него «твёрдое дедушкино слово», а кроме этого он всегда был «порядочным человеком».

Началась настоящая жизнь. Белых воротничков не было и в помине. Ноги скоро привыкли к колкой земле и «больким» камешкам. Теперь ни одно из приготовленных для Маврика прозвищ не могло пристать к нему. Разве он «неженка»

или «полосатый чулок», когда он бос. Он и не «поганый гриб», а такой же, как все. Кое-кто из ребят ещё пытается придумать ему кличку, но кличка не пристаёт. Кроме одной — «зашеинский внук». Так его называют взрослые. Он часто слышит за спиной, как одна старуха говорит другой: «Это идёт зашеинский внук». Иногда его так называют и в глаза. Здороваются с ним незнакомые люди и говорят:

— А ну-ка, покажись, каков ты, зашеинский внук…

В Перми никто не обращал на него внимания, когда он проходил по улицам. А здесь редкий не оглядывается на него, не останавливает его.

Говорят с ним и на далёких улицах. Откуда о нём знают? Почему называют по имени — Катенькой и Любонькой — его тётку и его маму? Почему имя «Матвей Романович» произносится с уважением?

— Потому, — отвечает бабушка, — что дед твой не порознь с народом жизнь прожил, не как другие прочие мастера. Грамоте знал и думать не боялся. Не только молот, но и циркуль умел в руках держать. Техников, инженеров уважал, а свой разум тоже в сапог не прятал, говорил, как сделать лучше, как спорей. Никогда зашеинские

корпуса судов не браковались, хоть и делались они скорее других. Думанным-передуманным с рабочими людьми делился. И в чёрные, «беззаказные годы» дед твой сберёг завод от неминучей погибели, за что редкий встречный не снимал шапки перед Матвеем Романовичем… А тепла-света в нём было не меньше, чем на небе в летний день…

Знает Маврик, что после дедушки остался наградной кафтан с золотыми полосками на вороте и на рукавах. Это «царский жалованный кафтан». Им очень гордились бабушка и тётя Катя, но Терентий Николаевич называл этот кафтан «пылью в глаза».

Дедушку он помнил седым, кудрявым. Он сажал Маврика на колени, ласкал его, угощал сладкими пирогами, приносил маковые конфеты. Помнит он, как дедушка без конца щепал лучину для растопки печи. Пучки лучины сохранились и теперь на чердаке дома. Помнит он похороны. Помнит, что на похороны пришло много народу.

Подходил к гробу и сам управитель завода. Он возложил венок с лентами. Гроб несли только почтенные рабочие, да и те ссорились — кому нести. Маврика тоже несли на руках. Чтобы ему было всё видно. Это хорошо помнит Маврик. Он

помнит, как ему кто-то с чёрными усами сказал:

— Оглянись и запомни, как хоронят твоего деда Матвея Романовича.

Маврик тогда оглянулся. Такого скопления народа он не видел никогда.

Нужно же узнать когда-то, кто такой был дедушка, если из-за него так много людей знают Маврика.

И ему снова рассказывают о дедушке тётя Катя, Терентий Николаевич, бабушка, но из всего запомнилось, как дед избавил рабочих от порки у чугунного медведя…

X

«Привести к медведю» — было крайним и жестоким наказанием, которое было введено давным-давно. Так давно, что поросло преданием и стало легендой.

В те далёкие времена, когда казённой Мильвой правил выходец из чужедальних земель по фамилии Бугберг, прозванный Бугаём, появился весёлой души мастер из коренных пермяков Северьянко. Этот самый Северьянко мог заставлять жить липовый чурак щукой, голубем, тетеревом и кем он захочет. Хоть Миколой-угодником, хоть языческим идолом. Потому что в те годы хотя и

крестили всех поголовно, а всё же старики-язычники не забывали своих старых богов и тайно заказывали Северьяну небольших деревянных идолов. Русские лесовики тоже не брезговали коми-пермяцкими божками. Помогали они или не помогали, а места много в охотничьем мешке не занимали. Делал Северьянко и таких божков-вершков. Но главная работа Северьяна была церковной. Попам в этих краях приходилось вышибать клин клином. Ежели уж крещёным идолопоклонникам трудно верить в плоского, рисованного на иконе бога и они не могут обходиться без деревянных богов, то пусть уж молятся не кому-то, а резному из дерева Христу, раскрашенному красками.

Этими-то запрестольными, находящимися в глубине алтаря за престолом, резными и раскрашенными изображениями Христа и прославился Северьянко. Христов он создавал вдумчиво и терпеливо, не на одно лицо, а похожими на облик людей того рода-племени, которое молилось новому богу. Случались поэтому скуластые, узкоглазые, черноволосые, темнокожие или, наоборот, бледнолицые с белыми волосами Христы-однодеревенцы.

Бугай, прознав об этом мастере, зазвал его к

себе, чтобы заставить вырезать разные и всякие фигуры для украшения господского парка. Северьян нарезал барину и лесных леших с дудками, и девиц-водяниц с рыбьими хвостами, лосей, волков и царя пермских лесов, большущего весёлого медведя. Медведь шёл по резной деревянной траве, по знакомым цветам и нёс на своём горбу дуплянку, полную медовых сот.

Залюбовался Бугай медведем. И приказал отформовать медведя и форму залить чугуном. До этого же повелел Северьяну смешливую медвежью морду обработать поцарственней и позлей.

Не хотелось Северьяну портить дурашливого проказника. Но как можно ослушаться барина? И он устрашил медвежью морду, сделав её чем-то похожей на управительскую.

И когда медведь был отлит, Бугаю показалось неудобным, что царственный зверь несёт на своём горбу какую-то дуплянку с мёдом. Дуплянка была заменена литой медной позолоченной короной о десяти зубцах. И когда корона была привёрнута на горб медведю, то захотелось, чтобы медведь шёл не по бессмысленной траве и глупым цветам, а попирал бы своими лапами какое-то покорённое им чудище.

Северьянко понял, куда клонит Бугай, и не

захотел резать под ноги медведю чудище, оскорблявшее его народ, прозванный в те годы обидным словом — чудь. Резцы в котомку, топор за пояс и был таков.

Нашёлся другой мастер. Из прислужливых. Вычеканил он из красной листовой меди шкуру семиголового чудища. Чеканную шкуру чудища приказано было положить на большой гранитный камень. Нашли такой за Камой и доставили двумястами лошадей, а затем установили на плотине как основание памятника Медвеже-Мильвенскому заводу.

Торжества открытия памятника начались поркой пойманного Северьяна.

С тех пор наказания плетьми, розгами, кончавшиеся часто смертью, происходили у подножия памятника. К медведю приводили пойманных беглых, нерадивых, смутьянов, бунтовщиков, недовольных малой платой, и всех, кого находил нужным пороть очередной мильвенский управитель…

XI

На этот раз к медведю привели организаторов забастовки. Среди них был и Санчиков отец Василий Иванович Денисов, и Терентий Николаевич

Лосев, тогда ещё совсем молодые Кулёмин и Краснобаев. Был тут и уважаемый в Мильве мастер Емельян Кузьмич Матушкин….

Густой цепью солдаты стали вдоль ограды завода, до трёх десятков лодок с жандармами охраняли плотину со стороны пруда. По улицам маршировали патрули. В примильвенских лесах появились воинские части.

Вице-губернатор и жандармские чины стояли на дощатом, ночью сколоченном помосте. Заводские чины во главе с Турчанино-Турчаковским находились поодаль, по другую сторону медведя. Этим показывалось, что заводское начальство и управляющий не имеют отношения к расправе. Перед медведем поставлены десять широких скамей, или кобылин, с ремнями, которыми привязываются подлежащие порке. Под кобылинами аккуратно разложены ивовые прутья. Десятеро привозных здоровенных и уже подпоенных мужиков в бордовых рубахах ждут у вице-губернаторских подмостей, рядом с барабанщиками, которые будут заглушать крики наказываемых.

Вызванные из цехов рабочие толпились за шеренгами солдат. И когда всё было готово, вице-губернатор дал знак чиновнику прочитать приказ о наказании. Кому и за что и сколько

ударов. Но в это время толпа зашевелилась и послышалось:

— Пропустите меня… Пропустите!

И все увидели невысокого старика, с седой и всё ещё кудрявой головой, в царском жалованном кафтане. Послышались голоса:

— Это Зашеин…

— Это Матвей Романович… Пропустите его…

— Пропустите его к вице-губернатору.

И Зашеина пропустили. Он подошёл к подмостям и громко сказал:

— Ваше высокое вице-губернаторство… Меня не арестовали по недосмотру. А надо бы… Я ведь эту кашу заварил, мне её и разваривать первому. Начинайте с меня!

Матвей Романович снял жалованный царский кафтан и, при безмолвии всех, подстелил его на крайнюю скамью-кобылину.

— Что это значит? — недоумевал вице-губернатор. — Кто этот старик? — спрашивал он визгливо у свиты.

— Я Зашеин, ваша милость. Матвей Зашеин, тот самый, который позвал рабочих на время попуститься четвертаком и получасовой прибавкой, а теперь они, те, что завод спасали, — указал он на стоящих со скрученными назад руками

забастовщиков, — рассчитываются за это. Дайте рассчитаться и мне. Порите меня! — обратился он к мужикам в бордовых рубахах. — Больнее порите, чтобы до гроба помнил старый дурак и в могиле вспоминал, как верить господам на слово…

Кто знает, какие слова мог ещё сказать Зашеин, если бы его не прервал ставший рядом с ним перед вице-губернаторскими подмостками управляющий Турчанино-Турчаковский.

— Ваше превосходительство, — обратился хитрец к вице-губернатору, — за что должны лечь на эти унижающие человеческое достоинство скамьи люди, которые требовали вернуть отданное ими во имя спасения родного завода до лучших времён. И эти времена пришли, но из-за непростительной задержки деньги не были возвращены.

— Вы оправдываете бунт? — властно спросил губернатор.

— Бунт? — сказал, удивлённо разводя руками, управляющий. — Разве были допущены какие-то нарушения? Люди просили то, что им высочайше возвращено. Прошу вас, господа, прочитать только что полученную из Петербурга депешу.

Турчанино-Турчаковский с некоторой небреж-

ностью победителя подал вице-губернатору телеграмму, и тот, прочитав, сказал примирительно:

— Поздравляю вас, Андрей Константинович! Поздравляю вас всех, — обратился он к присутствующим.

Рабочие оживились.

— Тогда кто же развяжет руки безвинно арестованным? — громко, чтобы слышали все, спросил Турчаковский.

— Освободить приведённых! — приказал вице-губернатор.

Мужики в бордовых рубахах принялись развязывать руки арестованным. А Турчанино-Турчаковский доводил до конца необходимую ему комедию:

— Ваше превосходительство, мы не требовали войск. Они пришли не по нашему зову. Я прошу дать приказ ротам немедленно покинуть мирные улицы.

И приказ был дан. Трубачи затрубили сборы. Части наскоро построились и затем оставили Мильву. Другое дело, что все они разместятся в ближайших сёлах, но на улицах их нет.

Плотина пустела. Матвей Романович возвращался в кумачовой рубахе с расстёгнутым

воротом. Кафтан он оставил на кобылине. Его услужливо принесёт ему заводской подлипала. А теперь Зашеин идёт со своими дружками. Ему кланяются, говорят добрые слова, называют «родным Романычем». Рабочие зовут его пройтись по улицам, показаться народу. Нельзя. Дома убивается по нем Екатерина Семёновна, и ей надо сказать: «Вот я, Катя. Целёхонек и без единого рубца».

Турчанино-Турчаковский тоже шёл пешком на Баринову набережную. Искуснейшего комедианта провожали уважаемые рабочие, всем сердцем верившие барину, постоявшему за простой народ.

Одним из последних уходил Терентий Николаевич Лосев. Ему захотелось сплести памятную корзинку из лозы, приготовленной для порки. Отбирая наиболее гибкие прутья, он сказал увозившим скамьи-кобылины, указывая на медведя:

— Глядите, ребята, а он ухмыляется, горбатый зубастик! К чему бы и над кем?

Третья глава

I

«Уметь! Помогать! Добывать! Зарабатывать!» — эти четыре слова вполне могли бы стать самым кратким и самым исчерпывающим девизом мильвенской детворы, за исключением разве тех мальчиков и девочек, которых насмешливо называли «благородными».

Маврик был «не поймёшь кто». До «благородных» он не дотягивал, а «простым» тоже не назовёшь. Но теперь его, разутого, почерневшего, с исцарапанными и пораненными руками, можно считать «своим», хотя у него не было никаких обязанностей и он с утра до вечера мог делать всё, что ему захочется. Так не могли располагать собой остальные, кроме разве Санчика.

У Санчика нет домашних обязанностей, потому что нет дома. Денисовы живут в избушке-малушке у дяди Миши. Дядя Миша — маляр. Он ходит и красит по богатым домам. Ему везде доступ, везде вера. Не обманет, не украдёт, потому что он не просто маляр, но и староста кладбищенской церкви. А его старший брат — Василий, Санчиков

отец, — хотя и почище маляр, красивший не крыши да окна, не кресты да ограды на кладбище, что может делать всякий подмастерье, а мастер первой статьи, которому доверяли самые чистые работы по окраске судов, но жить теперь ему не на что. Ревматизм рук и ног заставил покинуть завод и выйти на семирублёвую пенсию. И если бы не бабка Митяиха, то пропасть бы Санчиковой семье с голоду. Сёстры ещё не подросли. За стирку Санчиковой матери платили мало, да и редко нанимали. Старшую сестру Санчика, Евгению, не отпускали мыть полы в богатые дома, хотя и звали. Она была очень красива и могла выйти замуж за жениха с домом. А поломойку, которая ходит по чужим домам, кто же возьмёт замуж. Поэтому Женя училась шить, а пока метала петли настоящим швеям. По копейке за две маленькие петли. За большие платили дороже. Но много ли петель сделаешь за день? И вся надёжа семьи была на сухую, подслеповатую, с тяжёлыми веками бабку Митяиху. У неё случались деньги, и она кормила неплохо денисовскую семью, особенно в воскресенье и в понедельник. А иногда собранных ею кусков хватало и до среды. Митяиха была соборной нищенкой, и ей полагалось хорошее место на паперти. У самых дверей, где могли стоять только

старые нищие, которые христарадничали много лет, а остальные — не настоящие нищие, а просто так, побирушки, когда придёт нужда, — не имели постоянного места и канючили где придётся: на нижних ступеньках паперти, а в большие праздники, когда все ступеньки были заняты, им приходилось стоять на площади.

Бабушка Митяиха имела право ходить по всем домам Мильвы. Таких было всего лишь пять нищих. А остальные могли просить мылостыню только на своих улицах, которые были разделены очень строго. Улиц в Мильве хотя и много, но нищих ещё больше. Поэтому некоторым доставалась не вся улица, а половина. На одной стороне улицы дома были одного нищего, а на другой — другого. И если кто вздумал бы перебегать дорогу, его могли и поколотить. А Митяиху никто не мог тронуть. Она из перваков. Почти как мастер в цехе. Санчикова бабушка состоит в первом пятке. И ей, как и всякому из этого пятка, все остальные нищие платят каждое воскресенье «долю». Можно деньгами. Можно кусками.

Санчик гордится своей бабушкой. С уважением к Митяихе относится и Маврик. Хоть и нищая, а из главных. Поэтому её внуку-любимцу, Санчику, живётся лучше всех в семье. Бабушка может

припросить и ситцевый остаточек у купца для рубашки Санчику, и самые сладенькие кусочки она бережёт для него. Но теперь они не так нужны Санчику. Ему отдано много рубашек и штанишек, из которых вырос Маврик. Они Санчику тоже малы, но Женя их умеет расставлять, надшивать, припускать. И у Санчика теперь есть что надевать.

Сеня и Толя Краснобаевы, как, впрочем, и другие жившие в своих домах, выполняли многие обязанности. Мели двор, чистили у коровы и лошади, натаскивали из колодца в огородные кадки воду для поливки, кололи дрова для русской печи… Делали всё, что было под силу, а иногда и не под силу для мальчиков в восемь — десять лет. В эти годы они должны были уметь помогать взрослым. Уметь помогать было не одной лишь обязанностью, но и гордостью мальчишек.

— Мой-то уж совсем мужик, — говаривали матери про своих сыновей. — Девятый только пошёл, а он уже рыбой семью кормит.

Это значит — мальчик просыпается ранним утром и бежит на плотину пруда за ершами, окунями, плотвой. «Надёргает» такой три десятка рыбёшек — вот тебе и рыбный пирог. Глядишь, опять лишняя копейка дома.

Сходить за Мёртвую гору на луга, собрать там «кисленки», как называли мильвенцы щавель, принести пяток стаканов «клубеники», наискать в лесу на «жареху» масленков, «синявок», принести полмешка еловых и сосновых шишек для «разжижки» самовара, наловить зелёной кобылки отцу для ловли хорошей рыбы — тоже считалось обязанностью детворы, — уметь, помогать, добывать, зарабатывать.

Если девочка в девять лет не умеет мыть посуду, подметать пол, помогать матери управляться на кухне, она поражала сверстниц. Страшно прослыть «неумёхой», «бездельницей», «белоручкой».

Мавриковой «невесте» Сонечке Краснобаевой семь лет, а она уже показывает своему «жениху», что с ней он не пропадёт. Кормит кур. Собирает снесённые ими яйца. Пропалывает «лёгкие» гряды, ходит за водой с маленькими ведёрками на крашеном коромысле, моет по субботам рундучок у «паратьнего» крылечка, отворяет калитку вернувшейся с пастбища корове… Мало ли дел, которыми она гордится и прославляет себя на восьмом году жизни! Не шутка же, в самом деле, считаться невестой такого кудрявого, такого хорошенького, звонкоголосого мальчика.

— Санчик, мы тоже должны что-то делать. Нам пора зарабатывать, — убеждает бездельничающий Маврик своего бездельничающего товарища.

— А как? — спрашивает Санчик. — Может, железо рыть и продавать его Лудилке?

— А сумеем?

— А что тут не суметь? Только бы кочерёжки достать. У Кеги есть. Можно выменять на нитки.

Эта идея — выменять кочерёжки, потом нарыть ими много железа, продать его Лудилке — увлекает обоих мальчиков.

И они вскоре становятся добытчиками железа.

II

Из проходных завода вывозится множество шлака. Его вывозят и вываливают на незамощенные улицы Мильвы, чтобы по ним можно было ездить в распутицу, когда грязь стоит выше колёс.

Вместе со шлаком попадаются и куски железа: остывшие капли металла, обрезки, «срубки» и прочая мелочь, идущая в мусор цехов. Попадают в мусор покалеченные шайбы, погубленные болты, случаются в нём и хорошие новые костыли, которыми прикрепляются к шпалам рельсы

железных дорог.

По разработке уличных отвалов перваками считались братья Рамазановы — Яктынко и Сактынко. В Мильве везде были перваки. В цехах. У нищих. Среди удильщиков. Должны же быть они и у мусорщиков.

Яктынке и Сактынке по десяти-одиннадцати лет. Сактынко красивый мальчишка, с весёлым лицом, смеющимися карими глазами. Лицо старшего, Яктынки, изъедено оспой. На левом маленьком глазу бельмо. Он не умеет говорить ни по-русски, ни по-татарски. У него всего только одно слово — «кеге». Если ему нужно сказать «пойдём купаться», он произносит «кеге» и размахивает руками, как при плавании. Если просит есть, снова произносит «кеге» и показывает на рот. С ним ничуть не трудно разговаривать. Крикни ему «кеге» и потом покажи руками, ногами, выражением лица, что ты хочешь сказать, что тебе нужно, и он обязательно поймёт.

Это очень добрый, весёлый и хороший мальчишка. Он сразу догадался, что за одну катушку ниток Санчик и Маврик хотят выменять две кочерёжки. Обмен состоялся. Нашлись и сумки, куда складывать найденное железо. Санчику дали старый мочальный «зимбель», с которым нельзя

уже стало ходить на базар, а Маврику тётя Катя дала дедушкин кожаный «пестерек», в котором он носил еду, когда ходил на завод.

Екатерина Матвеевна не знала о предприятии, замышляемом Мавриком. Она не могла и предположить, что в эту памятную вещицу будет складываться ржавое железо.

Теперь оставалось научиться выбирать из шлаковых куч железные куски. И этому искусству стал учить тот же Яктынко, которого все ребята называли Кегой.

Нелегко различать железо от шлака. Цвет один. Разный вес. Железо тяжелее. Рукам пришлось немало перебрать, чтобы научиться определять железо по тяжести.

Первый день не принёс большой удачи. Добытчики не набрали и по фунту на брата. А если и набрали, то, наверно, половина из найденного — это шлак, слившийся с железом.

На другой день они отправились вдвоём, чтобы Кега и Сактынко не вытаскивали из-под носа хорошие, тяжёлые железинки. Попадались очень счастливые куски. Наверно, по полфунта. А нужно было набрать не меньше полпуда. Двадцать фунтов. А лучше пуд. Лудило меньше не принимал. Полпуда — это гривенник. Два фунта с пуда

он выкидывал на «ржу», на прилипший шлак.

Добыча шла успешнее день ото дня, и, наверно, скоро можно будет отправиться к Лудилину и продать нарытое железо. Хорошо бы найти сразу тяжёлую железяку.

Мечтая вслух, мальчики не заметили подслушивающего их возчика.

— Ты не зашеинский ли внучонок? — услышал Маврик.

— Да.

— Аль обеднели?..

— Не обеднели, а «деньги нынче кусаются», — повторил Маврик много раз слышанные слова.

— Дома послали?

— Нет, мы сами.

— Это хорошо. Хоть и плёвые, а всё ж таки свои копейки будут. А ты чей? — спросил возчик Санчика.

— Денисов! — крикнул он, довольный, что и его спрашивают.

— Маляров сын?

— Ага!

— Ну и много ли нарыли?

— Мало. Одна только большая попалась.

— Тогда вот что. Приходите завтра. Сюда же. Об эту же пору, а то пораньше. Будет что рыть.

Сказал так незнакомый возчик, вывалил шлак и уехал.

Рано прибежали Санчик с Мавриком. Долго ждали возчика, но дождались. Он свалил не шлак, а цеховой мусор. В мусоре блестели золотенькие чешуйки.

— Это медь!

— То-то оно и есть, — подтвердил возчик, — не по грошу за фунт, а вдесятеро Лудилин заплатит. Ещё воз привезу из механического…

Медных чешуек-стружек оказалось много. Мальчики торопились выбрать их из мусора. Выбирать их было легко. Они блестели.

Сумки потяжелели, а чешуек было ещё очень много. Возчик приехал снова и снова опрокинул деревянный коробок.

— Маврик, нам не донести. Давай закопаем.

— Давай.

Так и сделали. Закопали набранную медь и принялись за новый мусор. Пришлось ещё раз закапывать и ещё раз набирать, а потом перетаскивать по частям к Лудиле Паяловичу. Так его называли потому, что он нигде не работал, а лудил и паял кому придётся и всегда «сдирал семь шкур». Но Маврик и Санчик не хотели, чтобы их обманул Лудилко. Они прежде спросили у Кеги

цену на медь, и когда тот показал свою пятерню и ещё два пальца, Маврик понял, что фунт Лудилко покупает по семи копеек.

Лудило жил в своём доме. Двор у него был завален железным хламом. Старыми листами с крыш. Битыми чугунами, сломанными утюгами, сковородками, печными дверками, ржавыми гвоздями. Всё лежало по сортам. Литейщики, которым он сбывал чугун, железо, медь, платили ему вдвое. Металл ценился дорого и в железной Мильве. В нём нуждались те, у кого были свои небольшие плавильные печи. Хорошее железо брали сельские кузнецы. Ну, а медь — это верные деньги.

Лудило хотел было обвесить, но послышалось предупреждающее слово «кеге» — и гири были подсчитаны правильно. Кега, не умея говорить, хорошо знал счёт. Лудило отдал всё до копеечки.

Маврик получил рубль шестьдесят три копейки. Таких денег он никогда не держал в своих руках. Кега помог разделить деньги пополам. Неделимую копейку отдали Кеге, и он принял её как заработанную.

— Откуда такие деньги? — спросила мать Санчика, когда он принёс их ей и сказал: «Мама, это тебе на новое платье».

Маврик объяснил, как у них оказалось по восемьдесят одной копейке, и тоже пошёл домой отдавать свою часть тёте Кате.

Он важным, серьёзным вошёл в комнату, где тётя Катя шила дорогое заказное платье на своей старинной швейной машине фирмы Попова. Пришёл и сказал, стараясь подражать Терентию Николаевичу, с хрипотой в голосе:

— Это тебе на сливочное масло, тётя Катя… Нынче оно тоже вздорожало…

Не сразу поняла Екатерина Матвеевна, что всё это значило. Ей долго пришлось рассказывать всё с самого начала и до конца, как Лудило хотел их обвесить, а Кега не дал ему их обмануть. А поняв всё, тётя Катя расплакалась.

Сначала она плакала от стыда перед собой и говорила:

— Маврушечка, неужели же я тебе не покупаю сливочного масла? Его же целых два фунта в погребе на льду.

Потом она плакала от стыда перед другими:

— Что скажут, что подумают о нас… Лудилко теперь разболтает по всем улицам, что ты, мой единственный племянник, внук Матвея Романовича, роешься в шлаке, в мусоре с уличными мальчишками.

И наконец, тётя Катя вместе с бабушкой плакали потому, что Маврик растёт настоящим, хорошим заботливым мальчиком, будущим поильцем-кормильцем, как дедушка.

Когда все слёзы были выплаканы, тётя Катя потребовала у Маврика дать ей честное слово больше не рыться в шлаке, но Маврик сказал:

— Я хочу, как все мальчики, помогать семье.

Это было сказано очень серьёзно. В его глазах стояла настойчивость. Исчезло заикание. И тётя Катя уступила:

— Хорошо. Только не каждый день.

III

С тех пор, когда милый, добрый Артемий Гаврилович Кулёмин побывал с Мавриком на Гольянихе, где жили Киршбаумы, прошло не так много времени, но Ильюше казалось, что это было давно, и очень давно. Да и Маврик терял счёт дням и надежду на скорую встречу с Илем. Едва ли Кулёмину опять понадобится идти к Самовольниковым. В тот раз он относил им на новоселье обещанного пушистого сибирского котёнка. Правда, пока Маврик рассказывал Илю о том, что произошло, а Иль жаловался, как скучно ему, Григорий Савельевич разговорился с Кулё-

миным, и оказалось, что Артемий Гаврилович может многое сделать в свободное время для оборудования штемпельной мастерской. Григорий Савельевич очень просил Кулёмина побывать у него. И он обещал. Обещал, но не шёл. Может быть, не шёл потому, что Григорий Савельевич обещал заплатить не так много.

Мальчикам, как, впрочем, и хозяевам квартиры Самовольниковым, даже и в голову не приходило, что за встреча происходила на Гольянихе. Осторожный Киршбаум для отвода глаз наводил потом справки о Кулёмине, кто он такой и можно ли ему доверить точную работу.

О Кулёмине все отзывались очень хорошо, и даже сам пристав Вишневецкий сказал, что это честнейший человек и отличный мастер.

После такой рекомендации Киршбауму можно встречаться с Кулёминым и поручать работу по металлу для штемпельной мастерской. А время шло. Отец успокаивал Иля, что теперь остаётся всего лишь две недели и будет закончено переоборудование низа флигеля под штемпельную мастерскую и закончится ремонт верхнего этажа, где будет их квартира. Тогда он будет жить неподалёку от Маврика. Легко сказать — две недели. Это четырнадцать дней. Четырнадцать утр. Че-

тырнадцать вечеров. Разве так много в лете дней, чтобы расшвыриваться таким счастливым временем, которое он может провести с Мавриком и Санчиком! И есть ещё какие-то краснобаевские мальчики.

Хватит терпеть. Хватит страдать. Иль задумал побег. Наслушавшись о побегах из Сибири каторжан, он знал, что для этого нужно заготовить сухарей, взять с собой самое необходимое и выбрать такое время, когда никто не заметит исчезновения убежавшего.

Таким временем было утро, когда мать и отец уходили на далёкую Песчаную улицу, где происходил ремонт, а Фаня убегала с хозяйской дочерью к другим девчонкам. Утром и свершился счастливый побег. Иль ещё с вечера отнёс в огород наволочку с маленькой подушки, наполненную сухарями, и большой бумажный кулёк с бельём. А утром, проводив отца и мать, он сказал сестре:

— Если ты можешь бегать с девчонками, так почему я должен сидеть дома?

Фаня ничего не ответила и ушла с хозяйской Манечкой, как всегда. Ильюша пополз в огород, хотя он мог пойти туда, как ходил всегда, но тогда это не было бы побегом.

Прихватив в огороде наволочку с сухарями и кулёк с бельём, Иль перелез через плетень. Теперь нужно было оглянуться, прислушаться — нет ли погони, не слышен ли топот копыт конной полиции.

Нет. Всё тихо. Только жужжат шмели. Можно двигаться дальше до кустов, а кустами пробраться в лес, а там… свобода.

Хотя Ильюша и знал, что в центр Мильвы ближе всего идти по Старо-Мощёной улице, единственной улице завода, которая была вымощена булыжником, потому что это была трактовая улица, но он также знал, что убегающий должен «петлять», чтобы «замести следы». И он стал «петлять» по лесу, всё же не заходя слишком далеко, чтобы не заблудиться и не потерять из виду Мильву. Пройдя кромкой леса версту или более, Ильюша стал думать о сухарях. Не много ли он насушил их? Это первое. Пригодятся ли они ему вообще? Это второе. Не подвесить ли сухари на сук дерева для какого-нибудь беглого или заблудившегося в лесу человека? Это третье. Оно вполне оправдывало первое и второе и освобождало его от груза, хотя и не тяжёлого, но надоедливого. Однако чтобы не дать себе посмеяться над собой, он заставил себя почувствовать

голодным и тотчас же достал несколько ржаных сухарей, размочил их в жестяной кружке, которая, как и ложка, предусмотрительно была положена в наволочку. Преотлично позавтракав на бережке у ручейка тюрей, он подвесил свой сухарный запас на сук и, довольный разлукой с ним, повторил отцовские слова:

— Животное заботится о себе, а человек обо всех, и тот, кто заботится только о себе, напрасно считает себя человеком.

Эти слова нелегко было понять, но когда он их понял, то увидел, что не все люди — люди. Папа тоже иногда напрасно считает себя человеком. Разве не он довёл своего сына до того, что теперь он вполне может петь не про кого-то, а про себя: «Бродяга, судьбу проклиная, тащится с сумой на плечах…» И дальше: «А в сумке его за спиною сухарики с ложкой лежат».

— Так нет же, папа, нет! Меня не остановят никакие Байкалы…

Сказав так, Иль разувается и переходит вброд ручей, стараясь «петлять» по нему, выискивая наиболее глубокие места, потом с разбегу выпрыгивает на берег как можно дальше, чтобы окончательно скрыть следы и оставить в дураках сыщиков, жандармов, приставов и папу. Пусть

он попробует его найти в этих «далёких горах Забайкалья, где пташки порхают, поют». Пусть!

И когда всё это было проделано, Ильюша снова пошёл кромкой леса, не теряя из виду окраинные дома, и наконец решив, что хватит «петлять», направился в центр Мильвы. Он знал, что центр там, где самая большая белая церковь, которая называется собором и которую видно отовсюду. Он также знал, что собор находится на Соборной площади, а от площади идёт множество улиц и одна из них Большой Кривуль. И если по этому Кривулю пройти два длинных квартала, его пересечёт Ходовая улица. И на одном из её четырёх углов стоит дом, низ у которого кирпичный, а верх деревянный, а крыша железная, а ворота зелёные с медными кольцами, а у ворот большое бревно, на котором когда-то любил сидеть дедушка Маврика Матвей Романович. Всё это было незаметно выведано Ильюшей у отца, и теперь совсем было нетрудно найти дом. И он его нашёл, ни у кого не спрашивая, чтобы не навлечь подозрения, потому что каждый мог оказаться сыщиком и задержать беглеца.

И вот Ильюша перед домом Зашеиных. Ему стоит повернуть кольцо калитки, открыть её и — «здравствуй, Маврик»… Но это было бы слишком

глупо. Наверняка бы залаял Мальчик, которому он хотя и приготовил баранью косточку, но всё равно бы на лай Мальчика выглянула в окно тётя Катя, и ей бы пришлось сознаться во всём. Она хотя и очень добрая, но не настолько, чтобы скрыть побег от его отца, а когда отец узнает обо всём, то, может быть, произойдёт то, что не случалось никогда, но могло случиться. И хотя Ильюша не боится боли, но зачем ему нужно после того, как он будет выпорот, хуже относиться к своему такому хорошему, такому любимому отцу? Ильюша стал искать лазейку в заборе. Лазейки не оказалось, зато было круглое отверстие, оставшееся после выпавшего из доски сучка. Прильнув к отверстию, он увидел бледного, белоголового, сухощавого мальчика с белыми бровями. Конечно, это Санчик. Кто же ещё мог так резвиться с Мальчиком? А то, что собака была Мальчиком, Иль слышал, когда её так окликнул белобрысый мальчишка. Теперь крикнуть не очень громко, а лучше прошептать в дырочку забора:

— Санчик, подойди ко мне.

И Санчик подбежал. И он не стал спрашивать «ты кто?». Он сразу почему-то через ту же дырочку сказал:

— Это ты?

— Это я!

— Удрал?

— Ещё спрашиваешь…

— Я сейчас…

Санчик перемахнул через забор и шепнул Ильюше:

— Иди за мной… Мы пройдём через краснобаевский огород, а там есть тайный лаз и подкоп. Они шли крадучись, затем, нагнувшись, прошмыгнули под окнами, нырнули в «тайный лаз» и очутились на краснобаевсом огороде и снова поползли на четвереньках к подкопу, скрытому крапивой, через который, хотя и с трудом, но можно пролезть под забором и очутиться незамеченными на зашеинском заднем дворе, где одиноко стоял на якоре заброшенный пароход.

Сердчишки мальчиков счастливо бились. Открытая Санчиком тайна лазеек скрепляла их дружбу, которая началась задолго до этой встречи. Маврик назвал их друзьями заочно. А теперь они настоящие друзья. Преодолев столько трудностей, они вползли в пароход. Там-то уж они в полной безопасности. Санчик очень доволен, что показал Ильюше тайную дорогу и спас его.

Так ли будет радоваться Санчик Денисов через восемь лет, счастливо встретившись с Ильюшей

на мельнице близ Омутихи? Как поражён будет он, узнав, что арестованный Ильюша бежал из-под конвоя тех, кто «плавал» вместе с ним на Мавриковом пароходе. И совсем неожиданным будет для Санчика, что, проходя под конвоем по Ходовой улице, Иль вспомнил о «тайном лазе» в краснобаевском заборе и молниеносно нырнул в него, а затем тем же путём до подкопа, заросшего крапивой, и, петляя по огородам, скрылся не от воображаемой, а действительной вооружённой погони…

IV

Узнав о пропаже сына, Григорий Савельевич, не раздумывая долго, отправился к Екатерине Матвеевне. Она, не зная, что Ильюша прячется в пароходе за сараем, убеждённо сказала:

— А где же ему быть? Конечно, он где-нибудь у нас. — Затем, вспомнив, как Санчик таинственно увёл Маврика, когда она ему читала письмо из Перми от матери, ещё раз подтвердила: — Несомненно, Иль прибежал к нам.

И тут же, вместо того, чтобы согласиться с Киршбаумом, возмущённым поступком сына, она обвинила не беглеца, а отца, который довёл до этого своего сына. И повторила слова тех, кто

убеждал её не держать взаперти Маврика. Когда же Екатерина Матвеевна поняла, что Киршбаум хочет увезти да ещё наказать сына, она взволнованно и горячо принялась защищать Ильюшу.

— Вы не можете, вы не должны, Григорий Савельевич, разрушать веру мальчика в свои силы, в свою самостоятельность. Нет, я не позволю в моём доме…

— Но хотя бы убедиться, что он тут, я могу? — спросил Киршбаум. — Или я должен находиться в неведении, чтобы не разрушить его веры в свою самостоятельность между первым и вторым классом начальной школы?

В это время вошёл Маврик. Ему понадобились нитки. Но по его глазам, которые ничего не могли скрыть, было ясно, что никакие нитки ему не нужны, что ему нужно было проверить, зачем пришёл отец Ильюши. Поздоровавшись с ним, Маврик как бы между прочим сказал:

— Когда же придёт к нам Ильюша?

Киршбаум, опустив голову, сказал:

— Может быть, никогда. Он сбежал.

— Куда? — как мог удивился Маврик.

— Не думаю, что в Америку, но и не ручаюсь, что не в Африку. Он так любил рассказы об Африке. Его ищут сто полицейских и триста казаков.

Всюду разосланы телеграммы. Я только что с почты и по пути зашёл сюда.

Щёки Маврика горели счастливым румянцем. Вот здорово! Сто полицейских и триста казаков. А он тут рядом, под сараем. И его не найдут даже тысяча полицейских и три тысячи казаков.

— А вы тоже ищете?

— Я? Нет, — ответил Григорий Савельевич. — Где я его могу искать? Разве что в твоём пароходе? Так он же не дурак, чтобы сидеть там.

— Конечно, конечно… Зачем ему там сидеть… Но если вам надо, вы можете проверить…

Теперь уже было окончательно ясно, что Илюша здесь. Довольный тем, что предположения оправдались, что сын благополучно добрался до Зашеиных, Киршбаум, скрывая свою радость, сокрушённо спросил:

— А как ты, такой серьёзный человек, не теряющий голову в такие трудные минуты потери своего темнокожего друга, думаешь — найдут его полицейские и казаки?

— Нет! Никогда! — почти выкрикнул Маврик.

— Ой! — простонал Киршбаум. — Ты убиваешь во мне последние надежды. — Тут Киршбаум вынул платок и приложил его к своим глазам. — Жив ли он? Жив ли мой единственный сын?

Чужие слёзы и чужое горе могли заставить Маврика сделать всё. И он, не удержавшись, сказал:

— Ильюша жив!

Тогда Григорий Савельевич задал вопрос, который сам по себе напрашивался:

— А ты откуда знаешь?

— Я?.. Я? — стал заикаться Маврик. — Я так думаю.

— И я думаю точно так же, — поддержала племянника Екатерина Матвеевна, не желавшая, чтобы он выболтал тайну. — Я также уверена, что Ильюшу не найдёт никакая полиция и он будет скрываться до тех пор, пока вы, Григорий Савельевич, не переедете на Песчаную улицу.

— Да! — крикнул Маврик и убежал, забыв о нитках, за которыми он приходил.

Вскоре ушёл Киршбаум, довольный, что его сын проживёт у Екатерины Матвеевны до понедельника следующей недели, когда Киршбаумы переберутся на Песчаную улицу.

Вечером Маврик попросил разрешения у тёти Кати переночевать в пароходе. И это разрешение было получено. А утром Екатерина Матвеевна спросила Маврика:

— Мавруша, ты, кажется, что-то скрываешь от меня? Неужели ты не доверяешь мне своих

тайн?

— Свои доверяю. А чужие я не должен… Я не могу доверить их никому…

Тётя Катя не стала спорить. А Маврику очень хотелось раскрыть тайну и он сказал:

— Но если ты поклянёшься на мече, я тебе расскажу всё.

— Конечно, поклянусь. Неси меч.

И меч был принесён. И на его рукоять была положена рука дававшей клятву. Затем повторены слова, сказанные Мавриком:

— «Меч, меч, тебе голову сечь тому, кто клятву нарушит, на море, на суше, на земле и под землёй, на воде и под водой, везде, и даже во сне».

— Теперь целуй меч, — потребовал Маврик.

Екатерина Матвеевна сделала вид, что прикоснулась губами к мечу, после чего Маврик объявил:

— Илья сидит у нас в пароходе.

— Какое счастье! Какая приятная новость! Зови его сейчас же пить чай…

Маврик помчался за Ильюшей и Санчиком. После чая Екатерина Матвеевна посоветовала Ильюше переселиться из парохода в дом и очень серьёзно предложила ему свою маскарадную, с кружевами, закрывающими всё лицо вместе с

подбородком, маску, он должен носить её при себе и тотчас же надеть, если появится кто-то из тех, от кого нужно скрывать своё лицо.

Это было так неожиданно, так хорошо, что лучшего невозможно придумать. Теперь Мавр-рик и Санчик могут сказать всем ребятам, что у них скрывается чёрная маска без имени и без фамилии.

Ильюша, поняв, как это таинственно, сразу же после чая надел маску, и все ребята на улице спрашивали: кто это, кто?

А вечером, когда снова появился Григорий Савельевич, Ильюша прошёл мимо него, и ему, родному отцу, даже в голову не пришло, что это его сын, которого он так ищет и которому он всё простил. Как недогадливы бывают иногда такие взрослые и такие умные люди…

V

Вскоре был закончен долгожданный ремонт. Во флигеле пробит вход с улицы. Над входом большая вывеска. А на вывеске золотыми буквами написано: ШТЕМПЕЛЯ И ПЕЧАТИ.

Ильюша явился на Песчаную улицу в маске, чтобы заказать штемпель с таинственными буквами МИС. Этими тремя буквами, соединёнными

в одно слово, начинались имена трёх товарищей, трёх верных друзей. И когда заказ на штемпель был принят, Ильюша сбросил плащ, который до этого был накидкой тёти Кати, и снял маску.

Санчик и Маврик, стоявшие за дверью, знали, что с Анной Семёновной будет плохо, захватили с собой нашатырный спирт и, появившись в мастерской, привели её в чувство.

Дочери тёти Лары визжали от радости, а Фаня, изображая из себя красавицу Несмеяну, даже не улыбнулась. Не много ли ты берёшь на себя, Фаина, не хочешь ли ты, чтобы тебе положили под подушку незаклеенный конверт с муравьями и с буквами МИС или напустили в твои чулки живых лягушек? Интересно посмотреть, какое красивое будет у тебя лицо, когда ты утром будешь надевать на свои танцевальные ноги розовые чулки. Благодари бога, что сегодня Маврику и Санчику не до лягушек и не до тебя, слишком старшая и слишком умная Фаня. Есть поважнее дела…

Наступил сенокос. Бабушка Маврика настояла, чтобы внук пожил на кумынинском покосе два-три денька. Поучился грести сено. Екатерина Семёновна, любя и холя внука, не хотела, чтобы он вырос квёлым цветком. Кумынины согласились взять Маврика и Санчика грести сено,

поэтому нужно было спешить. Их ждали.

У Кумыниных нашлись маленькие грабельки. Маленькие грабельки вместе с большими и вместе с острыми косами положили на телегу. На телеге поехали младшие девочки с матерью, а остальные пошли пешком.

Покос не близко. Версты четыре. Но идти туда было очень весело. А на покосе оказалось ещё веселее. Они будут спать в балагане, как все. Яков Евсеевич сразу же занялся балаганом, и все принялись помогать ему.

Сначала поставили «домиком» ивовые прутья, а потом стали покрывать их скошенной травой. Тепло и дождь не промочит.

Хорошо бы научиться косить, но не продаются маленькие косы. Грести тоже интересно, хотя и мешают ягоды. Приходится собирать. Не пропадать же им. Клубники здесь — море. Разве можно сравнить её с лесной земляникой, которая кислит и щиплет язык.

Если б так можно было жить всегда…

Время покоса — это весёлый праздник в Мильве. Приходится останавливать на неделю, а иногда и на десять дней завод, кроме горячих цехов. Сено нужно всем. Коровы же… лошади. Чем их кормить? Траву нужно скосить вовремя. В

хорошую погоду. Траве нужно не дать перерасти и полечь. Сено нужно убрать, как только оно подсохнет в рядках. А вдруг дождь… Намокнет, почернеет сено и может сгнить.

Косят почти всю ночь. Те, кто не справляются сами, нанимают пришлых. Их много приезжает в Мильву. Со своими косами. Со своими песнями.

Белая ночь не зажигает звёзд. Хорошо косить в белую ночь, а ещё лучше спать и слышать сквозь сон ширканье кос и ржание лошадей. Спать и видеть сны о том, как Толя Краснобаев помог сделать из кровельного железа маленькие косы. И как этими косами накосили хорошее сено для пони Арлекина…

Не думай, Маврик, о нём даже во сне. Пусть тебе лучше снится козёл из замильвенской пожарной. Его тоже можно запрячь в маленькую тележку и возить на ней сено или ездить вдвоём с Санчиком в гости. К рогам козла нетрудно прицепить вожжи. Куда потянешь вожжи, туда и он повернёт. Но козёл провоняет весь двор да ещё вздумает бодаться. Нет, не нужно, не нужно видеть, чего не может быть. Спи, Маврик, спи. Завтра ты попробуешь прокатиться на Буланихе верхом. Это твёрдо. А пони, козлы, северные собаки — это почти мышь, которая не оказалась волшебницей.

Спи! У лета впереди ещё сорок пять дней. Сколько купаний будет за эти дни! Сколько тёплых вечеров! Сколько новых знакомых! Новых игр! А потом грибы. Потом привезут арбузы, яблоки, виноград. А потом ты можешь помогать солить капусту. Купят не менее, чем сто кочанов капусты, а огурцов тысячу штук. Потом поспеет калега, которую в Перми почему-то называют брюквой. Старая Кумыниха напарит тебе и Санчику целую корчагу вкусных парёнок из калеги. Это не Пермь. Здесь своя русская печь, и она может, что ты захочешь, напечь, нажарить, напарить, сварить…

Спи. Тебя любит тётя Катя, любит бабушка, любит и мама. Теперь у тебя всё будет хорошо. Пятнадцатого августа ты пойдёшь в школу. Во второй класс, вместе с Толей Краснобаевым. Санчик пойдёт в первый класс. В школе тебя не заставят быть товарным вагоном. От тебя там никто не отвернётся. Зимой тебе никогда не будет холодно. Дрова уже куплены, да ещё и прошлогодних осталось четыре сажени. А потом придёт Рождество. Терентий Николаевич опять принесёт пушистую ёлку.

А за месяц до ёлки ты с тётей Катей будешь золотить орехи, клеить цепи, приводить в порядок

ёлочную коллекцию, надвязывать оборвавшиеся ниточки.

А бабушка Екатерина Семёновна в долгие зимние вечера будет рассказывать про старину такое, какое не услышишь ни от кого. Про первые бунты. Про то, как Мильва горела. Как Мавриков прадед Роман пудовую щуку в пруду поймал. Мало ли у бабушки нерассказанных былей-небылей! Зимние вечера тоже хороши.

А до этого придёт Екатеринин день. Тёти Катины и бабушкины именины. И все соберутся, и будет очень весело.

Спи! Впереди ещё сорок пять летних дней. Завтра всего только второе июля. Спи!

И Маврик спит, убаюканный тёти Катиными словами, которые мысленно повторял сам себе.

Сорок пять дней — это немало, но мелькнули и они. Позади остался милый покос, ставший ещё милее. Побывал Маврик и в лесу с Терентием Николаевичем и научился отличать поганки от хороших грибов. Хотя и не все, но многие. Уж главные-то мильвенские грибы — грузди и рыжики — он никогда не спутает ни с какими другими.

Лето в Мильвенском заводе кончается раньше, чем думал Маврик. Лето кончается в сердитый

Ильин день. Двадцать первого июля. Этот недобрый пророк с красивым и таким близким именем Илья ещё накануне, как пьяный возчик, начал кататься по небу на своей громовой колеснице, и люди крестились на гром, на молнию. Маврик тоже два раза перекрестился. Как все, так и он. Но любить этого пророка он не мог. И за что его можно полюбить, когда в его именины горбатый медведь опускает в пруд свою чугунную лапу? И вода от этого становится холодной. И больше уже нельзя купаться. А если нельзя купаться, значит, настоящее лето кончилось.

Какое же лето без купания? Это начало осени. Ветер с деревьев рвёт листья. Они ещё не жёлтые, но всё равно ветер срывает их. Правда, и ветер нужен. Нужен для змейков. Маврик с Санчиком запускают змейки, которые научились делать сами. Змейки взлетают очень высоко. Очень интересно пускать к ним по нитке телеграммы. Они в одну минуту долетают до змейков. Но разве пускание змейков можно сравнить с купанием? С беганием босиком? С жарой? На пруду злые волны. Ни одной лодки. Только буксир «Ермак» таскает туда и сюда дровяные баржи. Рыба, наверно, и та попряталась на дно.

Правда, и осенью тоже бывает кое-что интерес-

ное. На Соборной площади строят тесовые лавки арбузники. Сколько угодно бобов и репы. Подешевели яблоки. На огурцы уже никто не смотрит. Их солят, и всё. Но без пальтишка не выйдешь. А у Санчика не было пальто. Только шуба. В шубе ещё ходить рано. Пришлось отдать ему старый дедушкин пиджак, чтобы сшили пальтишко. Шили долго, но получилось настоящее пермское пальто с хлястиком и на клетчатой подкладке. Бабушка Митяиха выпросила её в какой-то лавке.

Плохое время года осень. Её никогда не полюбит Маврик. Но в эту осень был очень хороший день. Маврик встретил такую девочку, каких нельзя встретить и на картинках в самых дорогих детских книжках. Он не знал этой девочки, а она знала его. Она первая подошла к нему и назвала по имени.

Вот это как было…

VI

Маврик любовался красной рябиной, которая росла напротив краснобаевского дома в господском палисаднике. Эту рябину можно было уже есть. Дать ей только немножко подвянуть на погребе, и она «посластеет». Так уже делали Сеня и Толя в прошлом году. Они же говорили, что

рябина слаще мёда после первого заморозка, но тогда её не остаётся. Съедают птицы.

Пока размышлял Маврик о рябине, пока он придумывал, на что можно выменять у кучерского сына Лёвки рябину, послышался тоненький, тоньше птичьего, голос:

— Здравствуй, Маврик!

Маврик оглянулся. Перед ним стояла очень красивая и очень маленькая седая женщина, а с ней девочка. Обе они были в осенних пальто из одинаковой серой, мышиного цвета, материи. И обе они улыбались. И обе походили на волшебниц.

— Маврик, разве ты не узнал меня?

— Нет, — ответил Маврик.

— Маврик, разве ты не помнишь ёлку в Общественном собрании?

— Помню. Я хорошо помню, как я там был.

— Тогда ты должен помнить девочку, которой ты привязал к косе блестящую ниточку из золотого дождя с ёлки.

Маврик старался вспомнить и не мог.

— Нет, я не помню…

— А я помню, — сказала девочка. — И буду помнить всегда.

— И я буду помнить, — сказала нестарая старушка. — Это было очень мило с твоей стороны.

— Пожалуйста, приходи к нам, — пригласила девочка. — Меня зовут Лера. А это моя бабушка.

Маврик шаркнул ногой и раскланялся, как учили его в школе Александры Ивановны Ломовой. Он не протянул первым руку.

Этому тоже обучили его.

— Ну право же, ты настоящий кавалер, — сказала бабушка девочки, назвавшейся Лерой.

Далее у Маврика не хватило небольшого запаса вежливости, полученного у Александры Ивановны и порастерянного в Мильве, и он спросил:

— А где вы живёте?

— Твоя тётя скажет тебе, когда ты назовёшь ей нашу фамилию — Тихомировы.

— Генералы?

— Положим, не все, а только Лерочкин дедушка.

— Спасибо, — поблагодарил совсем тихо Маврик и ещё тише сказал: — Я, может быть, приду… Я, наверно, приду, — добавил он, глядя на такое красивое, на такое нарисованное, на такое сказочное лицо Леры.

— У тебя с тех пор немножечко потемнели волосы. — Лера потрогала его кудри, улыбнулась и сказала: — Приходи. У меня два брата. У них есть ослик…

Это решило всё. Ослик — это почти пони.

— Обязательно приду… Обязательно, Л-л-лера, — слегка заикаясь, назвал он впервые это имя, которое стало теперь самым красивым из всех имён.

Бабушка и внучка простились с Мавриком и пошли дальше. Маврик остался под рябиной в господском палисаднике. А из окна краснобаевского дома смотрели два печальных глаза Сонечки Краснобаевой, которой вчера исполнилось ровно восемь лет, и Маврик был у неё на именинах и подарил ей фарфорового куклёнка в маленькой ванночке, куда можно наливать воду и мыть младенца.

Это было вчера. Он сидел рядом с ней за столом, и Сонина мама говорила про них:

«Ах, какая парочка, барашек да ярочка…»

А сегодня?.. Сегодня совсем другое. Его гладит по голове генеральская внучка. Он шаркает ножкой. Кланяется. Он говорит ей: «Обязательно приду…» Что же это?

— Сонька, о чём ты? — спрашивает её мать.

— Ни о чём… Просто так.

Сонина мама сажает на колени свою младшую дочурку. Обещает завтра же ей купить школьную сумку, букварь, тетради, карандаши… И что-то

ещё…

Но что ей школьная сумка? Разве можно утешить девочку цветными карандашами? Сонечка плачет. Мать решает про себя: «Наверно, не выспалась прошлой ночью» — и убаюкивает свою маленькую любимицу, зная. что сон высушит её слёзы. А Сонечка долго не уснёт, она всего лишь притворится спящей и будет думать, думать…

VII

— Ты обязательно, ты обязательно, Мавруша, должен нанести визит Тихомировым, если тебя приглашала сама генеральша, — говорила Екатерина Матвеевна, радуясь, что племянник будет принят в таком благородном и таком закрытом почти для всех доме.

Был доволен и Маврик, хотя и не знал, что такое визит и почему его надо нанести, а не просто принести или поднести как подарок, как букет.

Вскоре выяснилось, что визит — это значит сходить на недолочко в гости, а почему визит «наносят», как наносят оскорбление, удары, тётя Катя тоже не знала.

Но раз наносят, значит, наносят, и Маврик его с радостью нанесёт.

Затем стало известно, что таким господам, как

Тихомировы, визит нельзя наносить пешком, потому что они дворяне.

В слове «дворяне» Маврику слышалось нечто унизительное. Когда ученик получал двойку, то ему говорили, что из него вырастет «дворянин с метлой». Когда хотели унизить собаку, её называли «чистокровной дворянкой». Почему же тётя Катя слово «дворяне» произносит с таким уважением? Наверно, так надо.

Маврику было сказано, что в воскресенье утром его повезёт наносить визит Яков Евсеевич Кумынин. Потому что возьмёт он недорого, и у него появилась новая тележка с крыльями от грязи и с кожаным сиденьем.

Подготовка к визиту началась в субботу. Тётей Катей был сшит новый костюм, накрахмалены обшлага и воротник, куплен пышный голубой бант с крупным белым горохом, подровнены у парикмахера кудри, а затем вымыты в двух водах и надушены одеколоном «Саддо-Якко».

Утром было не до Санчика, и он не явился к чаю. Тётя Катя несколько раз перевязывала бант и переспрашивала племянника, как и кого зовут из Тихомировых. Маврик твёрдо заучил тихомировские имена и пообещал, что им не будет сказано ни одного лишнего слова, что в гостях он

будет не долее получаса.

Ровно в десять Яков Евсеевич подал лошадь. И, как следовало ожидать, сбежались ребята. Их всех занимало, что это значит? Кто и куда едет? И все узнали, что Маврик едет в генеральский дом. Узнала об этом и Сонечка Краснобаева. Ах бедняжечка!

Маврик вылетел из ворот и хотел было впрыгнуть в тележку, но что-то помешало ему. Что-то остановило его. И он понял, что молчащим ребятам нужно объяснить, почему он сегодня так одет и почему он должен ехать на лошади.

Когда было сказано всё, Маврик заметил, что это не произвело никакого впечатления на ребят. Они молча выслушали его и молча проводили. Маврик не мог понять, что произошло и почему им, кажется, не очень приятно, что у него такой счастливый день.

Яков Евсеевич тоже молча сидел на козлах, поторапливая вожжами Буланиху, будто ему тоже было не очень приятно. Но разве Маврик виноват, что у него такие знакомые и к ним нельзя появляться просто так?

Дверь открыла горничная, и Маврик выпалил ей:

— Маврикий Толлин. Прошу доложить. — Всё,

как было велено.

— Да зачем же докладывать, мы тебя и без доклада вторую неделю ждём.

Послышались голоса. Среди них он различил тонюсенький голосок Леры. Маврика провели в гостиную, генеральша поправила смявшийся бант. Появились все. Маврик представлялся, назывался с реверансом. Всё ему очень понравилось, и так было жаль, что генерал не носил эполеты, а был просто в тужурочке и даже без галстука, как Иван Макарович Бархатов. Валерий Всеволодович тоже оказался какой-то не такой. Он даже не походил и на серьёзного человека. Шутил и смеялся. Показывал фокусы. Р-раз — и полная коробка спичек. Р-раз — и она пустая. Он очень удивился, что Маврик такой чинный, такой важный. И ещё более удивился, чуть даже не свалился со стула, когда узнал, что Маврик приехал с визитом на лошади. Маврик сам виноват в этом. Вернее не он, а его длинный язык.

Маврику показалось, что никто не заметил и не заметит, если он не скажет сам, что под окнами его ждёт лошадь. А ему хотелось, чтобы все знали об этом. И конечно, Лера. Поэтому Маврик подошёл к окну и, приподнявшись на носки своих новеньких жёлтых башмаков, заглянул

на улицу.

— Ты что, мой дружок? — спросила его Лерина бабушка, Варвара Николаевна.

Маврик ради этого вопроса и заглядывал в окно. И он небрежно, как бы между прочим ответил:

— Хотел проверить, не ушла ли лошадь, на которой я приехал.

Вот тут-то Валерий Всеволодович и покатился со смеху, чуть не упав со стула. Почему-то улыбнулась и Лера. Не смеялась только бабушка, Варвара Николаевна. Она очень серьёзно спросила:

— А если и ушла твоя лошадь, что тогда?

— Ничего тогда, но всё-таки, — ответил Маврик, не зная, что нужно было сказать.

— Вот что, — сказала тогда Варвара Николаевна, — спустись и скажи уважаемому Якову Евсеевичу Кумынину, что ты просишь его не затруднять себя и не мокнуть под дождём, потому что ты останешься у нас на весь день. И попроси извинения за то, что ты заставил его ждать…

— Хорошо. Я сейчас.

— Нет, нет… Мамочка, разве можно посылать гостя? Я сбегаю сам. — Тут Валерий Всеволодович быстро выбежал, и было слышно, как он мчался по лестнице.

Маврик чувствовал, что что-то не так. Что-то

было неправильное не только в его приезде на лошади, но и в ожидании Якова Евсеевича под дождём. И это подтвердилось, когда Валерий Всеволодович вернулся с Кумыниным и, проводя его в комнаты, сказал:

— А я не знал, что ты мокнешь на улице. Давай по одной. У меня к тебе охотничье дело…

— Давай. Я всегда рад стараться, — ответил по-свойски Яков Евсеевич.

— Прошу извинить меня, Маврик, — раскланялся, хитро-прехитро улыбаясь, Валерий Всеволодович и увёл, обняв, Кумынина к себе.

Варвара Николаевна внимательно следила за Мавриком. По его лицу пробегала то обида, то стыд, то признание чего-то, и наконец он, обратившись к Варваре Николаевне, сказал:

— Тётя Катя сделала это из уважения к вам. Ведь вы же дворяне…

Варвара Николаевна обмерла. Она открыла рот, потом бросилась к Маврику. Ей стало так неприятно, что не тщеславие заставило его приехать на лошади Кумынина, а уважение к Тихомировым вынудило Екатерину Матвеевну прибегнуть к этому параду.

— Нет, не я и не Валерий, — начала говорить она, — преподали тебе урок хорошего тона, а

твоя прямота, правдивый мальчик, заставляет нас об очень многом подумать. — И затем, обращаясь ко всем, она продолжила: — Извозчик — это извозчик. И если Якова Кумынина унижает его приватное извозчичье занятие, то кто мешает ему не жадничать и заниматься только его прямым делом? Ведь он же кузнец. А если ему нужны лёгкие рубли, то нечего обижаться, что ему приходится сидеть на облучке. Ведь если бы Маврик приехал просто на извозчике, то никому бы не пришло в голову упрекать мальчика за то, что тот его ждёт.

С этого часа у Маврика появился новый друг — Варвара Николаевна Тихомирова.

VIII

Потом Лера играла на рояле. И, наверно, хорошо играла. Но Маврик не очень любил музыку, кроме разве гармошки. Та пела, плакала, смеялась. А рояль что-то хотел произнести, но не мог выговорить, потому что у него не было голоса, а только струны…

На ослике прокатиться тоже было нельзя. Шёл дождь. Да и у осла была слишком большая голова, слишком длинные уши и очень неприятный рёв. Пришлось вернуться в дом.

Решили поиграть в короли. Как раз было четверо: Маврик, Лера и её два брата, Викторин и Владислав. Не беда, что Лера немножечко выше Маврика. Но когда они сидят рядом, это незаметно.

Теперь Маврик знал их всех. И они были очень хорошие люди. Хорошие, но другие. У них можно бывать. И он будет бывать у них. Но у них он никогда, наверно, не станет своим человеком. У них даже за столом нужно вести себя не как у всех.

Неинтересно быть дворянином, но и жить, как живёт вся Ходовая улица, тоже не подходит для Маврика.

Неужели всё-таки он принадлежит к тем, про которых говорят «не поймёшь кто» и «ни то ни сё»? Это плохо. А всё же Тихомировым нужно дать понять, что он тоже не из простых. Поэтому Маврик решил сказать Варваре Николаевне, чтобы слышали все:

— А ведь я мещанин города Перми.

— И очень хорошо, — сказала Варвара Николаевна и, кажется, обрадовалась услышанному.

А Валерий Всеволодович снова хохотал. Ему, кажется, достаточно показать палец, и он будет смеяться. Но, просмеявшись, он сказал:

— А я думаю, что ты из рода князей Барклай де

Толли и не знаешь этого, — и снова улыбнулся.

Тут Маврик вспомнил, как бабушка Толлиниха сказала ему однажды, что придёт время и Маврик узнает, какую знаменитую фамилию носит он. И кажется, бабушка назвала слово «Барклай».

— Может быть, — ответил Маврик Валерю Всеволодовичу. — Бабушка тоже говорила что-то такое… Но мне всё равно.

Шутка Валерия Всеволодовича прияла неожиданный поворот. Провожая Маврика до дома, он повторил ему совершенно серьёзно, что его фамилия имеет прямое отношение к фамилии Барклая де Толли. Только он не досказал, какое именно отношение. Не договаривала об этом и пермская бабушка. Тихомиров предположил, что фамилия Маврика пошла от прозвища крепостных, принадлежавших Барклаю де Толли, — Толлины. И эту неожиданно пришедшую в голову версию Валерий Всеволодович, не пройдя и ста шагов по Большому Кривулю, провожая Маврика, стал считать абсолютной и неоспоримой. По принадлежности тем или иным господам возникали многие крестьянские фамилии. Например, в Прикамье уйма крестьянских фамилий Строгановы. Эту версию он считал безусловной и потому, что фамилия Маврика с двумя буквами «л» не могла

быть фамилией русского происхождения, тогда бы она звучала просто Толин, а не Толлин.

Вернувшись домой, Маврик стал расспрашивать про князя Барклая де Толли. Екатерина Матвеевна долго вспоминала, где она слышала это имя. И вспомнила только вечером. А вспомнив, нашла потрёпанную книжку, которая называлась «1812 год». В книжке был портрет Барклая де Толли.

Может быть, Маврику стоит подумать ещё, кем ему быть, когда он подрастёт. Стать фельдмаршалом и скакать на коне вовсе не так плохо. Конечно, это опасно. Могут убить, и тётю Катю некому будет поить и кормить, но ведь Лере-то будет очень приятно, когда она узнает, что Маврик решил стать полководцем.

Но это пока нетвёрдо. А сейчас нужно спать.

Во сне прилетела милая, желтогрудая, с белыми щёчками птичка. Это большая синица. Здесь её ласково называют кузей… кузькой… кузнецом. Кузя сел на спинку кровати, отряхнулся и спросил голосом Ильюши Киршбаума:

«И когда только ты перестанешь забивать себе голову всякой чепухой? И вообще, лучше бы ты не ходил к Тихомировым…»

Но это теперь уже невозможно. И не потому,

что первая детская привязанность к Лере будет манить его к Тихомировым. Каждый их них по-своему интересен и приятен.

IX

Не так много знал о Тихомировых Маврик. Несколько больше знали о них взрослые люди, но знали скорее по догадкам. Тихомировы не выносили на люди того, что касалось только их.

Бабушка, Варвара Николаевна, отдав дань исканиям путей к счастью народа, решила для себя, что насаждать благородное, воспитывать в человеке хорошее и есть самое главное. Наивная убеждённость бабушки переделать мир служением добру не вызывала возражения окружающих, но и не стяжала поклонников. Варвару Николаевну безоговорочно любили такой, какая она есть. Любили внуки, любили дети, обожал муж.

Старик Тихомиров принадлежал к тем военным, для которых профессия была случайной, много знал и очень много читал. Главные труды Маркса и Энгельса, как, впрочем, Канта и Гегеля, им были прочитаны в оригинале. Для него немецкий был вторым языком. Он восхищался Марксом, преклонялся перед Энгельсом, и тем не менее написанное ими было для него лишь

одной из точек зрения, которая может и восторжествовать, но, конечно, не в России, а там, где уже не едят из общей чашки, не моются в курных банях и не кичатся лаптями, предпочитая их кожаной обуви.

Дети Тихомировых, воспитанные в духе неприязни к самодержавию, нашли свои способы борьбы с ним. Старший, Владимир, отец Леры и её братьев, оказавшись народовольцем, был приговорён к каторге. Убежав с каторги, пропал без вести.

Неизвестно, каким путём пошёл бы второй сын, Валерий, если бы не счастливая встреча с механиком по дизелям Иваном Макаровичем Бархатовым. Студента Тихомирова поразила простота и ясность суждений нового знакомого о вещах сложных и явлениях, казавшихся неразрешимыми. Они сблизились настолько, что Валерий Тихомиров получил возможность познакомиться с Владимиром Ильичём Лениным.

Часть вторая

Первая глава

I

Пятнадцатого августа кончилось школьное лето. В земском складе — бойкая торговля учебниками, сумками, ручками, карандашами, школьной бумагой, из которой ученики сами сшивают тетради, — это дешевле.

Маврик тоже готовится к учебному году. У него хороший ранец, а в ранце — книги, пенал, коробка для завтрака, бутылочка для молока. Там же и электрический фонарик, подаренный папой в Перми. А вдруг пригодится фонарик! Его можно показать мальчикам во втором классе. Интересно же им, как горит маленькая электрическая лампочка.

В первый школьный день Маврик встал рано. Поминутно смотрел на часы, чтобы не опоздать. Ждал Санчика — он идёт в первый класс и уже знает все буквы и немножечко читает по складам. В ненастные дни Маврик был его учителем.

На улицах Мильвы ватаги школьников. Им тоже ещё рано в школу, и у них ещё есть время поколотить ребят из соседней школы на Купече-

ской улице или быть побитыми «купчатами».

Чинно проходят по улице ученики в фуражках городского училища со значками «ГУ», их дразнят «гуся украл». Их недолюбливают сверстники, у которых после трёх классов начальной школы кончилось образование. А эти «гуси» будут учиться ещё четыре года и выучатся на табельщиков, чертёжников, конторщиков, разметчиков. Хоть и не выйдут в господа, а всё-таки не свой брат, не мастеровая молодёжь.

Съехались техники — ученики Мильвенского судостроительного училища. Это взрослые люди. Многие с усиками. Самому младшему из них шестнадцать лет. Они в настоящей форме. Тужурки с золотистыми пуговицами. Фуражки с кантами и со значком.

Техники проходят всегда по Купеческой улице, даже если им не по пути. Там женская гимназия, и у них много знакомых гимназисток.

— Давай, Санчик, пойдём в школу через Купеческую улицу, — предлагает Маврик.

— Давай, — как всегда отвечает согласный на всё Санчик.

И они идут.

На Санчике старая Маврикова курточка. Он в сапогах. И большинству мильвенских школь-

ников покупают сапоги. Не по ноге. С запасом. Чтобы хватило «на всю школу», то есть на все три года обучения.

Толе Краснобаеву тоже купили новые сапоги. Он их начистил ваксой. Здорово блестят.

Санчик и Маврик шли медленно. Лера не встретилась. Решили вернуться. Потом снова вернуться. И наконец Санчик сказал:

— Вот она. Я отбегу…

Лера шла в синем форменном платье, в белом фартуке, с белым бантом в косе и несла большой букет цветов.

— Здравствуй, Маврик. Какой ты нарядный!

Лера одобрительно отозвалась о его синем бархатном костюме, расправила под ремнями ранца белый воротник и преподнесла из букета, а потом продела в петлицу куртки большую садовую ромашку и сказала:

— А эту вторую твоему товарищу, который почему-то стесняется.

— Спасибо, Лера… А я нарочно пошёл по этой улице, чтобы увидеть…Чтоб посмотреть, — слегка заикнулся Маврик, — как идут гимназистки в гимназию. Добро пожаловать! — сказал он ей, не зная, что говорят в таких случаях, и убежал.

Санчик и Маврик появились у ворот своей шко-

лы. Ворота ещё не открылись, а возле них уже гудел рой ребят. Знакомых оказалось мало.

— Здравствуйте! — поклонился всем Маврик. — Я тоже буду учиться в этой школе.

В ответ раздался хохот. Затем для первого знакомства была выдернута из петлицы ромашка, подаренная Лерой, а затем получен первый синяк.

За что? Что сделал он?

— Отдайте! — крикнул Маврик.

— Отдайте, — повторил подоспевший Толя Краснобаев.

Этого было вполне достаточно, чтобы начать потасовку.

— Задаёшься? — спросили Толю. — Значит, тоже хочешь? Получай.

И Толя получил хороший тумак, затем второй, третий, а когда он дал сдачи, его свалили с ног и стали бить сумками. Маврик лежал ничком в крапиве, его белый воротник был вымазан чернилами. Чернила школьники приносили с собой в пузырёчках, привязанных на верёвочках к поясу.

Тут подоспел на помощь брату Сеня. При виде сильного, коренастого третьеклассника драчуны бросились врассыпную.

— Погодите, — сказал Толя, вытирая кровь, сочащуюся из разбитого носа. — Узнаете, как ни за что бить.

Открылась калитка. Гурьба школьников, сбивая один другого, кинулась на школьный двор. Маленький тесный дворик едва уместил сто с лишним школьников трёх классов кладбищенской церковноприходской школы.

Потом открылись двери школы. Снова давка. Школьники разбрелись по своим классам. Первоклассники ещё не знали, кому и с кем сидеть.

Ученик второго класса Маврикий Толлин вошёл последним. Он тоже не знал, куда ему сесть. Измазанный, с синяками на лице, в обрызганном чернилами кружевном воротнике, держа в руках ранец, ремни которого были оторваны, он стал возле печи.

Вошла учительница Манефа Мокеевна. Полная. Приземистая. Седеющая, с сердитым лицом. Все встали. И она, не сказав школьникам «здравствуйте, дети» или просто «здравствуйте», как это делали все учителя в школе Ломовой, обратилась к Маврику:

— Ну что ты стоишь как казанская сирота?

Класс громко и пронзительно захохотал. Класс хотел прозвища Маврику, и оно нашлось. «Казан-

ская сирота». Ха-ха! В самый раз.

— Я не знаю, куда мне можно сесть, — поклонился Маврик и добавил, ещё раз поклонившись: — Здравствуйте, Манефа Мокеевна. — Её имя он знал ещё летом. И знал, что она злая, потому что её никто не взял замуж.

Это обескуражило Манефу Мокеевну. Мальчик, стоявший покорно у печи, не желая, преподнёс ей урок вежливости.

Манефа Мокеевна никогда не любила школы, детей и самой профессии учителя. Но нужно было что-то делать в жизни, кем-то быть. И она, сестра урядника, где-то и чему-то подучившись, стала учительницей, вымещая на детях свою злобу за неудавшуюся жизнь.

— Хорош, хвалёный груздь, — сказала Манефа Мокеевна, осматривая Маврика. — Ещё за парту не сел, а уж в синяках и царапинах. Где ты так измазаться успел? Кто тебя?

С задних парт Маврик увидел поднятые кулаки. В его ушах ещё слышались слова:: «Наябедничай только, ябеда-беда, не так причешем».

Манефа Мокеевна ждала, что Маврик назовёт своих обидчиков и те добавят ему после школы, и она повторила:

— Кто же? Говори! Они посидят у меня без

обеда.

— Никто, — ответил Маврик. — Я сам.

— Значит трусишь говорить правду своей учительнице, Мартын Зашеин?

В классе снова раздался угодливый хохот.

— Я… я… я не Мартын и не Зашеин, — волнуясь, возразил Маврик. — Я ученик второго класса Маврикий Толлин.

Теперь хохотала и сама учительница. Её живот подпрыгивал. Она закашлялась от смеха. Бледный Маврик не знал, как вести себя далее. Но тут Манефа Мокеевна поняла, что её поведение находится за чертой допустимого. Она, силясь улыбнуться, положила на плечо Маврику свою широкую короткопалую руку и сказала:

— Иди, я посажу тебя, кружевной ангелок, на первую парту.

И посадила.

II

Для первого дня, проведённого в школе, Маврику достаточно было и трёх прозвищ, подсказанных учительницей: «казанская сирота», «хвалёный груздь» и «кружевной ангелок». Кроме них у него появились и другие: «Зашей, продай вшей», «Маврикий-заикий». Но уроки ещё не

кончились. Пришёл кладбищенский батюшка, отец Михаил. Законоучитель.

Все встали. Молча поклонились. Потом повернулись к иконе Кирилла и Мефодия — первоучителей славянских. Толя Краснобаев прочёл молитву «Царю небесный». Отец Михаил благословил рукой класс и сказал:

— Да благословен будет год нынешний, как год минувший. — Затем спросил, не забывали ли повторять преподанные им молитвы, молились ли по утрам, перед обедом, после обеда и перед сном?

— Да-а-а, — гудел класс, отвечая на каждый вопрос. — Не забывали… Повторяли… Молились…

— Это хорошо, дети мои. Верю, а потом проверю. А теперь расскажу вам о боге.

Отец Михаил расчесал пятернёй свою сивую с желтизной бороду, провёл руками по голове, высморкался в красный клетчатый платок и начал:

— Бог есть дух — всемогущий, вездесущий, всезнающий.

Маврик, позабыв о своих обидах, смотрел в беззубый рот своего законоучителя и думал: зачем ему нужно понятное рассказывать непонятно? Это же самое он слышал ещё в первом классе от нарядного, красивого священника в

блестящей тёмно-лиловой рясе, с бородой, как на иконе у Иисуса Христа, и с такими же большими синими глазами. Его звали отец Иннокентий, и он служил, хотя только раннюю обедню, но в кафедральном соборе. От него пахло не как от этого, не вчерашними щами из старой капусты, а церковью и причастием. Маврику очень хотелось подсказать отцу Михаилу, как нужно говорить о боге, и он сказал вслух:

— Бог всё знает, всё видит, и от него ничего нельзя скрыть.

— Именно, отрок мой, — подтвердил законоучитель и погладил Маврика по голове.

Поощрённому Маврику захотелось сказать о боге ещё больше, и его голос зазвенел:

— Люди только думают, что можно обмануть бога, спрятать от него свои грехи, а как их спрячешь, когда с неба всё видно и бог всё помнит, всё терпит, а потом, как придёт конец его терпению, его милостям, он как возьмёт камень да как трахнет им по голове грешника…

— Это, положим, всё так, — остановил Маврика законоучитель, — но зачем трещать-то тебе, трещотка? Трещоток тоже не милует господь…

Маврик осёкся, побледнел. Отец Михаил смягчил свои слова:

— На первый раз бог прощает трещоток и выскочек, если они, конечно, впредь не будут трещать, перебивать и выскакивать.

В классе прошёл шумок. Послышался шепоток: «трещотка», «выскочка». Маврик получил ещё два новых прозвища, на этот раз данные ему священником. А он не Манефа-урядничиха, а отец Михаил, который не боится и самого протоиерея, потому что у него двоюродный брат архиерей. И если бы отец Михаил не гулял на свадьбах, на похоронах и на крестинах, если бы его не уводила пьяного под ручку кладбищенская просвирня, тогда бы его сделали протоиереем. Об этом знают школьники. Им известно, что он «плюёт на всех с большой колокольни» и не боится опаздывать к обедне и служить её «на скорую руку».

Маврик страшился возненавидеть отца Михаила, но не мог заставить себя считать его порядочным человеком. Об этом, как и обо всём, что произошло сегодня в школе, он рассказал тёте Кате и бабушке.

Обе они плакали. Прикладывали серебряные полтинники к синякам на лице Маврика, чтобы они скорее прошли. А потом стали советоваться, как быть дальше.

Снова выручил Терентий Николаевич. Он ска-

зал так:

— Катенька, Катерина Матвеевна, одно из двух. Ежели вы хотите пускать парня по барчуковой стезе, тогда нанимайте ему домовую учительницу, как у господ. А ежели он будет жить, как все, тогда стригите его под первый номер, обуйте его в сапоги, наденьте на него «обнакновенную одёвку», и он не будет белым голубем в стае сизарей.

Примерно так же сказал тихий и разумный сосед Артемий Кулёмин. Он хотя как бунтовщик и был «приведён к медведю» после пятого года, хотя и побывал в Сибири, но вернулся оттуда неузнаваемым.

Кулёмин давно признан умным и хорошим советчиком не только на своей улице, но и на заводе.

— Екатерина Матвеевна, — сказал он, — если по душам, то скажу так: Манефа-урядничиха стоит хорошей пеньковой петли. Зря она родилась, простите на слове, бабой. Ей бы в самый раз быть палачом. Порола бы с оттяжкой и с удовольствием. Конец она свой найдёт. А пока что надо ладить.

— Уж не на поклон ли идти к этой… — не договорила Екатерина Матвеевна, не найдя нужного слова.

— На поклон не на поклон, — сказал Кулёмин, добродушно улыбаясь, опуская свои умные серые глаза, — а кость бросить надо. Сшейте ей что-нибудь в знак благодарности…

— За что?

— За материнскую заботу о вашем племяннике… Затравит ведь, — сказал Кулёмин и перевёл разговор на другое.

Очень обидно было Екатерине Матвеевне идти к Манефе, но в словах и в глазах Кулёмина была правда. «Надо бросить кость».

Сапоги Маврику были куплены в сапожном ряду. Скроить, сшить «обнакновенную одёвку» из чёртовой кожи и для медлительной Екатерины Матвеевны было делом дня. Что же касается Манефы, ей было сказано так:

— Манефа Мокеевна, вы были разборчивой невестой, и я была разборчивой невестой. Вы не захотели выходить замуж, и я не захотела. Вам трудно живётся, и мне нелегко.

И неожиданно для Екатерины Матвеевны Манефа прослезилась.

— Не хотела я обижать вашего мальчика, — вдруг перешла она сразу к делу, поняв, зачем пришла к ней эта степенная, всеми уважаемая Екатерина Зашеина, — да сатана во мне верх

берёт.

— Это и со мной случается, — покривила душой Екатерина Матвеевна. — Не надо поддаваться ему, Манефа Мокеевна. Не надо, ну да не мне вас учить…

Екатерина Матвеевна без обиняков стала говорить о плохом осеннем пальто Манефы, о малом жалованье в церковноприходских школах и о том, что Маврик неусидчив и плохо пишет, что ему нужно терпеливо внушить, как важно научиться выводить буквы. А так как научить этому Маврика нелегко, поэтому Екатерина Матвеевна решила сшить терпеливейшей из терпеливых учительниц, Манефе Мокеевне, модное и солидное пальто, сукно которого давно уже куплено.

— Я стеснялась предложить это вам, Манефа Мокеевна, летом… Я не знала, какая вы простая и сердечная женщина… А теперь я вижу…

— И я ведь не знала, какая вы, Катенька, — сказала Манефа, проверяя по лицу Зашеиной, не оскорбляет ли её употребление слова «Катенька» вместо полного имени с отчеством.

Но Екатерина Матвеевна постаралась не обратить внимания на укороченье имени. Для Маврика она готова поступиться и не этим.

Был рассмотрен фасон, затем снята мерка и…

III

И положение Маврика в школе круто переменилось. Манефа не обладала и малой долей такта. Она велела классу встать, а затем объявила, указывая на Маврика:

— Кто это? Это внук Матвея Романовича Зашеина, которого знают и помнят ваши отцы и ваши деды за его добрые дела. И если кто-то из вас тронет хоть пальцем или, случаем, и не нарочно толкнёт или обзовёт его разными словами, потом пусть пеняет на себя. Сядьте. А ты, Байкалов, выйди к доске и повтори.

Манефа Мокеевна, взяв за плечо Байкалова, помогола ему выйти из-за парты. Помогла так, что драчливый ученик готов был взвыть от боли. Короткие сильные пальцы Манефы Мокеевны могли бы, сжавшись, покалечить плечо Байкалова. Но нажим был в половину силы. Хотя и этого было достаточно, чтобы Байкалов понял, что его может ожидать, если он снова посмеет ударить Толлина.

— Повтори, что я сказала, Байкалов!

И Байкалов стал повторять:

— Кто это? Это внук Матвея Романовича Зашеина, которого… которого…

— Которого знают и помнят, — властно подсказала Манефа Мокеевна, — ваши отцы и ваши деды…

Байкалов повторял подсказываемое. И только после того, как он заучил слово в слово предупреждение учительницы, ему было позволено сесть за парту.

— А сейчас выньте тетрадки и пишите то, что я вам велю.

Началась диктовка. Байкалов не мог поднять руки.

— Сохнет, что ли, рука, Байкалов? Или, может быть, боится писать?

— Не знаю, — ответил Байкалов.

— Ну, коли не знаешь, возьми книжки, пойди домой и спроси у отца, что случилось с твоей рукой. Завтра тоже не приходи. Марш! А вы пишите… «Осень!..» Знак восклицания… «Осыпается… весь… наш… бедный…» Слово «бедный» пишется через букву «ять»… «весь… наш… бедный… сад». Точка.

Байкалов покинул притихший класс. Было слышно, как скрипели перья. Маврик, остриженный наголо, в шагреневых сапогах, в топорщащейся новой «одёвке» из чёртовой кожи, писал с трудом, пропуская буквы. Перо не слушалось.

Руки дрожали. Ему стыдно было поднять глаза.

Что теперь будет с ним? Что будет теперь?

А было плохо. Совсем плохо.

Маврика никто больше не трогал. Но никто и не разговаривал с ним. Ему уступали дорогу. Подчёркнуто сторонились, чтобы «случаем» не задеть, не толкнуть его..

«Уж лучше бы били, — думал он. — Уж лучше бы и она давала новые прозвища, чем так защищать».

Маврик страшился, что так будет всегда, но этого не случилось. И самые драчливые, самые злопамятные ребята разглядели Маврика, и прозвища «трещотка», «болтушка», а потом и «Маврикий-врикий», оставаясь справедливыми, перестали звучать оскорбительно, а вскоре забылись, хотя Маврик по-прежнему болтал, трещал и врал. Но как «врал»!.. Даже Митька Байкалов как-то сказал:

— Соври ещё раз, пожалуйста, про что-нибудь.

И в слове «соври» не чувствовалось обидного. «Соврать» для Митьки Байкалова в данном случае означало — «придумать», «сочинить».

Для Маврика ничего не стоило рассказать, как одна плохая телеграмма шла по проволоке и заблудилась, потому что было темно, а проволок

на столбах было очень много, поэтому плохая телеграмма не дошла и сыщики не сумели поймать разбойника, который был не разбойник, а молодой капитан парохода, нарядившийся разбойником, чтобы спасти свою невесту Валерию, украденную кровожадным купцом Кощеевым.

Серьёзный мальчик Коля Сперанский, живший напротив школы, и тот стал приглашать к себе Маврика, чтобы послушать его неистощимое «вранье». И сила этого «вранья» оказывалась такой, что на тесном школьном дворе под моросящим дождиком оставалась чуть ли не половина класса, чтобы послушать, почему чижик не улетел в тёплые края, или о волшебном карандаше, который оказался в руках у одного мальчика и мальчик не знал, что это волшебный карандаш и что всё написанное и нарисованное этим карандашом «случается взаправду»

Тётка, две бабушки и особенно пермская бабушка Толлиниха, да и дед Матвей Романович порассказали достаточно сказок, былей-небылей, страшных и счастливых историй, чтобы развить воображение Маврика. И теперь он иногда пересказывал, видоизменяя слышанное, однако же способность выдумывать была столь очевидна, что и злая Манефа находила в Толлине

«сочинительный дар». Да и как этот «дар» было не обнаружить, когда появившийся на заборе чижик заставил Маврика рассказать очень интересную неправду.

— Я видел сам вчера у казёнки, — рассказывал он, — как этот глупый чижик пил водку.

— Какую, где, ты что? — спросил Митька.

— У казёнки, на Купеческой улице. Пьяный разбил бутылку, и всё разлилось. А чижик очень хотел пить. И он думал, что это вода. Откуда же чижику знать? Правда, ребята? Водка же тоже белая, и он напился…

И когда все согласились с этим, можно было придумывать дальше. А дальше чижик валялся под забором, и его чуть не схватила кошка, но на неё накинулась собака Мальчик. Чижик протрезвился, хотя и не совсем. Ночевал он на берёзе и, проснувшись, стал звать своих. Но свои улетели…

— Все большие чижики улетели в тёплые края, — рыдающим голосом тёти Кати рассказывал Маврик. — И остался маленький чижик один. Один-одинёшенек. Ни папы, ни мамы, ни дедушки с бабушкой — никого… Они все улетели… Все до одного, а дорогу в тёплые края он не знал… А кошка караулила его… Она скалила зубы и кри-

чала: «Я тебя мяу-мяу до последнего пёрышка…» И вот она стала точить когти, потом зубы…

Маврику и самому до слёз было жаль чижика, которому он придумал сначала легкомысленное опьянение, а затем «неминучую смерть», но ему очень хотелось спасти чижика. И всем хотелось спасти эту маленькую птичку, которая жила теперь не выдуманно, а правдиво и для самого Маврика.

— И когда чижик насквозь прозяб до последней косточки, — рассказывал Маврик, ещё не зная, что его спасёт, и тянул время, — и когда кошка пробиралась к нему по веткам, вдруг…

За «вдруг» что-то должно следовать. А что? Не фея же? Не чижиная же тётя Катя прилетит за ним… А почему бы и не прилететь чижиной тётке? Почему?

— И вдруг, — продолжает Маврик, — он слышит знакомый чижиный голос, и этот чижиный голос на чижином языке говорит ему: «Чижик, мой милый чижик». Чижик сразу же узнал свою тётку, бросился к ней под крыло и тут же согрелся…

— А кошка? — спрашивают ребята.

— А кошка струсила, — отвечает Маврик.

— Чижихи? — сомневается Коля Сперанский.

Митька Байкалов показывает Сперанскому

кулак и подтверждает:

— Да знаешь ли ты, какие бывают старые чижихи… Львам глаза выклёвывают, а не то что кошкам. Рассказывай, Маврикий, дальше.

А дальше совсем нетрудно рассказывать. Когда чижик отогрелся под крылом своей тётки, они полетели над лесами, над лугами, над реками и всю дорогу разговаривали на чижином языке.

Рассказ о чижонке заканчивался. Ребятам хотелось знать, что будет потом. И Маврику хотелось тоже знать. Но что будет потом — можно придумать дома.

Моросит дождь. Ребята расходятся по домам. Кто-то досказывает, как хорошо будет маленькому чижику в тёплом краю, и кто-то сожалеет, что нельзя сделаться хотя бы на денёк или на два чижом…

На улице — глубокая осень. Вспоминается недавняя диктовка. В ушах немазаной телегой скрипит голос Манефы: «Осень!.. Знак восклицания. Осыпается весь наш бедный сад…»

Маврик идёт мимо школы, где учится Иль. Дождавшись его, он идёт вместе с ним, обнявшись.

Выросший в иной среде Ильюша Киршбаум никак не был склонен искать в тех же мышах заколдованных фей или умиляться рассказом

о чижике. Наоборот, ему чуждо было всякое волшебство, и он не признавал ни духов, ни привидений. Не очень охотно Ильюша слушал сказки. А недавно с ним что-то произошло. Он тоже стал придумывать невероятное.

— Ты знаешь, Мавр, — с таинственной убеждённостью начал Иль, — если поймать большую шипучую змею и посадить в стеклянную банку, а потом глядеть ей в глаза всем классом и заклинать её часа три, то можно змее внушить что захочешь…

— А что? — спросил Маврик.

— Например, змее можно внушить, чтобы она вместе со своими шипучими змеёнышами поселилась у Манефы под кроватью. И она поселится. А Манефа выселится.

Воображение живо рисует Маврику, как змея и её змеёныши шипят ночью под кроватью. И как это страшно. И как вскакивает и бегает по кровати обезумевшая Манефа. Как она потом прыгает на стол, потом вскарабкивается на шкаф и сидит там до утра. Это очень смешно. И Маврик громко хохочет. Хохочет, но не верит в такую возможность. Не верит потому, что это уже не прежний Маврик. В нём поселился критический Ильюша, требующий проверки, доказательств и

не позволяющий одурачить себя.

Мальчики, не замечая, обогащали друг друга. Разные — они становились чем-то похожими. Таков закон взаимовлияния — закон дружбы. Хороший это закон.

IV

Из Перми пришла телеграмма, и Екатерина Матвеевна сказала:

— Завтра, Мавруша, они приедут.

Маврик радовался предстоящей встрече с матерью. Радовался и опасался:

— А где я теперь, тётя Катя, буду жить?..

Этот вопрос давно беспокоил Маврика, и было видно, что мальчик спросил не просто так и не между прочим. Он знал, что для папы и мамы прибран нижний этаж. Стены оклеены «весёленькими обоями из не очень дешёвых», поставлена мебель. Столы, стулья, шкафы, большая кровать. Кровать Маврика оставалась наверху. Екатерина Матвеевна и сама не знала, где будет жить Маврик, и уклончиво ответила:

— И тут и там…

«Лучше бы тут, а не там», — сказал про себя Маврик и не стал больше спрашивать, понимая, что сын должен жить с матерью, но всё же на

всякий случай заметил:

— Лучше бы не стеснять маму… Она же будет болеть после маленького.

Екатерина Матвеевна покраснела, но сделала вид, что не расслышала этих слов. Улица, семьи, в которых бывал Маврик, простота нравов во многое посвятили Маврика. Его уж поздно было переубеждать. Да и незачем. Поняла это и мать Маврика при встрече с ним. Он робко подошёл к ней, не спуская глаз с её большого живота, и тихо, почти шёпотом сказал, целуя её:

— Здравствуй, мамочка… Ты сядь, тебе трудно стоять, — и заплакал.

Слёзы потекли сами собой, а почему они потекли — Маврик не знал. Может быть, ему было обидно видеть такой мать. Может быть, его страшила боль, которую мать должна перенести. Об этом он тоже знал, не стремясь узнавать. Слышал. А может быть, у него, единственного сына своей матери, родилась ревность к неродившемуся. Не зря же, утешенный подарками, привезёнными из Перми, он сказал час спустя:

— Лучше, если ты купишь девочку…

Он, употребляя слово «купишь» вместо слова «родишь», которое было у него на языке, как бы показывал матери, что он умеет «выбирать хоро-

шие слова и не булькнет не подумавши первое, что приходит в голову, как это делает Митяиха». Умению выбирать слова учила его тётя Катя, и старания не пропали даром.

Свидание с матерью было недолгим. Умудрённая житейским опытом бабушка мягко, но приказательно сказала дочери:

— Внуку надо переехать к старшей тётке на Песчаную. И ему там будет лучше, и тебе, Любовь, легче выздороветь.

Смышлёному мальчишке вполне достаточно было этих слов. Оказаться у тёти Лары, проводить время с Ильюшей в штемпельной мастерской, помогать солить капусту, есть хрустящие кочерыжки, спать на новом месте… Да мало ли радостей сулит длительное гощение у тёти Лары!

Через несколько дней Маврик узнал, что у него появилась сестричка, которую назовут Ириной в честь деревенской бабушки из Омутихи Ирины Дмитриевны, которую ещё не знал Маврик.

Всё обошлось хорошо. Мама очень скоро поправилась. Маврику показали сестру. Она, кричащая, какая-то слишком розовая не произвела на Маврика приятного впечатления. Но её нужно было любить, и Маврик пообещал любить её, как толь-

ко она начнёт ходить.

Маврик снова жил с тётей Катей на втором этаже. Тётя Катя рассудила очень разумно:

— Ириночка будет будить ночью Маврика… Да и тебе, Любочка, удобнее без него. Не где-то же он, а в одном доме.

Лучшего Маврик и не хотел, но иначе рассуждал его отчим. Самолюбивый Непрелов, привыкший жить только на заработанное им, знающий цену деньгам, не захотел прожить в наследственном доме Екатерины Матвеевны и одной зимы. Ему предлагалась вместе с должностью конторщика мильвенского пивного склада компании Бодыревых и квартира. Доверенный склада, обожавший честного, исполнительного и энергичного Непрелова, был очень плох. Открывались виды занять его место. Жена доверенного фирмы прямо сказала матери Маврика:

— Мой Иван Иванович едва ли доживёт и до Рождества. Смерть не перехитришь, Любочка. И ему очень хочется, чтобы твой Герасим Петрович зарекомендовал себя и чтобы Иван Иванович при жизни мог передать ему ключи и должность.

Даровая квартира от фирмы Болдырева представляла собой огромную мрачную комнату со сводчатым потолком.

— Это та же пермская Сенная площадь, — ужаса-лась квартирой Екатерина Матвеевна. — Только этот склеп и саженью дров не натопишь. Неужели, Люба, ты и Маврика потянешь за собой в такую трущобу?

Любовь Матвеевна не сказала сестре, что, кроме Маврика, у неё есть грудной ребёнок, которому тоже нужно тепло и свет. Она знала, что к этому ребёнку Екатерина безразлична. У неё только Маврик один свет в глазу.

— Что скажут другие, если я оставлю Маврика у тебя, Катя? Каких собак понавешают на меня мильвенские бабы, да и не одни бабы с Ходовой улицы!

«Что скажут другие» — самые страшные и самые ненавистные слова для Маврика — опять оказываются сильнее всех слов. «Что скажут другие» было сказано, когда его увозили в Пермь. И теперь эти слова уводят его из дедушкиного дома. А кто эти «другие»? Какое им дело до него с тётей Катей и бабушкой?

Плохо начиналась зима. Был только один радостный день — день рождения Маврика, когда ему исполнилось девять лет, да и этот день был последним. И он переехал в большой «склеп». Но и это ещё не так страшно. Тётя Катя сказала:

— Пусть все думают, что ты живёшь там, а жить будешь тут. Ночуешь ночку-другую у матери — и ко мне. А потом видно будет.

И он жил и там и тут. Но неприятности, как оказалось, «что твои грузди, не живут в одиночку». На десятом году жизни Маврик попал в историю, о которой заговорила вся Мильва.

Всё началось с волшебного фонаря…

V

В школе стало известно, что у Толлина есть волшебный фонарь. И этим фонарём он ребятам со своей улицы показывает картины, а его дружок Илька Киршбаум — читает по книжке или рассказывает о том, что показывается. А Санчик Денисов подаёт Маврику стёкла с картинками, и получается «ух как здорово» и «до чего хорошо».

Всех ребят своего класса Маврик не мог позвать домой и показать им туманные картины. А видеть их хотелось всем. Всем трём классам. И ребята упросили Манефу Мокеевну показать картины в школе. Она согласилась. И был назначен «вечер туманных картин».

Маврик и Санчик торжественно принесли волшебный фонарь, натянули экран — простыню с красными каёмками. Появился и Ильюша. Не-

смотря на то, что это был «земский» школьник, которого полагалось отлупцевать, его встретили приветливо и даже почтительно.

— Сказка о сестрице Алёнушке и о братце Иванушке, — объявил чистый голос Ильюши.

На белой простыне появилась первая картина. Алёнушка ведёт своего братца по лугу, на котором цветут цветы, зеленеют травы и голубеет небо.

Ребята замерли. Они, кажется, перестали дышать. Потом вырвался восторженный вздох. Затем кому-то захотелось ощупать простыню, на которой такая красочная, такая яркая картина. Тёплая ли она, эта картинка… Не прожжёт ли простыню яркий свет, бьющий из белой трубки с увеличительными стёклами волшебного фонаря.

Когда простыню пощупал один, потрогал и второй, и третий… И наконец, всё… Потому что мальчики впервые видели экран и волшебный фонарь. И он был для них волшебным без преувеличений. В те годы он и не мог быть другим. Первый кинематограф «Прогресс» ещё только строился в Мильве. А слово «телевизор» пока ещё не произносил никто ни в Мильве, ни в России — нигде на Земном шаре. Не было этого слова.

Когда простыню-экран все пощупали, Ильюша

принялся читать дальше, а Маврик показывать картину за картиной, а Санчик исправно подавать ему один диапозитив за другим. У них было всё срепетировано очень хорошо.

Школьники боялись, что скоро кончится сказка и кончится всё.

Нет, потом была другая, третья… А потом Ильюша громко объявил, став перед простынёй-экраном, освещённым лучом волшебного фонаря:

— А теперь мы вам покажем «Бог правду видит, да не скоро скажет», рассказ графа Льва Николаевича Толстого.

Сказав так, он сел за столик, около экрана, чтобы свет падал на книжку, принялся с выражением читать рассказ, а Маврик показывать картины, подаренные ему Иваном Макаровичем.

Рассказ и картины произвели огромное впечатление даже на Манефу. Пришлось показывать дважды. Второй раз Ильюша не читал рассказ. Его знали. Смотрели только картины.

Чуть ли не весь класс проводил Маврика до дома. Проводили до дома благодарные зрители и «земского» Ильюшку Киршбаума. Гость же! И потом, так хорошо читал.

Ничто не предвещало беды. Наоборот, в зем-

ской школе стали просить Ильюшу, чтобы он привёл своего товарища Толлина и показал им картины. К Маврику приходили ходоки из земской школы. И тётя Катя сказала:

— Конечно, конечно… Чем же хуже ребята из земской школы? Дружнее будете жить.

«Вечер туманных картин» в земской школе прошёл с большим успехом. Туда школьники привели своих младших братишек и сестёр. В земской школе — большой и широкий коридор. Сидели на полу. Учительницам принесли стулья. Здесь Ильюша показал себя ещё лучше. У него была слушательницей его учительница Елена Емельяновна Матушкина.

Все школьники благодарили Маврика, и Санчика, и Ильюшу. Учительница Елена Емельяновна сказала:

— Вон какой ты, Толлин, оказывается, просветитель… Хорошо бы показать эти картины и в девичьей школе…

Маврик был очень рад. Там учатся девочки Краснобаевы. Но всё повернулось неожиданно плохо…

Стало известно, что скончался Лев Николаевич Толстой. И все заговорили об этом. И заговорили по-разному. Одни говорили, что умер великий

человек и великий писатель русской земли, а другие… Другие, например отец Михаил, говорили очень плохо.

Он собрал всех учеников церковноприходской школы в одном самом большом первом классе. Никогда такого не бывало. Никогда не видали таким и отца Михаила. Всклоченная борода, потемневший сизый нос, злые глаза не предвещали ничего хорошего. Он впервые появился в классе без нагрудного креста. В первый класс пришли и стали у стен все три учительницы школы.

Отец Михаил расчесал пятернёй, как он это делал всегда, свою бороду и объявил классу:

— Смертью грешника на захолустной станции кончил свои дни отлучённый от церкви, втоптавший в грязь свою сословную честь граф Толстой. Забвение имени его! Смерть творениям его, писомым по наущению сатаны и приспешников ада.

Не жалея хулящих слов, перемежая свою речь выражениями, вгоняющими в краску учительниц, робеющих у стены, отец Михаил обрисовал жизнь отлучённого от церкви и проклятого самим богом, чёрту подобного графа, не постеснялся заявить, что греховодница Каренина Анна была писана им с одной из блудниц, которых было великое множество в его имении, под городом

Тулой, где на сто вёрст вокруг посохли деревья, померла каждая седьмая тварь и перестали гнездиться птицы.

Источа свою злобу, законоучитель перешёл к теме, имеющей отношение к данной школе:

— Находятся и в нашей приходской школе отроки, которые пребывая в тумане ослепления своего, может быть и не ведая того, туманят себе и другим головы туманными картинами… Толлин! — выкрикнул отец Михаил — Выдь к доске и покайся!

Испуганный Маврик исполнил приказание.

— Ну что же ты молчишь, господин Толлин? Показывал мерзопакостные картины?

— Йя…йя, — начал заикаться Маврик, — я показывал хо-хо-хорошие картины. Про Алёнушку, про…

— А про невинного… который якобы заточён был в темницу по лживому доносу? Мог ли ошибаться суд праведный, суд помазанника божиего царя-батюшки? Ну, что же ты молчишь?

— Не знаю, — ответил Маврик. — Наверно, мог ошибиться. Мой дедушка тоже невинно сидел шесть дней.

Отец Михаил задышал чаще. Жилы на его висках надулись. Он закашлялся:

— Вот как? Невинно? Откуда тебе это знать?

— Бабушка говорит, и тётя Катя, и все. Хоть кого в Мильве спросите.

— Значит, ты не признаёшь вины своей перед богом и перед сверстниками? — спросил, указывая на притихших учеников, отец Михаил. — И не каешься в том, что ты показывал богоотступническое?..

— Отец Михаил, — стал защищаться Маврик, — если бы вы посмотрели и прослушали «Бог правду видит…», вы бы сами сказали, какой это хороший рассказ. Всем, всем ребятам понравились эти картины Они почти что священные…

— На колени! — не крикнул, а заорал отец Михаил.

У Маврика начали было сгибаться колени, но в эту минуту он вспомнил, как тётя Катя внушала ему и другим: «Если ты не уважаешь себя, за что же тебя будут уважать другие?» И его ноги сами собой распрямились.

— За что же, батюшка? — взмолился Маврик. — За что же, отец Михаил?

— На колени! — взревел священник и больно схватил за ухо, чтобы пригнуть к полу неслуха.

Маврик и не собирался укусить руку отца Михаила. Он это сделал помимо своей воли, так же как

Мальчик укусил, хотя и не больно, руку Маврика, когда он потянул свою добрую собачонку за ухо.

Отец Михаил отдёрнул укушенную руку и тотчас же, размахнувшись, ударил Маврика по скуле и сбил его с ног. Упавший затрясся, заскулил по-щенячьи. Он плакал не столько от боли, сколько от обиды, от несправедливости, от беззащитности.

Кто-то всхлипгул в классе. Это был Санчик. Плач повторился в другом конце. С учительницей первого класса стало плохо. Её вывели. Отец Михаил опешил. Он хотел было поднять Толлина. Но водка и самолюбие не позволили этого сделать. И он схватил Толлина за шиворот.

— Еретический выродок! Змеёныш! — крикнул он и пнул под зад Маврика так, что тот своим лбом открыл дверь и оказался за ней.

Более ста мальчиков опустили головы.

Отец Михаил понял, что произошло непоправимое. Он попытался смягчить, объяснить, что его гнев — гнев небес, но, видя, что никто не верит этому и всё против него, он снова перешёл на крик и проклятия, но и страх оказался бессилен. Школьники не подымали глаз на своего законоучителя.

— Встать!

Они встали.

— Поднять морды!

Они подняли головы, но глаза их были опущены.

— Воды! — приказал отец Михаил.

Манефа принесла воду в жестяной кружке.

— Худо мне, дети мои, — схитрил отец Михаил и вышел из класса.

Занятий в этот день в церковноприходской школе не было.

VI

Ошеломлённый Маврик, выплакавшись на груди школьной сторожихи, не вернулся домой на Купеческую улицу. Не пришёл он и к тётке. Начались розыски. Его нашли в доме Кулёминых. Маврик боялся, что за укус руки священника его не простят ни мать, ни тётя Катя, ни бабушка. А всё оказалось совсем не так.

Екатерина Матвеевна, осыпая поцелуями найденного племянника, орошая его слезами, называла кладбищенского попа неслыханными до этого Мавриком словами:

— Я доберусь до этого упыря с Мёртвой горы. Я выведу на чистую воду этого дударинского демона. Будет он у меня старым расстригой Мишкой.

Не примет земля его подлые кости. Станет он ползать после своей окаянной смерти безглазым могильным змеем, изъеденным вечной паршой.

Такой тёти Кати никогда не видел племянник. Не узнавали её и Кулёмины. Всегда строгая, расчётливая в словах, она готова была осуществить свои угрозы: выдрать до волоска сивую гриву кладбищенского попа, вытащить его из алтаря за грязные полы богохульственной рясы и всенародно назвать его тем, кто он есть.

— И его не защитит никакой суд, — говорила она, — ни мирской, ни духовный. Тишка Дударин — живое свидетельство незамолимого греха распутного попа, вогнавшего свою жену в могилу.

Разволновавшись, Екатерина Матвеевна с трудом сдерживала себя. Ей хотелось, чтобы племянника осмотрел доктор Комаров, что было важно во всех отношениях.

— Прошу вас, Артемий Гаврилович, пусть ваш Никиша пригласит доктора Комарова и расскажет ему, что произошло.

Доктор Комаров приехал в тот же вечер. Потрясённый случившимся, он, почитатель Толстого, поставивший силами мильвенского общества любителей драматического искусства пьесу Льва Николаевича «Плоды просвещения» и замыш-

ляющий поставить «Власть тьмы», готов был, ещё едучи к Зашеиным, преувеличить увечье мальчика вплоть до того, чтобы положить его в заводской госпиталь.

Осмотрев Маврика, Комаров нашёл повреждение хрящей правого уха и, ощупывая скулу, хотел найти, но не нашёл, раздробленные кости.

— Я не могу определить всего в домашних условиях, — сказал он. — Я это сделаю завтра в приёмном покое.

Маврику была прописана обезболивающая мазь и покой. Уходя, доктор Комаров сказал, что сегодня же фельдшерица забинтует ему голову, а завтра он пришлёт за пострадавшим свою лошадь. От платы за визит Комаров категорически отказался:

— Что вы, что вы, уважаемая… За этот удар расплатятся другие, и уверяю вас, дорогая моя, это им будет дорого стоить. Очень дорого, — повторил он, уходя.

Маврик, счастливый вниманием к нему, с удовольствием выслушивал соболезнования соседей, родных и школьников, навестивших его в этот вечер. А утром была подана лошадь, и он, забинтованный, ехал медленно с тётей Катей через всю Мильву в приёмный покой заводской

больницы. И все останавливались, разводили руками, а некоторые даже крестились.

Ещё вчера, не зная того, Маврик стал героем Мильвы. Более ста мальчиков рассказали о том, что было в школе, более чем в ста семьях. Этого было вполне достаточно, чтобы двести — триста семей, а затем все семьи знали о необыкновенном событии.

В Мильве не выходила газета, и молва заменяла её. Заменяла, приукрашивая, добавляя, расцвечивая. Кладбищенского попа не любили и без того. И если до этого говорили приглушённо об его пьянстве, разгуле и всего лишь намекали на его связь с просвирней Дударихой, то теперь об этом рассказывали у каждого уличного колодца.

Осложнял дело и дурачок Тишенька Дударин. Этот «божий человек» бегал по улицам Мильвы босым и в морозы. Бегал и бормотал или выкрикивал «пророческие слова». Теперь его «пророчества» откровенно лгали. Он поносил безвинного зашеинского внука, называя его «учеником дьявола», что явно противоречило здравому смыслу даже самых тёмных верующих старух.

«Блаженный» впервые получил оплеуху от неизвестного. А в окно отца Михаила был брошен

горшок с нечистотами. Горшок выбил стёкла двойных рам и разбился, ударившись об изразцовую печь, обрызгав дорогие обои и «озловонив чертог иерея», как писал в жалобе приставу Вишневецкому отец Михаил. Но пристав не только не учинил розыска, но и посоветовал отцу Михаилу «не дразнить гусей» и отсидеться дома. Вишневецкий понимал, как может обернуться «школьное происшествие», и для предосторожности поставил переодетого полицейского к поповскому дому. Сегодня горшок с нечистотами, а завтра «красный петух». Спалят отца Михаила, и концы в воду. Бывало и такое в тихой Мильве.

На всякий случай было заведено дело, названное: «Неблаговидное происшествие в школе кладбищенского прихода Мильвенского завода».

Дело начиналось с показания Манефы Мокеевны, не обелявшей законоучителя, продолжалось донесениями полицейских и агентов по тайному надзору. Сюда же было подшито заявление отца Михаила о горшке с нечистотами.

Маленькое дело, заведённое «на всякий случай» и «для предосторожности», росло с каждым днём. К нему были присоединены письма известных и неизвестных лиц, посланные в газеты и перехваченные почтой. Известные и неизвестные лица

требовали мирского и духовного правосудия над попом, порочащим великую православную церковь. О Толстом не говорилось ни слова, хотя так недвусмысленно во имя защиты его памяти писались эти письма.

Пристав понимал, что всех писем не перехватить почте. Какие-то из них могут быть посланы и не из Мильвы. Особенно опасался он юридически образованного Валерия Тихомирова.

А Тихомиров тем временем встретился с протоиереем Калужниковым и попросил его о невозможном. Об извинении кладбищенского попа перед оскорблёнными школьниками и, конечно, перед Мавриком.

— Подобное извинение не подобает священнослужителю, — заявил протоиерей Тихомирову. — Это унизительно.

Ожидавший примерно такого ответа, Валерий Всеволодович сказал:

— Сожалею и опасаюсь — не пришлось бы вместо отца Михаила отцу протоиерею приносить более широкое раскаяние с соборного амвона. Госпожа Зашеина сильнее, чем вы думаете. — Тихомиров встал: — Имею честь. Я выполнил свой долг. Предупредил.

Встревоженный Калужников остался сам не

свой. Он знал, что в Мильве теперь будет известно всем о посещении Тихомирова и об отказе протоиерея признать виновность кладбищенского попа и заставить его повиниться. Протоиерей не ошибся.

Разговоры разговорами, пересуды пересудами — произошло нечто худшее. Воскресную позднюю обедню в соборе обычно служил сам протоиерей. Торжественность службы, отличный звонкоголосый хор, показ невест, парад холостяков, возможность блеснуть обновкой, обменяться взглядами, наконец, замолить грехи, накопленные за неделю, и просто желание поглазеть собирали немало народу. А на этот раз диакон произнёс вступительные слова литургии в полупустом храме.

Отец протоиерей, облачённый в нарядную ризу, сразу понял, в чём дело. Всё же он надеялся, что к середине службы подойдут обычно запаздывающие господа. Этого не случилось. Наоборот, стали уходить и те, кто пришёл.

Отец протоиерей, бледный, с трясущейся бородой, наскоро дослуживал обедню. Хор необыкновенно громко и как-то жутковато громко звучал в безлюдном храме.

Валерий Всеволодович Тихомиров и сам не

предполагал, как отзовётся его визит к протоиерею. Этого никто не ожидал.

Отчим Маврика хотя и находил поведение отца Михаила непристойным, всё же искал смягчающие вину обстоятельства, считая, что заживут синяки и обиды. Герасим Петрович боялся, что скандал, который может поднять Екатерина Матвеевна, падёт тенью и на него, поскольку Маврик им усыновлён, станет известен хозяину фирмы, и тогда прощай место доверенного пивного склада. Кто знает, как посмотрит господин Болдырев? А Екатерине Матвеевне нет ни до кого дела, когда речь идёт о защите справедливости. И что бы ни грозило ей, она скажет правду во всеуслышанье.

VII

Отец Михаил не выходил из дома три дня. Сказался больным. Екатерина Матвеевна ежедневно появлялась в кладбищенской церкви, чтобы объясниться с попом. Но служил другой священник, из собора. Откладывать встречу не хотелось. Екатерина Матвеевна боялась, что пройдёт неделя-другая и всё забудется, да и она порастеряет припасённые и продуманные слова.

— Пойду к нему домой, — сказала она и пригласила с собой соседку Краснобаеву и мать

Санчика.

Отец Михаил, ничего не зная, сидел дома без подрясника, в полосатых штанах, в сатиновой рубахе, в меховых котах на босу ногу и покуривал трубку, ожидая возвращения просвирни Дударионой, посланной за псаломщиком и церковным старостой, опасавшимися появляться в поповском доме. Теперь, после «горшка», после оплеухи, полученной «блаженным» Тишенькой, можно было ожидать и не такое. И когда отец Михаил услышал на кухне голос просвирни «проходите, проходите», он решил, что это пришли избегавшие его псаломщик и староста, которых следовало проучить за вероломство и трусость.

Несдержанный на слова, начал он ещё у себя в комнате громкое и сложное ругательство, которому позавидовал бы и камский грузчик, закончил брань, появляясь на кухне в чём был. То есть в полосатых штанах, в котах на босу ногу и с трубкой в зубах.

— Аг-га… Пришли, гадины! — крикнул он в ярости пришедшим к нему Екатерине Матвеевне, Краснобаевой и Санчиковой матери.

Женщины попятились. Екатерина Матвеевна закрыла лицо руками. Ни одной из них никогда в жизни не приходилось видеть попа в штанах,

да ещё с трубкой в зубах. Появление священнослужителя перед прихожанами и особенно перед прихожанками в таком виде было делом неслыханным. Это не менее других понял отец Михаил, остолбеневший и потерявший дар речи. Зато Екатерина Матвеевна обрела его.

Отняв руки от своего лица, но не открывая глаз, она исступлённо перекрестилась, затем простёрла руки к небу и проникновенно начала проклятие:

— Именем бога! Именем пресвятой троицы — отца, сына и святого духа — я, непорочная дева Екатерина, расстригаю тебя, распутный поп! Трижды анафема тебе отныне и во веки веков… Анафема!

— Анафема!.. Анафема! — повторили громко Краснобаева и Денисова, наэкзальтированные певучим голосом Екатерины Матвеевны и словами проклятия. Не открывая глаз, Екатерина Матвеевна повернулась к двери. Поспешно ушли вслед за ней Краснобаева и Денисова. Около ворот их ожидали человек до двадцати сочувствующих и любопытных.

— Ну как? Ну что там он?

На Зашеиной не было, что называется, лица. И все заметили это. Бледная, взволнованная, не

видя никого, она прошла мимо толпившихся, не слыша их вопросов. Зато Денисова и Краснобаева рассказали всё. Не забылись полосатые штаны, трубка, брань и, конечно, злополучное обращение: «Ага… Пришли, гадины».

Одни всплёскивали руками. Другие крестились и повторяли: «Анафема ему, расстриге». Для них он уже был расстрижен и лишён сана. Неграмотные и забитые женщины знали силу слов и силу молвы.

Наутро добрая половина Мильвы услышала о новой выходке кладбищенского попа. А ещё через день появилась листовка, отпечатанная на гектографе, с заголовком, каллиграфически выведенным пером «рондо», каким обычно писали ученики технического училища: «Видит ли бог правду?»

Заканчивалась она призывом: «Проснитесь, честные люди! Скажите своё слово! Да здравствует правда! Да здравствует разум!»

Листовка не получила большой огласки. Зато через два дня вышла другая листовка, отпечатанная типографским способом. Она была разбросана до первого свистка в устьях улиц, примыкавших к проходным завода. Листовка начиналась, как церковная проповедь:

«Ей, Господи царю, услышь правду свою!» И далее она спрашивала бога: «Ужли ж Ты, царь царей, владыка владык, не видишь надругания служителей твоих и допускаешь избиение чад Твоих и горение в храмах, воздвигнутых Тебе, иудиных свечей…»

В холодном поту пристав Вишневецкий вчитывался в строки перехваченных листовок. «Кто автор? Где отпечатаны они?» И снова «кто?» и снова «где?» стучит в голове пристава, в головах поднятой на ноги тайной и явной полиции. А белая листовка в затейливой рамочке издевательски молитвенно, строка за строкой спрашивает:

«Ежели всякая власть от Тебя, Господи, то неужели ж и эта власть жиреющих на вере в Тебя, страшащих возмездием Твоим, дана тоже Тобой, Всеблагий молчащий Господь? За что же, Господи? За непосильное труждание от зари до зари, за безропотное примирение со штрафами и поборами? За что, Господи? За темноту душ и умов молящихся тебе? За редьку и квас, вкушаемые не только в посты Твои?..»

Листовка не столько читалась, сколько пересказывалась. И каждый пересказывал её по-своему, соответственно своим взглядам и убеждениям. Листовка пересказывалась и в церквах. Правда,

там замалчивали её последние строки, ради которых писалась и печаталась листовка. А последние строки выглядели ультиматумом:

«Ей, Господи царю, не будь глух к взывающим Тебе, воззри на землю Твою. Смилостивись, не понуждай глас народа громоподобно призвать к низвержению царствующего от имени Твоего, не дай поднять гневную руку на прислужников и палачей его, казнящих и тиранящих, обирающих и гнетущих, унижающих и темнящих во славу Твою».

И наконец последняя строка крупным шрифтом: «Твою ли, Господи? И — славу ли?!»

И управляющий заводом Андрей Константинович Турчаковский не мог сдержать волнения и отмахнуться от воскресшего призрака тысяча девятьсот пятого года.

— Протоиерея… Немедленно протоиерея… Лошадь за ним! — приказал лакею Андрей Константинович и отправился в соседнюю комнату, где на стене висел массивный, сделанный из орехового дерева, с двумя белыми блестящими колокольчиками и с чёрной изящной ручкой телефон фирмы «Эриксон».

VIII

К телефону подошла матушка и ответила Турчаковскому, что отец протоиерей находится у Зашеиных по делу отца Михаила.

— Поймите, дочь моя Екатерина Матвеевна, — разъяснял протоиерей Зашеиной, — духовные лица, как и светские лица, дома пребывают в мирском одеянии.

— Я понимаю это, отец протоиерей, и не виню его за то, что он появился в таком виде и с курительной трубкой во рту. Пусть курит. Это его грех. Но брань, оскверняющая родившую его и… — не договорила Екатерина Матвеевна, переведя глаза на икону богородицы, висевшую среди других в переднем углу большой комнаты дома Зашеиных, где был принят протоиерей, — эта брань незамолима для священника, каким он перестал быть.

— Екатерина Матвеевна, не вас же он бранил, — увещевал проникновенным голосом протоиерей Калужников. — Он бранил избегавших его псаломщика и старосту.

— Я допускаю… Я верю вашим словам, отец протоиерей… Но разве псаломщик и староста не служители церкви? И если бы они были даже

арестантами или каторжниками, то и в этом случае мог ли он тогда, ещё нося сан священника, произнести эти слова? Нет прощения расстриге. Нет… нет… И не уговаривайте меня. Меня нельзя уговорить.

— Мирянка Зашеина! Ты слуга божия, а не служительница его! — заговорил протоиерей приподнято. — Бог не облекал тебя, женщину, властью лишать сана иерея, и притом благочинного, отца Михаила! Это грех, женщина, и за него может быть наложено церковное наказание…

Тут Екатерина Матвеевна повернулась лицом к иконам и снова перекрестилась. — Разрази меня господь, если вру, что ты вложил в уста мои анафему предавшему тебя отцу Мишке с Мёртвой горы. Покарай меня смертью без святого причастия, если я не твоим именем, бог-отец, бог-сын, бог — дух святой, расстригла распутника, торгаша, пьяницу, избивающего младенцев.

Отца протоиерея зазнобило.

— И если кладбищенский расстрига хотя бы одной ногой ступит на церковный амвон или того хуже — посмеет войти в алтарь, бог вложит в мою руку перо и перу даст слова, которые будут прочитаны в Санкт-Петербурге. Будут!

Калужников понимал, что это говорилось

не для красного словца. Он знал, что юридически образованнейший Валерий Всеволодович, волшебник слова, предлагая защиту Маврика, изъявлял желание написать прошение в Петербург. И Екатерина Матвеевна могла прибегнуть к этому. Не зная, как вести себя далее, протоиерей услышал спасительные слова:

— От его превосходительства за отцом протопопом.

Это говорил в кухне за тесовой перегородкой кучер Турчаковского.

— Я здесь, Аким, я сейчас, — отозвался Калужников и хотел было, прощаясь, благословить, как всегда Зашеину и дать ей поцеловать руку, но Екатерина Матвеевна постаралась не заметить этого.

— Бог вас простит, отец протоиерей. Молитесь. И не защищайте впредь низложенных богохульников. Поклон матушке Любови Захарьевне… Маврик, где ты? — направилась в другую комнату Зашеина, не желая проводить до дверей протоиерея.

IX

Управляющий принимал протоиерея в домашнем кабинете, оклеенном золотыми тиснёными

обоями. Терпеливо выслушав рассказ возмущённого Калужникова, Турчаковский спросил:

— И к каким же выводам пришли вы, отче?

— Вывод один — привести к покорности возгордившуюся и непомерно возомнившую о себе Зашеину.

— А каким способом, премудрейший отче? — с игривой иронией спросил Турчаковский.

— У церкви много способов, Андрей Константинович. Проповедь. Принуждение к покаянию. Увещевание и, наконец, угроза отлучения.

— Уг-гуу! — пробасил, откашлявшись, управляющий. — А не угодно ли отцу-отлучителю, милостивейшему увещевателю прочесть сию социал-демоническую энциклику, а потом уже избрать способ принуждения к покаянию.

Турчаковский положил перед протоиереем листовку и принялся расхаживать по ковру кабинета, позванивая маленькими шпорами, привинченными к каблукам его тупоносых башмаков.

— Читайте, читайте! — повторил управляющий. — Вникайте в слог, в искусство словосочетания незаурядного ритора.

Дзинь, дзинь, дзинь — малиново позвякивали серебряные шпоры. Ходит из угла в угол в рас-

стёгнутом мундире, с заложенными за спину руками начавший седеть и грузнеть, но всё ещё энергичный управляющий Мильвенскими заводами. Их теперь шесть. Они процветают под началом заботливого управляющего округом его высокопревосходительства и кавалера орденов Турчанино-Турчаковского, лично принятого и обласканного всемилостивейшим государем императором Николаем Александровичем.

По ковру ходил, позвякивая стальными колёсиками шпор, сановник отечественной промышленности, получивший право непосредственного обращения на высочайшее имя. И в этом заводском округе не было лица выше его.

Руки протоиерея Калужникова, дочитывавшего второй раз листовку, тряслись. Очки то и дело сползали по скользкому, вспотевшему розовому носу.

— Так что же это, почтеннейший Андрей Константинович? — спросил упавшим голосом протоиерей.

— Я вам хочу задать, всепочтеннейший Алексей Владимирович, этот вопрос, а затем спросить вас — кем благословлено это похабное, невежественное возмущение умов, связанное со смертью графа Толстого?

— Указание из епархии, Андрей Константинович… С благословения преосвященного.

— Преосвященный благословил священнослужителей приходить в школы «подтурахом» после водочного излияния? Епархиальный архиерей указал появляться без нагрудного креста и в затрапезном подряснике? — говорил всё громче и громче управляющий. — Епископ повелел бить внуков уважаемых и благочестивых мирян, а затем пинком под зад вышвыривать из класса?.. Доводить до потери чувств учительниц? Сеять смуту в цехах доверенных мне заводов? Это приказал преосвященный?

Калужников опустил голову.

— Отвечайте же, отец протоиерей, — потребовал Андрей Константинович.

— Отец Михаил поставлен мною на поклоны. На сорок сороков покаянных поклонов…

— И только-то? Хорошо наказание осквернившему церковь! Вы бы ещё, Алексей Владимирович, посоветовали церковному старосте после каждых сорока поклонов этого тупого болвана подносить ему кварту церковнославянского вина да подостлать подушечку, чтобы расстрига не разбил свой чугунный лоб от усердного моления.

— Он не расстрига, — мягко заметил Калужни-

ков. — Он двоюродный брат преосвященного.

— Ах вот как? — сказал и зло усмехнулся Турчаковский. — Прошу принять мои сожаления обоим братьям, а равно и вам, отец мильвенских приходов. Не хотите ли хереса? Херес весьма способствует просветлению мышления. Нет? Как угодно.

Турчаковский залпом выпил стакан хереса.

— Теперь поговорим, отец протоиерей, как за карточным столом. Ход мой! — объявил Турчаковский, садясь в кресло перед своим столом напротив Калужникова. — Не задумывались ли вы над тем, что наш обожаемый монарх, имея неограниченную власть над верноподданными, почёл за благо обеспечить неприкосновенность личности графа Толстого? Почему? Не из боязни ли? А? Ни в коей мере. Мудрость руководила императором, благоразумное нежелание будить в народе смятение.

— Но граф отлучён от церкви, — вставил своё замечание протоиерей.

— От церкви, — поправил Турчаковский, — а не от империи.

«Не всё ли равно», — хотел сказать Калужников, но управляющий предупредил его:

— В этом есть свои тонкости. И эти тонкости

нужно понять священникам. Отец Никандр из Никольской церкви и отец Александр Троицкий да и остальные мильвенские попы провели в школах и училищах моего округа мягкое собеседование. Мягкое! А этот расстриженный просвирнин боров… как он повёл себя?

— Да не расстрижен же он, Андрей Константинович! Странно же, право, слышать от вас такие слова, — упорствовал Калужников.

— Расстрижен. Низложен. Растоптан. И не Зашеиной, а тысячами верующих и безверных жителей Мильвы. Послушайте, что говорят в цехах, в благородном собрании, в церквах… Не защищать, а добить безмозглого кабана. На сало… На мыло. На благо веры, царя и отечества. Милейший и преосвященнейший… Не одну сталь приставлен я плавить здесь да клепать мосты и шаланды… Неужели вы, образованный человек, не понимаете, — снова поднялся Турчаковский и принялся расхаживать по кабинету, — что эта до фанатизма религиозная Зашеина может повести за собой христолюбивую толпу, чтобы тем же именем бога — отца, сына и святого духа, разметать логово еретика Мишки с Мёртвой горы. А он — еретик… Этого не опровергнет и святейший Синод… Я не уверен, сколько и каких горшков мо-

жет влететь в окна вашего дома, если вы возьмёте на себя роль адвоката хулителя нравственности и осквернителя веры. Читайте и перечитывайте листовку… Вот эту строку… Вот эти слова: «Не дай, Господи, поднять гневную руку на прислужников и палачей…» Не самообольщайтесь силой своей проповеди и угрозой отлучения… Не забывайте, что треть рабочих Мильвенского завода умеют довольно бегло читать. Не удивляйтесь, Алексей Владимирович, если сегодня с наступлением темноты, объединяемые «Союзом Михаила-архангела» предупредят возможные волнения рабочих и степенно выбьют стёкла в доме кощунственно носящего имя вышеназванного архангела, а затем — при блистательном бездействии полиции — заставят вашего соученика по семинарии признать низложение и поклясться не переступать порога кладбищенского храма. Бить не будут, но рясу прикажут снять и разойдутся с пением «Спаси, господи, люди твоя…»

— Откуда вам известно это, Андрей Константинович? — взмолился Калужников.

— Мне всё известно, — сказал Турчаковский. — Я управляю, а не при сём присутствую. Мудрость управления состоит и в том, чтобы опережать возможные события. Лучше пожертвовать одним

растленным дураком. Выпьете хереса, Алексей Владимирович?

— Пожалуй, — ответил совсем тихо и примирительно Калужников.

X

Пока Турчаковский разливал оставшееся в бутылке, у протоиерея возник новый вопрос:

— А что скажет на это губернатор?

Турчаковский небрежно заметил:

— Мой друг ещё в первых классах корпуса был сметливым малым и подавал хорошие надежды, в которых я пока не разуверился. За ваше благоразумие, отец протоиерей, — сказал он, чокаясь с ним, и перевёл разговор: — Давненько мы с вами не сражались в преферанс. — А потом будто бы так, между прочим, спросил о достраивающейся часовне у плотинной проходной.

— Если бы рабочие завода, — сказал Калужников, — были бы усердны в завершении строения, как они усердны в ночных самоуправствах, то бы Михайловская часовня была освящена в Михайлов день, восьмого ноября…

— Михайловская… в Михайлов день? — переспросил Турчаковский, будто не понимая, что значат эти слова. — А почему она Михайловская

и почему её нужно открыть в Михайлов день? Кто её так назвал?

Протоиерей разъяснил:

— Главного жертвователя купца Чуракова зовут Михаилом, Михаилом Максимовичем.

— И что же из этого?

— Как что, Андрей Константинович? За пожертвованные Михаилом Максимовичем деньги он хочет увековечить своё имя — Михаил.

— Уг-гу… Увековечить… За деньги… Не кажется ли вам, отче, что Михайловская часовня и самое имя Михаил не будут популярны в этом году? Не станет ли Михайловская часовня перекликаться вольно или невольно с кладбищенским Михаилом?..

— Что вы, Андрей Константинович. Он-то при чём тут?

— При чём не при чём, однако же на каждый роток не накинешь… подрясник. Часовня, как и вера, нужна не одному богу, но и заводу. Не поискать ли другое, более известное и уважаемое в Мильве имя? Мало ли их в святцах и на языке у рабочих?

Протоиерей решил, что речь идёт о покойном Зашеине.

— Оно конечно… Богу служи, а о людях думай.

Часовня могла быть названа и Матвеевской… Именем евангелиста Матвея. Памятное и уважаемое в заводе имя…

— Вот видите, — сказал Турчаковский, испытующе глядя своими пронизывающими тёмными глазками в большие, начинающие светлеть от старости глаза Калужникова. — Херес — отличное просветляющее вино. Велю прислать вам полдюжины бутылок. Допивайте, отец протоиерей, не оставляйте в стакане зла. И я допью, чтобы начать новую.

— Куда же, зачем же, Андрей Константинович, — учтиво противясь, сказал Калужников.

— Превосходное имя — Матвей…. Матвеевская часовня. Часовня, связанная с почтеннейшим корпусным мастером, рабочим Зашеиным. Какой козырной удар по листовкам… И какая могла бы получиться глубокая проповедь, в которой проповедник вспомнит человека, носившего имя евангелиста. Однако же, отче, не много ли мужских имён даём мы храмам и часовням?.. На Гольянихе церковь… Никольская… замильвенская — Петра и Павла, на кладбище — Ильинская… Часовню, мне кажется, неплохо бы назвать именем женщины… девственницы…

— Екатерининской? — спросил протоиерей,

поняв, куда клонит речь Турчаковский.

А тот, будто сделав открытие:

— Екатерининской… именем преподобной Екатерины…

— Не преподобной, а великомученицы. Не темните, Андрей Константинович…

— Позвольте, отец протоиерей, это вы, а не я назвал первым это звучнейшее из имён… Екатерининская часовня! Огромная икона великомученицы во весь рост, написанная умным и тонким иконописцем.

— Великомученицу писать в очках или без? И если в очках — то в золотой оправе или в простой металлической?

Глаза Турчаковского сверкнули зло и угрожающе:

— Не кощунствуйте, отче.

— Да до кощунства ли мне!.. Пас. Откроемся. Ход ваш.

— Так-то лучше, — всё так же повелительно продолжал Турчаковский. — Насколько мне позволяют мои знания, святые, как и носящие их имена, не были лишены ушей, лбов, носов, ртов, — отчеканивал управляющий, — равно и всего прочего, присущего людям, например величавого сложения, покатости плеч, цвета волос и

глаз… И почему одной из достойнейших, носящей имя великомученицы, не повторить по божьему промыслу её черты?

— Это требование?

— Где слыхано, чтобы какой-то заводской чиновник диктовал главе многих приходов, как называть часовни, и наставлял в тайнах иконописи?

Турчаковский посмотрел на каминные часы с амурами, потом на карманные золотые, зевнул и сказал:

— Как я задержал вас, отец протоиерей.

А тот, понимая, что его выпроваживают, вынужден был ответить согласием Турчаковскому ранее, чем этого требовали приличие и сан.

— Екатерининская так Екатерининская… А что сказать Чуракову?..

— Сказать, что его преосвященству епархиальному архиерею, а равно его высокопревосходительству управляющему Мильвенским заводским округом лучше знать, как следует называть заводские часовни. А если ему этого покажется недостаточно, то верните ему пожертвованное и попросите от моего имени убираться к… мадам Чураковой из призаводских лавок, которые будут сданы безвозмездно заводской потребительской

кооперации.

— Господи владыко... Я ли это? — спросил себя Калужников и опустил на впалую грудь отяжелевшую голову.

Вторая глава

I

В церковноприходскую школу Маврик не вернулся, хотя и мог бы. Новый молодой законоучитель из Никольской церкви, заменивший кладбищенского попа, не советовал Екатерине Матвеевне переводить мальчика среди года в другую школу, но Зашеина на это сказала:

— Там у вас и стены будут плохим напоминанием для него.

— Ни за что, — подтвердила Любовь Матвеевна. — Мой сын может учиться и дома, как другие дети из порядочных семей.

Маврик, разумеется, не мог учиться дома. Конторщик пивного склада Герасим Петрович Непрелов получал небольшое жалованье. О найме домашней учительницы можно было только говорить «для дурацкого близиру и для фанфаронского гонора», как выражалась Екатерина Матвеевна, считавшая теперь, что её племянник должен учиться и жить среди ребят, какими бы они ни были. Она теперь верила, что к хорошему не прильнёт плохое, а хорошее, например чест-

ность, правдивость и, конечно, религия — всегда восторжествуют над плохим. Этому живой пример её победа над кладбищенским извергом. А победа была. Не случайно же, не просто же так приезжал к ней сам Турчаковский, чтобы выразить своё восхищение. Он также спросил, не нужно ли ей провести за счёт завода электрическое освещение и установить телефон. Екатерина Матвеевна сказала, что по телефону разговаривать ей не с кем, а электричество притягивает молнию, что весьма опасно для деревянного строения, к тому же в керосиновой лампе живой горячий огонь, с чем управляющий безоговорочно согласился и попросил разрешения послать ей хотя бы несколько кубических сажен дров, обить тонким тёсом дом, что необходимо для светлой памяти личного друга управляющего Матвея Романовича. Екатерина Матвеевна обещала подумать относительно обшивки, а дрова согласилась взять, но не бесплатно, а за недорогую плату, чтобы в Мильве не говорили, будто она извлекает выгоду из доброй славы её бескорыстного отца.

В конце концов было решено перевести Маврика в земскую школу на Купеческую улицу. Там его встретили приветливо и шумно. Всем во втором классе хотелось сидеть с Толлиным на одной пар-

те. Юрий Вишневецкий, сын пристава, объявил:

— Он должен сидеть со мной. Мои уланы не дадут его никому в обиду.

Но учительница Елена Емельяновна Матушкина, сестра зубного врача Матушкиной, сказала, что новичка Толлина лучше посадить с его товарищем Ильёй Киршбаумом.

— Как вы думаете, ребята? — спросила она класс. И класс ответил:

— Да! Да!

Обиженные ученики церковноприходской школы, считавшие теперь Толлина «своим в дым и в доску», поклялись избивать «земских» на каждом углу. Юрка Вишневецкий в ответ на это обещал пятёрку своих верных уланов вооружить настоящими пиками с железными наконечниками. Однако же знающая душу детей Елена Емельяновна предложила иное:

— Давайте играть в мир! Это куда интереснее.

И действительно, эта игра неплохо началась и хорошо продолжилась. А началась она так.

К указке был привязан белый носовой платок. Это флаг перемирия. И с этим флагом ученики второго класса подошли к Нагорной церковноприходской школе. Флаг нёс Юрий Вишневецкий. Если сыну пристава хочется быть впереди, то

пусть он будет впереди хороших дел, решила для себя умная учительница.

Парламентёром был назначен Илья Киршбаум. Он, как друг Толлина, был тоже «своим в дым и в доску», и его нельзя было тронуть пальцем. Илья, наученный учительницей, замыкавшей шествие второго класса, начал переговоры.

— Храбрая и славная армия нагорных стрелков! — обратился он. — Мы признаём и уважаем вашу силу!

Это понравилось выбежавшим из двора школьникам, и они торжествовали.

— Заслабило, значит… Пришли! — крикнул Митька Байкалов.

— Нет, — сказал Илья, храбро выставляя ногу вперёд. — Мы не слабые, мы дружные и предлагаем мир.

Елена Емельяновна сидела на другой стороне Нагорной улицы, на скамеечке дома Сперанских, и не вмешивалась, надеясь, что ребята помирятся без её помощи. Но мальчишечья воинственность мешала миру. Задиристый Митька Байклов подзуживал «наддать земским», но, увидев Елену Емельяновну, а затем услышав за своей спиной голос Манефы Мокеевны, примирительно спросил:

— А кто будет платить дань?

Стороны стихли. В самом деле — кто будет платить дань? Какой же мир без дани, следовательно, без победы? А дань платить никому не хотелось. Она оскорбляла честь класса, честь школы. На выручку пришла Матушкина. Перейдя улицу, она сказала:

— Это правильный и очень серьёзный военный вопрос.

И снова всем это очень понравилось. Понравилось и Митьке Байкалову. Значит, он не дурак, не оболтус, не тупица, как называет его Манефа-урядничиха, которая тоже готова была подыграть в мирных переговорах. Она сказала:

— Пусть от каждого класса выйдет по одному богатырю и поборются. Кто кого положит на обе лопатки, тот и победитель. Тому и получать дань.

— Правильно, правильно, Манефа Мокеевна! — заорали ребята из Нагорной школы.

Ученики же земской школы посмотрели на свою учительницу. Что скажет она? А она, к удивлению всех, сказала:

— Очень разумные условия. Лучше обойтись без большого кровопролития, без убитых и без раненых солдат и решить спор богатырской си-

лой. Кто выступит богатырём от храброй армии нагорных стрелков? Кто?

Вытолкнули Байкалова, и он, счастливый, предвкушая неминуемую победу, сбросил ватную куртку, затянул потуже ремень и крикнул:

— Выходи, боец-богатырь! Пятерых уложу!

Желающего в земской школе сразиться с верзилой-второгодником Байкаловым не находилось. И тогда Елена Емельяновна посмотрела на Маврика Толлина. И все заметили этот взгляд. Заметил его и Маврик. А потом она тихо, почти шёпотом, спросила его:

— Уж не боишься ли ты, Барклай?

Это решило всё. Маврик сделал шаг вперёд. Классы обеих школ замерли. Детские сердчишки застучали. «Вы что, Елена Емельяновна?!» — чуть было не крикнула Манефа, но сдержалась, решив вмешаться в последнюю минуту.

Толлин сделал второй шаг, затем третий, четвёртый. И вот маленький розовощёкий Маврик и загорелый рослый Митька сошлись. Кулачки земских школьников сжались. Они ни в коем случае не допустят, чтобы Митька поборол их Толлина, хотя бы осторожно, хотя бы «совсем не больно» подмял его под себя.

— Здравствуй, Митя, — протянул свою руку

Маврик.

— Здравствуй, — ответил Митька Байкалов и обхватил Маврика своими не по годам сильными руками. Он обнял его так крепко и закружил в своих объятиях так быстро, и его лицо было таким добрым и смеющимся, что всем стал ясен исход поединка.

— Ур-ра! — закричали земские школьники.

— У-ра! — повторили церковноприходские и побежали навстречу друг другу «брататься на заединщину».

Манефа Мокеевна тоже пошла навстречу Елене Емельяновне:

— Хорошо-то как… Теперь никто никому не будет платить дань.

Елена Емельяновна сказала:

— Вы нынче к нам на ёлку… А мы к вам на ёлку. И у нас будет не по одной, а по две весёлых ёлки. Хорошо жить в мире. Не правда ли?

И школьники закричали в ответ:

— Правда!.. Правда!..

В разных школах одной и той же Мильвы был разный дух. И этот дух всегда зависел от учителя и всегда будет зависеть от него.

Разошлись с песней: «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поёт…»

У каждого времени свой цвет и свои песни.

II

За стенами школы текла далёкая от неё и неразрывно связанная с нею жизнь, размеренная заводскими свистками, получками два раза в месяц и праздничными гулянками.

События, вызванные смертью Толстого, улеглись. Листовки забывались, домашние хлопоты, заботы о корове, квашне, обеде, тяготы будничной жизни рабочих семей главенствовали над остальным. Ранние глубокие снега, затем и морозы, сковавшие реки, приглушили и без того тихую жизнь Мильвы, отрезанную зимой заснеженными полями, густыми хвойными лесами, тянущимися на многие вёрсты. Только узенькая кривая дорога с еловыми ветками-вехами оставалась единственным путём сообщения, по которой раз в день, а то и через день пробегала кошёвка «дележанца» к дальней железнодорожной станции.

Началась зима. Длинная, белая, с короткими днями, с неизменной стужей — мильвенская зима. Уж коли надел в октябре валенки, можешь не снимать их до конца марта. Оттепель — редкая гостья в Мильве. Да и та чуть растопит верхний

слой снега на солнечной стороне улиц, погостит час-два и снова «клящая стынь-стужа» здесь, в верховьях Камы.

Полиция так и не доискалась, кем была выпущена досадная листовка. Киршбаум остался вне подозрения. В его мастерской было так мало шрифтов, что их не всегда хватало для штемпелей с большим текстом, заказываемых заводом. И ни один из имеющихся у Киршбаума шрифтов при сличении с листовкой не был схож и отдалённо.

Розыски полиции привели в типографию Халдеева, где оказались шрифты, схожие с шрифтом листовки. Но типография работала только днём. В тесноте, где один рабочий мешал другому, невозможно было набрать и тем более отпечатать довольно пространную листовку. Вечером типография закрывалась самим Халдеевым. На ночь в ней оставался только слепой старик Мартыныч, прозванный «Дизелем» за то, что он был главным «двигателем», приводившим в движение большую афишную машину, вращая рукоять её приводного колеса. Не мог же слепец, исполнявший обязанности и сторожа типографии, набрать и напечатать листовку ночью. Такое подозрение подняло бы на смех и усердного пристава в глазах его помощников.

Шрифты не были и украдены из типографии. Этого, правда, не сказал приставу владелец типографии Халдеев, потому что ему выгоднее было придерживаться версии похищения шрифта и выглядеть пострадавшим.

Киршбаум, Кулёмин, Матушкины терялись в догадках. И наконец, все перестали, что называется, ломать голову. Не унимался Валерий Всеволодович Тихомиров, не желавший оставить тайну листовки неразгаданной. И он прибег к таким рассуждениям…

Листовку набирал профессиональный наборщик. Это видно по множеству деталей набора. Отступы, применение дефисов и длинных тире. Автором же листовки был человек, имевший отношение к текстам духовного содержания, которому известны особенности словесного изыска учившихся в духовных учебных заведениях. Однако же автор, владея всем этим, был человеком малообразованным, потому что им допущены погрешности, изобличающие незнание синтаксиса, при всей стилистической изощрённости. Кроме этого, автором был старый, во всяком случае, пожилой человек. Это видно из всего строя листовки, эпической её повествовательности и напевности, не свойственной молодым людям.

Во всех случаях это рабочий или имеющий отношение к заводам, потому что за каждой строкой стоит пережитое, прочувствованное. И далее — автор листовки мог быть и её наборщиком, потому что некоторое выделение фраз могло возникнуть лишь когда наборщик набирает «из головы», сам создаёт текст набора. Об этом говорилось на лекциях по криминалистике. Так распутывая узелок за узелком, сидя над листовкой в комнате мезонина тихомировского дома, Валерий Всеволодович приходит к заключению, что набор был сделан либо в темноте, на ощупь, либо…

Либо слепым. Несколько букв, перевёрнутых вниз головой, несколько букв из других гарнитур того же кегля. Этого никак не мог не заметить и не устранить зрячий, просматривающий первый оттиск. Пусть даже при свете спички, где-то в тёмном уголке, в чулане, всякий зрячий, ведший набор в темноте, обязательно должен был проверить набранное, чтобы не выпускать листовки с изъянами. Значит, её набирал человек, не имевший возможности прочитать оттиск.

Валерий Всеволодович спускается к отцу и спрашивает, не знает ли он, когда ослеп халдеевский Дизель Мартыныч и кем он работал

прежде.

Всеволод Владимирович отрывается от чтения и, вспоминая, говорит:

— Кажется, он работал в синодальной типографии… И ослеп после какого-то отравления… А почему тебя это заинтересовало, Валерий?

Этот ответ обрадовал Валерия Всеволодовича, и он вдруг стал походить на мальчишку, на Маврика, решившего трудную задачу. Он едва не захлёбывался от восторга.

— Папа! Эту листовку составил и набрал слепой Мартыныч. Папа, у революции больше друзей, чем мы думаем. Их много. Их очень много, папа. Революция близка, верь мне, папа!

Всеволод Владимирович молчит, задумавшись в своём кресле. На какую революцию можно надеяться, если вот уже три года не может он уговорить образованных, более или менее просвещённых людей создать в Мильве мужскую политехническую прогимназию…

Не находя отклика у отца, Валерий Всеволодович прибег к перу.

Тихомирову очень хотелось привести в своей статье пример с листовкой. Но это навело бы на след и был бы обнаружен не только Мартыныч, но и автор статьи «Скрытые резервы». Валерий

Всеволодович нашёл похожие, придуманные, но возможные случаи, и статья вскоре была опубликована. Она, как и большинство из публикуемого Тихомировым под различнейшими пседонимами, вызвала живой отклик. Откликнулся на этот раз человек, в котором никак нельзя было заподозрить читателя революционных газет. Это был владелец двух аптек и мыловаренного заведения — провизор Мерцаев.

III

Аверкий Мерцаев в бытность аптекарским учеником мечтал стать факиром. Мечта не сбылась, но с ней он не расстался, а в зрелые годы, отрастив длинную бороду, принимал все меры, чтобы походить на восточного мудреца, каких он встречал на страницах иллюстрированных бульварных романов.

Второе увлечение, точнее говоря, мания Аверкия Трофимовича Мерцаева состояла в том, что бедняга мнил себя прирождённым сыщиком и открывателем чужих тайн, чем он занимался с разным успехом.

Прочитав статью «Скрытые резервы», доморощенный сыщик-любитель почувствовал в статье знакомые тихомировские интонации и

словесные обороты. Где-то здесь нужно сказать, что чтение запрещённой литературы доставляло Мерцаеву особое удовольствие. В нём было что-то таинственно-факирское. Скрытые организации. Спрятанные типографии. Убегающие с каторги. Неуличенные цареотступники. И вдруг он находит, открывает, разоблачает, и все спрашивают:

— Аверкий Трофимович, как же это вы могли? Это же непостижимо…

Это была мечта. Сон. Честолюбивые фантазии. А теперь — явь! Он готов ручаться всем движимым и недвижимым. Он открыл революционера.

Долго горит свет в кабинете Мерцаева. На тридцати страницах перебеливается тайный трактат губернатору о том, как была обнаружена подлинная личность господина Тихомирова В.В.

Мерцаев ничего не имел против Валерия Всеволодовича. И более того, к нему он был расположен и любил беседовать с ним. Но разве Аверкий Трофимович плохо относится к прекрасным животным — лосям? Он восхищается ими, но, идучи на охоту и встречаясь с лосем, убивает его.

Отправив губернатору пакет за пятью печатями, Мерцаев, как истинный охотник, решил «проверить зверя». И он, встретившись с Валерием Всеволодовичем, показал ему статью

«Скрытые резервы» и сказал, испытующе глядя в его глаза своими «факирскими» глазами:

— Такое словесное совершенство и такая риторическая неоспоримость, что я, читая эту статью, почувствовал себя скрытым резервом революционного подполья.

Валерий Всеволодович сумел сдержать себя и заставить свои глаза, что называется, не моргнуть.

— О чём вы, право, опять?.. И как это вы можете в такую погоду читать какие-то скучные листки?

Это было сказано с таким естественным безразличием, что провизор почувствовал себя заблуждающимся дураком, как уже косвенно назвали его в губернии. Но так он чувствовал себя недолго…

Тихомиров же, как никогда, понял, что его участь предрешена.

IV

В церковноприходской школе, как думали, Маврикий учился плохо потому, что там была отвратительная Манефа-урядничиха, но плохо учился он и в земской школе, где преподавала милейшая из милейших — Елена Емельяновна Матушкина, ожидавшая места словесницы в

женской гимназии.

Герасим Петрович Непрелов объяснял неуспеваемость пасынка его избалованностью, изнеженностью, потворством Екатерины Матвеевны и вообще его обречённостью вырасти шалопаем-бездельником и почему-то «петрушкой». Отвратительный почерк Маврика был гарантией, что из него не получится даже делопроизводителя и, конечно уж, счетовода, бухгалтера, которые должны выводить циферки, как печатные.

У Герасима Петровича был отличный почерк, и только по одному его почерку можно было безошибочно предположить, что этот человек отличного делового склада ума, — хотя он и не везде ладит с орфографией, зато его слова не расходятся с делом, а если и расходятся, то в лучшую сторону. Именно так и оценивал глава фирмы «Пиво и воды» Иван Сергеевич Болдырев своего конторщика, успешно заменяющего больного доверенного мильвенского склада.

Екатерина Матвеевна считала, что на плохом учении Маврика сказались пережитые им потрясения.

Терентий Николаевич сказал:

— С годами всё образуется…

Григорий Савельевич Киршбаум находил, что

к Маврику нужен особый подход.

Елена Емельяновна терялась в догадках — как может плохо учиться способный и даже одарённый мальчик?

А учился Маврик плохо потому, что считал ненужным многое из того, что задают в школе.

— Зачем, ну зачем, Иль, — убеждал его Маврик, — учить наизусть рассказ или стихотворение, когда ты его прочитал и понял, когда ты его запомнил и можешь рассказать, о чём оно написано? Лучше в это время прочитать другой рассказ или другое хорошее стихотворение.

— Это само собой, — спорил Иль, — но некоторое нам нужно знать наизусть, навсегда, на всю жизнь, как имя друга, как себя…

— Например? — спросил в упор Маврик.

— Я не на экзамене…

— А зачем учить таблицу умножения? — возмущался Маврик. — Зачем? Если тебе понадобится узнать, сколько восемью восемь, то ведь можно посмотреть в задачнике.

— А если нет под руками задачника? — спросил Ильюша. — Тебе вот как, — показывал он на горло, — нужно знать, сколько восемью восемь, тогда что? Если ты покупаешь для ребят восемь билетов по восемь копеек, как ты будешь знать,

сколько нужно заплатить? Могут же обсчитать.

Маврик на это возражает:

— А если тебе нужно купить двенадцать билетов по двенадцать копеек, как ты будешь знать, сколько заплатить? В таблице же нет двенадцатью двенадцать? А если тебе нужно купить сто тридцать девять билетов по семьдесят три копейки? Ага! Попался. А тысячу сто пятьдесят три билета по сто девяносто три рубля…

Иль молчал. Он не находил возражений. А Маврик не молчал.

— И не обязательно знать, в каких словах пишется буква «ять». Валерий Всеволодович говорит, что это совсем лишняя буква, которая отнимает только время, и её давно пора выбросить вместе с фитой, и с ижицей. И вообще, — добавляет от себя Маврик, — нужно выбросить половину букв. Кому нужны заглавные буквы?.. Если ты напишешь имя Санчик с маленькой буквы, так никто и не прочитает «поросёнок». А можно и простые буквы выбросить и оставить одни заглавные. Пишутся же вывески только большими буквами, и все понимают. И вообще. — Маврик любил это слово. — И вообще, во втором и первом классе можно было выучиться за один год.

На уроках Маврик слушал только интересо-

вавшее его, а когда начиналось повторение пройденного или таблица умножения в разбивку, Маврик уплывал на каком-нибудь волшебном корабле или на спине гуся-лебедя в далёкие страны или думал о том, как хорошо было бы достать маленьких весёлых человечков с карандаш ростом или чуть побольше. Лучше поменьше. Они могут ездить на курице. Это очень смешно.

— Над чем ты смеёшься, Толлин? — слышится добрый голос Елены Емельяновны.

— Ни над чем, — вскакивая, отвечает Маврик и старается больше не думать о постороннем.

Но постороннее само лезет в голову. Сам по себе приходит Екатеринин день — тёти Катины и бабушкины именины. Очень трудно не думать о них, когда соберутся все. Все-все! Три тёти Лариных дочери. Три дяди Лёшины девочки. Придёт Санчик с Ильюшей. Краснобаевых едва ли разрешат приглашать. Все не усядутся за столом. Их можно позвать в другой раз. Запросто. Без рыбных пирогов и желе. Но что подарить тёте Кате и бабушке? Бабушке можно подарить рисунок, а вот тёте Кате?..

— Маврик, — говорит, положа руку на его плечо, севшая рядом с ним на парту Елена Емельяновна. — Урок давно уже кончился. И все

ушли. О чём ты думал сейчас, мой дружочек?

— Я?.. Обо всём. Хорошо бы… Хорошо бы, Елена Емельяновна, если бы не было зимы, — выдумывает он. — Если бы в школе можно было учиться ночью. Во сне. Когда спишь. Спишь и учишься во сне. Семью семь — сорок семь.

— Сорок девять, — поправляет учительница.

— Всё равно, — соглашается Маврик. — И время бы ночью не пропадало на разные сны, и днём бы не нужно его терять…

Елена Емельяновна крепко прижимает к себе Маврика. Если у неё будет сын, то пусть будет такой. Двоечник. Фантазёр. Выдумщик. Но только такой.

— А ведь я вас тоже люблю, Елена Емельяновна, — приникает к ней Маврик. — Не больше, чем тётю Катю, но и не на очень меньше. На дважды два — четыре. А может быть, и на одиножды один… На один! И вообще, — добавляет он, — Валерий Всеволодович Тихомиров для вас хорошая пара. Только его могут посадить в тюрьму… Но что ж делать… Мой дедушка тоже сидел шесть дней.

У Елены Емельяновны холодеют руки, немеет язык. И она спрашивает:

— Ты знаешь, сколько тебе лет, Маврик?

— Мне? Я только на два года моложе Леры Тихомировой.

— А она-то тут при чём?

— Просто так, — неопределённо ответил Маврик и принялся укладывать в ранец свои книги, тетради, карандаши.

Елена Емельяновна долго ещё сидела в классе после того, как ушёл самый плохой и самый любимый ученик Маврикий Толлин.

V

Екатеринин день в Мильве был шумным, пьяным, пляшущим, плачущим провожальным днём горьких разлук любящих сердец и тягостных расставаний друзей. Это был последний день рекрутского набора, день призыва на тяжёлую бесправную службу в армию муштры, жестокого произвола, мордобоя. С утра плачут в Екатеринин день осипшие ещё вчера тальянки, двухрядки, венки и дедовские семиладки с колокольчиками. Ватагами ходят по заводским улицам новобранцы-«некруты» с товарищами, молоденькими жёнами, роднёй, соседями и просто досужими провожателями.

Через двойные рамы окон слышит Маврик истошные песни, женские причитания и пья-

ные выкрики. С Ходовой улицы тоже многим «забрили лоб». Уходит в солдаты младший брат Артемия Гавриловича Кулёмина — Павел. Жалко. Хороший молодой токарь. Приветливый. Молчаливый. Хотел жениться на старшей Санчиковой сестре — Жене. Ждал Екатерининого дня. Надеялся, что не возьмут. Тогда была бы свадьба. И могли бы его не взять. Завод подавал какие-то «тихие» списки на «тороватых» мастеров из молодых. Их не брали. Находили непригодными к военной службе. И Павла, как «быстрого и точного» токаря, тоже хотели оставить, да не оставили. Нашлись почище. С деньгами. Сумели дать. А у кого есть деньги, тот всё купит. И цеховое начальство, и волостную власть.

Жалко. Очень жалко. Прощай, Женечка Денисова. Она обещает ждать. Какое там «ждать»! Пусть уж одна молодость гибнет, а не две.

Сегодня Маврик не пошёл в школу. Предстояло много интересного с утра и до позднего вечера. Тётя Катя за себя и за прихварывающую бабушку отстояла обедню, получила первые поздравления «с днём ангела, с катерининым днём» и вернулась домой принимать «поздравителей» и визитёров.

Перебывало до десятка нищих, и, конечно, Санчикова бабка Митяиха, получившая, кроме

специально для неё испечённого небольшого изюмного пирога, двугривенный. Просто нищим, из непривилегированных, давалось по две новенькие, блестящие, наменянные в казначействе копейки. Копейку за здравие одной Екатерины и копейку — другой. Если же нищий или нищенка, благодаря за подаяние, упоминали имя покойного Матвея — давалась ещё копейка.

Побывала блаженненькая Марфенька-дурочка, пропевшая в юродивом пританцовывании озорной стих:

Катя, Катя, Катерина,
Нарисована картина
Не чернилом, не пером,
Из лоханки помелом.

Так как Марфенька-дурочка не понимала неучтивого смысла стиха и пела его как прославление имениннице, то ей тоже были даны две новенькие копеечки и особо — кусок горячего пирога.

Юродивых, блаженных, обиженных разумом в Мильве числилось до двух, а то и более дюжин. Такое количество «нетунайных людей» было заметным излишеством и для многонаселённого Мильвенского завода. Для него хватило

бы вполне и одной дюжины. Правда, не все из блаженных, юродивых и обиженных разумом заслуживали находиться в этом разряде. Были среди них и бездельники, притворяющиеся душевнобольными хитрецы.

Тишенька Дударин не притворялся дурачком. Он был им. Но всё же дурачком «себе на уме». Выкрикивая «вещие» слова, услышанные от других, а то и подсказанные другими, он привлекал к себе внимание и значился в разряде юродивых уже потому, что его способность бегать босиком по снегу в морозные дни поражала и самого доктора Комарова, не находившего этому объяснения.

В зашеинском доме и вообще в чьих бы то ни было домах Тишенька никогда не бывал и милостыни не собирал. А сегодня он, босой и продрогший, выглядевший более, чем всегда, долговязым, долгоногим, прибежал к Екатерине Матвеевне и принёс на посеребрённой тарелке очень большую, не менее полутора-двух фунтов, румяную просфору. Войдя на кухню, он принялся бормотать:

— Во весь роток свистит свисток… Обедать пора! Обедать пора! А великомученица-то… великомученица-то с небес сошла, в часовенку зашла… Слава тебе восподи-восподь, слава тебе…

Изыди, архангел Михаил, тут мой каменный домок, моя кирпичная келейка… Изыди, изыди! — прокричал он и подал просфору.

Не взять просфору от блаженненького Екатерина Матвеевна не могла, как не могла и принять её, испечённую Дударихой, в доме которой теперь открыто жил бывший кладбищенский поп.

— Спасибо. Поставь на стол, — сказала она Тишеньке и, не зная, чем отблагодарить его, вспомнив о старых подшитых валенках Матвея Романовича, лежавших в кладовке, сказала: — Подожди, я сейчас отблагодарю тебя!

Тишенька увидел через дверь Маврика и снова принялся наговаривать:

— Иван-дурак в гробу сопрел… Непрелый Герасим на пиво сел…

— Хватит, Тишенька, — остановила его Екатерина Матвеевна. — Не от бога эти слова, а от злых языков. Это тебе от Матвея Романовича, — сказала она и подала подшитые валенки.

Тишенька тут же обулся в них и забормотал:

— Ногам тепло… голове холодно, — и убежал.

Через минуту он мчался босым по Большому Кривулю и, размахивая валенками, кричал:

— Турчака-дурчака в валенки обувай… Архангела не обуешь…

Просфору бабушка Екатерина Семёновна отдала старому нищему, прибавив к ней медный пятак, и наказала ему:

— Молись о смягчении кары грешной душе Михаила.

— Буду, матушка, буду, — понимающе ответил старик, опуская в кошель тяжёлую милостыню.

В этот день была получена и другая просфора, посланная протоиереем Калужниковым с соборным диаконом, поздравившим обеих Екатерин и пригласившим их на открытие часовни, имеющее быть после свистка на обед. Им же было вручено «Житие великомученицы Екатерины».

Всё шилось слишком белыми нитками, и это настораживало Екатерину Матвеевну, не искавшую славы, и особенно такой. В этом было что-то нарушающее основы веры и оскорбляющее великомученицу и носящую её имя Екатерину Матвеевну. Но ведь она-то здесь ни при чём, и ей не следует ходить на открытие часовни, чтобы не дать пищу молве.

Это же подтвердил и Терентий Николаевич, появившийся испить свою чару и подарить низенькую скамеечку, на которой хорошо сидеть у топящейся печки.

И забежавший в обед Артемий Гаврилович

Кулёмин тоже одобрил решение Екатерины Матвеевны.

— И хорошо, что не пошли туда, — сказал он, — тем более что икона весьма и очень похожа на вашу фотографическую карточку ранней молодости. Конечно, — постарался смягчить он, — все девичьи лица имеют схожесть, и чего не надо искать, того нечего и выискивать. Но ведь могут найтись люди… И всё же кто бы что бы ни говорил, а я скажу, что и отцу-протоиерею приходится нынче кадить подумавши.

Большего он сказать не мог. Но и этого вполне хватило, чтобы впервые за всю жизнь Екатерина Матвеевна усомнилась в святости икон. Не всех, разумеется, а некоторых…

VI

Не мудрствующие лукаво мильвенские старухи и старики, не умеющие молчать и там, где нужно бы, находили открытие Екатерининской часовни справедливым откупом за надругание треклятого попа Мишки, без обиняков назвали часовню в день её открытия Зашеинской. И ничто — ни время, ни люди не переименуют этой часовни. И даже в те годы, когда Мильва, став городом, получит новое имя и забудется старое

название завода, а часовня станет будкой бюро пропусков, — всё равно старики-вахтёры будут рассказывать необычную историю о Зашеинской часовне.

Но это ещё впереди, а пока в доме Зашеиных Санчикова мать и разбитная старуха Кумыниха управлялись на кухне, дожаривали, допекали последнее и готовили большой стол.

Первым из гостей появился Иля Киршбаум. Санчик не в счёт. Он пришёл прямо из школы. Иля торжественно внёс коробку и ещё более торжественно прочитал стихи собственного сочинения:

Тётя Катя, дорогая,
Папа, мама, Фаня, я…
С этим днём вас поздравляем
И желаем Вам счастья.

Если стихи идут от всего сердца, и неправильное ударение украшает их. Затем Иля поднёс коробку и попросил её тут же раскрыть. В ней оказался набор штемпелей с именем, отчеством и фамилией именинницы. Это были штемпеля для пакетов с обратным адресом, штемпеля разных размеров для писем и неизвестно для чего. Штемпель для поздравлений. Круглая домовая

печать. Штемпельная подушечка и флакон со штемпельной краской.

Штемпеля произвели огромное впечатление на Маврика, и они тут же были обновлены на листках тетрадей, на кромке скатерти, на обоях и на обложке восьмистраничной книжечки «Житие великомученицы Екатерины». Штемпеля будут поставлены в честь тёти Кати на руки всем, кто пожелает из гостей, и обязательно трём тёти Лариным девочкам и трём девочкам дяди Лёши.

Себя три друга уже проштемпелевали круглыми печатями на груди и «экслибрисами» на руках. Получилось очень красиво. Как у моряков.

Собаке Мальчику, обросшему с осени длинной зимней шерстью, не представлялось возможным поставить штемпель, поэтому пришлось ограничиться подмалёвыванием ему носика штемпельной краской. Однако же собака, не понимая оказанной ей чести, облизала свой нос, и от этого её розовый язык, к общему ликованию друзей, стал тёмно-фиолетовым.

Какая прелесть!

Девочки появились засветло, не по трое, а сразу вшестером. В кухне послышался визг, чмокание, поздравления. Затем они, нарядные, разрумяненные, вошли в комнату и выразили единодушное

желание проштемпелеваться.

— Что за вопрос? Какой тут может быть разговор, — заявила старшая дочь тёти Лары гимназистка Алевтина. — Разве мы можем остаться непроштемпелеванными?

Она, как самая взрослая, а следовательно, и самая умная, попросила Маврика поставить ей круглую печать на коленную чашечку, что было и сделано.

— Там-то уж, под чулком, не сотрётся и не смоется, — радовался Иля, поддержанный Санчиком.

Правда, тот и другой не знали, как отнесётся к этим штемпелям своих дочерей тётя Лара и как им придётся смывать эти штемпеля горькими слезами… А пока всё хорошо. Аля затевает очень интересную игру. В этой игре Маврик превращается в «некрута». Его почему-то опоясывают полотенцем. Нахлобучивают треух. Лихо. Набекрень. Аля запевает:

Последний нынешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья.

И все девочки подхватывают:

А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья.

Заплачут братья, мои сёстры,
Заплачет мать и мой отец…

И все начинают плакать и причитать:

— Сыночек ты наш ненаглядный…

— Да куда же тебя угоняют…

— Да как же мы тут без тебя…

Игра разгорается. Громко, с модуляциями рыданий в голосе старшие девочки Клаша и Аля поют:

Ещё заплачет дорогая,

С которой шёл я под венец…

И плачет, входя в роль, младшая девочка дяди Лёши. Плачет настоящими слезами и называет Маврика другим, всем знакомым и близким именем:

— Павлик, мой Павлик, Павлушечка, как же я, как буду жить одна без тебя…

— Успокойся, Женечка Денисова, успокойся, — подыгрывает Аля. — Мало ли женихов в Мильвенском заводе…

— Нет, нет, нет… — кричит Надя, оказавшаяся Женей, Санчиковой сестрой. — Никогда и ни за кого я не пойду замуж. — Она вся в слезах просит: — Обними ты меня, Павлушенька, в этот последний нынешний денёчек.

И Павлик-Маврик обнимает Надю. У него блестят глаза. Он сдерживается, чтобы не заплакать. А Санчик не может сдержаться. Слишком близка игра. Она повторяет то, что происходило дома так недавно. Надя, изображающая Женю, виснет на шее Маврика. Голосит. Визжит.

— Поиграйте во что-нибудь другое, — просит бабушка Екатерина Семёновна.

Как бы не так… Её голоса никто не слышит. Потому что уже «коляска к дому подкатила, колёса о землю стучат», и староста стучит в окошко. «Готовьте сына своего», — говорит строкой песни повелительный голос Али. А хор ей отвечает новыми строками:

Крестьянский сын давно готовый,
Семья вся замертво лежит…

И «замертво» лежат на ковре Таня, Клаша, Маруся и обе Нади. И Санчик, притворяясь рыдающим, рыдает на самом деле, валяясь на ковре.

— Фельдшера! Фельдшера! — кричит Ильюша и, повязавшись салфеткой, становится доктором Комаровым. — Я доктор Комаров! Скажите «а». А-а! — требует он и начинает приводить в чувство «замертво лежащую семью…»

— Теперь «Уж я золото хороню, хороню…», —

предлагает бабушка новую игру, видя, что «Последний нынешний денёчек» завёл слишком далеко детей, живущих единой жизнью со взрослыми даже в своих играх.

Потом «хоронили золото», «сеяли ленок», играли в «Бояре молодые, да мы к вам пришли». Наступил вечер. Стали подходить взрослые гости. Детям остаётся съесть именинные пироги, выпить сладкие чаи с вареньем, печеньем, с конфетами, а затем расходиться по домам.

Взрослые долго ещё будут праздновать Екатеринин день, обмениваться новостями, рассказывать о новой часовне, вспоминать о старых обидах и наконец тоже разойдутся.

А завтра…

«А завтра рано, чуть светочек» новобранцы с тяжёлыми головами побредут жиденькими цепочками по двадцать человек за санями с котомками через родные покосы, деревенские поля узкой дорожкой на далёкую станцию, где им скомандуют:

— В две шеренги становись!

И начнётся действительная служба, которая продолжится войной с Германией, названной впоследствии первой империалистической. Для многих, сложивших свои головы на этой войне,

слова: «Последний нынешний денёчек гуляю с вами я, друзья» — будут не только лишь песенными строками.

Завтра же утром начнётся военная биография одного из полководцев Красной Армии — Павла Гавриловича Кулёмина. Но до этого должно пройти много лет и ещё больше произойти событий.

А пока плачут гармоники на мильвенских улицах, плачет на душных полатях в маленькой избушке бедная Санчикова сестра — Женечка Денисова, разлучённая со своим Павликом.

VII

Подпольную литературу трудно перебрасывать на далёкие расстояния. Это связано с риском и жертвами. Другое дело, если вся «типография» может быть спрятана в голенище сапога, в переплёте книжки, за подкладкой дамской сумочки и где угодно, вплоть до пирога, в который её можно запечь. А для этого нужно в затерявшейся в прикамских лесах Мильве изготовлять каучуковые штемпеля-стереотипы, которые легко пересылать, перевозить, переносить в самые отдалённые уголки страны.

Штемпелей изготовлялось всё больше и больше. Этим занималась Анна Семёновна. Пока дети

были в школе, она набирала одну полоску, не превышающую размер листка школьной тетради. Сделав набор, она приступала к изготовлению прочной коалиновой матрицы. И когда коалиновая матрица-форма затвердевала, можно было изготовлять сами штемпеля. Для этого нужно на подогретую матрицу положить лист сырой резины, затем зажать этот лист нагретой крышкой пресса, вдавливающей резину в форму-матрицу, и ждать, когда сырая резина, «испекшись», станет штемпелем.

По предложению Валерия Всеволодовича, вулканизация была перенесена в надёжнейшее место, на тихомировскую мельницу, куда был нанят сторожем слепой Дизель Мартыныч. Ему было сподручнее жить на заброшенной мельнице, ловить рыбу, что делал он не хуже зрячих, и получать от «енерала» Тихомирова десять рублей в месяц за то, что он живёт на мельнице и кормит старого пса Голиафа, которому тоже нечего было сторожить, кроме висячего замка на дверях старого дома, служившего Тихомировым летом дачей и пустующего зимой.

Наняв Мартыныча и дав ему обжиться, Валерий Всеволодович познакомил его с человеком, имени которого слепой не знал, называя его про-

сто Мастером. Тихомиров сказал Мартынычу:

— Всякий, у кого есть свои тайны, умеет уважать чужие секреты.

— Это верно, — ответил Дизель, не допытываясь, о каких тайнах идёт речь.

Когда же Валерий Всеволодович очень прозрачно намекнул, что тысячи листков, зовущих к правде, значат больше, чем одна, даже такая хорошая прокламация, которую ему довелось читать минувшей осенью и автора которой никогда и никто не найдёт, Мартыныч на это ответил:

— Не худо ты, Всеволодыч, в темноте видишь. До тебя и слепому далеко. — А затем сказал прямо: — Помогу, чем только могу.

И как-то заскрипел снег. К лунке, где ловил рыбу Мартыныч, подошёл человек, пожелал счастливого улова и принялся бить пешней свою лунку, затем как бы между прочим сказал:

— А я ведь тоже мастер из-подо льда окуней таскать…

Дизель понял, кто этот «мастер», и сказал:

— Коли мастер, так поучи.

Артемия Гавриловича Кулёмина знали в Мильве как «ушибленного рыбой», как человека, для которого «и семь вёрст не околица ради десятка ершей, и мороз не препона отъявленному рыба-

ку». Поэтому ловля рыбы на Омутихинском пруду и его появление в избушке Мартыныча ни у кого не могли вызвать подозрения.

Три вулканизационных пресса по частям были перевезены в рыболовном ящике с полозьями, куда обычно мильвенцы складывали припасы и снасти, а затем сидели на этом ящике подле лунки, пробитой во льду.

Слепой ученик оказался на редкость переимчивым и обогнал своего учителя в умении «чувствовать нажим пресса» и в способности определять по запаху начало и конец вулканизации.

Киршбаум не верил удаче. Не верил тому, что есть. Уж очень как-то несерьёзно и у всех на виду. Он искал сложностей, а они были в простоте. В хитрейшей простоте.

VIII

Невесёлой была эта зима в зашеинском доме. К ёлке готовились сдержанно. День ото дня хуже и хуже чувствовала себя бабушка Екатерина Семёновна Зашеина. Маврик подолгу просиживал возле её постели.

На последней неделе перед Рождеством, когда Терентий Николаевич привёз и поставил в снег

за окном большую пушистую пихту и бабушке стало гораздо лучше, она, усадив Маврика рядом с собой на низенькой кровати, доверительно и спокойно сказала:

— Пора уж, Маврушенька, мне к дедушке собираться.

— Почему же пора, бабушка? — спросил Маврик. — Тебе ещё только семьдесят девять лет. И ты обещала пожить с нами ещё четыре года, до дедушкиных до восьмидесяти трёх годов.

— Так-то оно так, голубок, да не получается. К себе дедушка требует. Сегодня опять во сне приходил. Исхудалый такой, в неглаженой рубахе и ласковехонько так сказал: «Стосковался я, Катенька, без тебя, давай начинай подсобирываться».

— А ты что сказала ему, бабушка?

— А что я? За всю жизнь твоему дедушке поперечного слова не говаривала и тут не сказала. «Только, говорю, до весны-то уж не так долго ждать, Матвей. И Терентию, говорю, на Мёртвой горе талую землю легче копать… А меня, говорю, по тёплой поре больше народа проводит…»

— А он что, бабушка?

— А что он? Он как и ты… Что в голову войдёт — вынь да положь. Не отступится. На хорошем

у нас месте старая баня стояла, а ему вступило в голову передвигать её… Я и пять перечесть не успела, а баня пошла-поехала на новое место. А зачем, спрашивается, ей на новом месте быть? Аршином дальше, аршином ближе — не всё ли равно? Характер… Или жду-пожду твоего дедушку чай пить. Самовар на столе, шаньги горячие стынут, а деда нет. Потом является. Весь в глине, в песке. «Где, спрашиваю, ты, Матвей, в каком болоте себя увозил?» А он довольный такой, радостный: «Я, Катенька, до свету встал, новый колодец начал рыть». — «Зачем, говорю, Матвей, нам новый колодец? Этот-то, говорю, чем плох?» А он мне: «Вкуснее воду ищу». И вся недолга. Что вступит в голову твоему дедушке, — повторяет старушка, — колом не выбьешь.

— Это плохо, бабушка, — сокрушается Маврик.

— Хорошо ли, плохо ли, только ты таким же расти. Пять колодцев вырыл твой дедушка, а хорошую, вкусную воду нашёл. И ты ищи её. Не останавливайся, — наставляет Екатерина Семёновна внука и гладит своей сморщенной, исхудалой рукой.

Маврик не может согласиться с требованиями дедушки, ему хочется внушить бабушке, чтоб она отложила свой уход, искренне веря, что это

зависит только от неё. И он убеждает:

— Ну право же, бабушка, ну чего же хорошего сидеть с дедушкой на облачке? Насидишься ещё. Разве хуже тебе пить чай с горячими талабанками, рассказывать сказки, ходить к обедне? Тётя Катя купила двух уток, большого гуся и будет к Рождеству запекать окорок. Знаешь, какие будут вкусные корочки…

— Да как не знать, Маврушенька… Только отъела уж я их. Три зуба осталось. И главное, рубаха там у него неглаженая…

— Ну неужели же, бабушка, надо умирать ради рубахи? — не соглашается внук. — Неужели там ему некому её выгладить? Сколько там хороших знакомых, мильвенских покойников…

— Не в одной рубахе дело, Маврушенька. Рубаха что? Зовёт он. Зовёт меня…

Долго разговаривает Маврик со своей бабушкой, прося её не покидать их, потому что тогда совсем пусто будет в доме.

Говорят они серьёзно, рассудительно, будто речь идёт не о конце жизни, не об уходе навсегда, а о поездке в Пермь или в другой город и будто эту поездку можно было отменить или перенести.

Тем не менее бабушка соглашается подождать до весны. Ей значительно лучше.

Довольный своей победой Маврик возвращается к ёлочным игрушкам, клейке цепей, золочению орехов. Завтра пихта будет внесена и установлена посредине большой комнаты. Через час она отойдёт от мороза, согреется, и её можно будет начать украшать. Три друга ждут этого завтра, которое называется сочельником. Но сочельник наступил не таким, как его представляли Маврик, Санчик, Иля. Дедушка Матвей Романович оказался настойчивее своего внука.

В сочельник вечером бабушку соборовали при стечении всей родни. Горели свечи. Соборовал отец Пётр, самый уважаемый священник в Мильве.

Бабушка сидела на кровати со свечей в руках, в длинном белом, похожем на саван платье. Она уже была готова отойти.

После соборования остались только свои да Марфенька-дурочка. Все тихо расселись в большой комнате, где у стенки стояла новая крашеная крестовина для ёлки.

— Ну вот, — сказала Екатерина Семёновна, — посидим перед дорогой. С сухими глазами простимся. Слушайся папочку, — обратилась она к Маврику, — слушайся, как родного отца. А вы, Герасим Петрович, — перевела она взгляд на

Непрелова, — не отличайте детей. Не дайте моим и дедовским косточкам почернеть против вас.

Герасим Петрович наклонил голову и тихо пообещал:

— Не дам, Екатерина Семёновна. Обещаю при всех.

— Ну и бог благословит тебя за это, Герасим Петрович. А ты, Катенька, — обратилась Екатерина Семёновна к дочери, — за дом не держись. Зачем он тебе одной? Стены — не память. Брёвна, они есть брёвна. Дерево. Но и кому нипопадя тоже не продавай. Чтобы мне ли, Матвею ли Романовичу в день своего ангела не совестно было в этом дому побывать.

— Ну зачем ты об этом, мамочка? — остановила старушку Екатерина Матвеевна.

— Обо всём надо не забыть. Вон уже сколько часов, — кивнула в угол, откуда послышался бой часов. — Долю выделишь Мавруше на учение, как было сказано его дедушкой. И зачем только кудри ему состригли, — сказала она, привлекая к себе стриженую голову внука. — Не ссорьтесь, дочери, без меня. А дорогого поминального обеда не надо затевать. А водочки-то купи. Без неё какие поминки. Да ведь и Рождество… Люба, глянь в окно, зажглась ли первая сочельничья звезда.

— Много звёзд, мамочка, — ответила Любовь Матвеевна. — Яркие звёзды.

— Значит, родился уж, — кротко улыбаясь, сказала старушка. — Дождалась. Открой, Катя, миску со святой водой. И положи меня на кровать. Не ссорьтесь тут без меня! — ещё раз попросила Екатерина Семёновна, обращаясь ко всем, и махнула на прощание слабеющей рукой.

Как никогда, горько Екатерина Матвеевна осознавала своё женское одиночество, и почему-то сейчас она подумала об Иване Макаровиче Бархатове. И ей стало стыдно. Как могла она в такую минуту думать о нём?

Неторопливая смерть кротко смежила покорные старые веки Екатерины Семёновны. Дочери, чтобы не омрачить тихого ухода матери, сдерживали рыдания. Плач начался тотчас, как Марфенька-дурочка сказала, указывая на миску с водой, стоящую на столе:

— Глядите, глядите, кунается в воде её душенька…

Маврик этого не видел и не мог видеть, потому что он был простой, обыкновенный, а не блаженный. Марфенька же видела, как душа Екатерины Семёновны, трижды окунувшись в святой воде миски и этим смыв с себя всё земное, подлетела

к портрету Матвея Романовича и коснулась его лица, после чего Матвей Романович улыбнулся душе. Этого Маврик тоже не мог видеть по той же причине. Но что это было именно так, мальчик не сомневался.

IX

В эту зиму не было ёлки у Маврика. А та, что привёз Терентий Николаевич, пошла на похоронную хвою. Обрубленные сучья были разбросаны вместе с другими, привезёнными из леса от зашеинского дома до кладбищенских ворот.

Траур по бабушке не позволил Маврику побывать и на других ёлках. Ему не запрещали этого, но ему было понятно и так, что в этом году неприлично скакать и петь по крайней мере сорок дней после смерти бабушки, которые он проживёт у тёти Кати.

Тётя Катя очень часто плакала по бабушке, и Маврику приходилось каждый раз утешать её:

— Неужели ты, тётя Катя, не понимаешь, что ей там будет лучше с дедушкой? О чём же ты?

— Лучше-то лучше, — соглашалась тётя Катя, — но дома тоже неплохо было мамочке.

Это настораживало мальчика. В бога, в загробную жизнь он верил твёрдо и непреложно.

Тягостно тянулись сорок дней большого траура, но не успели они кончиться, как пришло извести о смерти бабушки Толлиной. Начался второй траур, хотя и не такой строгий.

Хоронить её никто не поехал. Письмо из богадельни пришло после того, как она была похоронена. Да и кто мог поехать? У мамы на руках маленькая Ириша, у тёти Кати своё горе. Да и зимой из отрезанной Мильвы не так-то просто, а главное — недёшево было поехать в Пермь.

В письме сообщалось, что оставшееся имущество после Пелагеи Ефимовны Толлиной передано монастырю, взявшему на себя расходы по похоронам. А о том, что в бабушкиной подушке были зашиты для Маврика деньги и эти деньги выпорола из подушки старуха Шептаева, кровать у которой была напротив бабушкиной, — об этом никто не знал.

По бабушке Толлиной тоже было заказано сорокадневное моление. Бабушка ведь. Хоть и строгая, но мать Маврикова отца.

Траурная была эта зима. Снег и тот лежал какой-то чёрный. Говорят, что переменился ветер и дул из Замильвья, от этого садилось много сажи из заводских труб.

Была этой зимой ещё одна смерть. Умер Иван

Иванович Дудаков. Маврику тоже пришлось быть на его похоронах, потому что Иван Иванович всегда угощал Маврика конфетами «Снежок». Отчим и мать Маврика также любили Ивана Ивановича и плакали у его гроба. Но в этих слезах, кроме горя, было что-то другое… А что, Маврик не хотел догадываться. Нельзя сказать, что ему было стыдно за мать, но как-то всё-таки было неудобно, когда сразу же после похорон пришла телеграмма от хозяина фирмы «Пиво и воды». Болдырев сожалел о смерти честнейшего человека Ивана Ивановича Дудакова и в этой же телеграмме назначил, согласно воле покойного, на его место господина Непрелова. Жена Ивана Ивановича, как ни просили её Мавриковы папа и мама, не хотела оставаться в старой квартире и сразу же после похорон начала продавать вещи, которые ей были не нужны. За некоторые вещи, например за буфет, за диван и за столы, она назначила дорого, и Любовь Матвеевна попросила убавить цену

— Зато, Любочка, — убеждала её овдовевшая Дудакова, — всё это в рассрочку на год, а то и на два. Торопить не буду.

Маврику эта торговля тоже не понравилась. Ещё вчера она рыдала на кладбище, а сегодня не

забывает спросить два рубля за портрет царя в золотой раме.

— Как он тут хорош! — говорит она, любуясь царём. — И ни за что бы не рассталась с ним. Но куда он, такой большой, в моей маленькой квартирке?

Герасиму Петровичу тоже не нужен портрет, но как он может сказать, что ему не нужен царь.

— Если бы за рубль, — говорит он. — Предстоят такие расходы… У нас ведь нет и посуды.

— Хорошо, — торгуется Дудакова, — пусть будет не по-вашему и не по-моему. Полтора рубля.

Герасим Петрович со вздохом соглашается. Царь остаётся. Он будет висеть тут целых шесть лет. Полтора рубля — это деньги. Правда, рама хорошая, но как можно в эту раму вставить другой портрет или другую картину взамен царя?

Дудакова через день освободила квартиру. Пришли Васильевна-Кумыниха, Санчикова мать и вымыли комнаты горячей водой с карболовой кислотой, чтобы не пахло покойным Иваном Ивановичем и ладаном. Запах карболовой кислоты убивает все запахи.

Длинная и узкая, как пенал, квартира стала квартирой нового доверенного Герасима Петровича Непрелова. Маврик там тоже получил

хороший уголок с письменным столиком и полкой для книг. В квартире тепло и светло, но квартира чужая. Кухня в доме у тёти Кати и та ближе, роднее, дороже.

Герасим Петрович, став доверенным, не мог ходить в форменной судейской тужурке, хотя к ней теперь и были пришиты другие пуговицы, но всё равно. Теперь он не конторщик. Он будет получать семьдесят пять рублей в месяц при готовой квартире, при готовых дровах и освещении за счёт фирмы, да ещё особо по копейке с каждого проданного ведра пива и по три копейки с каждого ведра игристых фруктовых вод. Воды идут плохо. Их пьют только благородные и попы. А остальные предпочитают пиво. Вода — это газ, и ничего больше. А пиво — это и сытость. Оно хлебное.

Герасим Петрович теперь вполне может одеться в кредит у Куропаткина. Будет чем заплатить. И они с мамой идут накупать одежды, а ту, что нет в магазине, например длинный сюртук для визитов и для общественного собрания, можно заказать. Куропаткин шьёт даже рясы, подрясники и форменное платье. У него пять швейных мастерских. Заказывай всё, что хочешь, если ты кредитоспособный заказчик.

У Непреловых началась хорошая, счастливая пора жизни. Можно было бы объявить «среды» или «четверги», когда будут приходить гости, но год траурный. Придётся повременить, хотя тётя Катя и говорит:

— Пожалуйста, Герасим Петрович, пожалуйста. Вы теперь лицо коммерческое, а мамочка вам не родная мать, и вас никто не осудит.

Но Герасим Петрович человек учтивый и осторожный, ему не хотелось быть в чём-нибудь неприятным Екатерине Матвеевне — безупречной во всех отношениях, разумеется, кроме воспитания Маврика, которого она любит непростительно и пагубно — «чересчур».

Третья глава

I

Валерий Всеволодович Тихомиров был выслан из Петербурга в Мильву на срок, определённый ничего не определяющими словами «впредь до выяснения».

«Выяснения» показали, что находящийся под гласным надзором Тихомиров ведёт себя безупречно. Донесения мильвенского пристава Вишневецкого подтверждались надёжнейшими сообщениями двух тайных агентов, о существовании и работе которых в Мильве не знал пристав, так как они были подчинены непосредственно губернскому жандармскому управлению и проверяли деятельность даже самого господина Вишневецкого.

Оба агента добросовестнейше перечисляли всех знакомых Тихомирова, включая Ильюшу и Маврика, бывавших в тихомировском доме и любимых молодой женой Тихомирова — Еленой Емельяновной, урождённой Матушкиной. О мальчиках упоминалось в донесениях не по глупости агентов, а по прямому указанию сле-

дователя из губернии, сказавшего, что «и собака может быть связным коварных подрывников устоев империи». Поэтому, видимо, с тихомировской собаки Пальмы был снят ошейник. И если уж в собачьем ошейнике искалось крамольное, то почему бы не предположить, что смышлёный Ильюша Киршбаум и обиженный кладбищенским попом Маврикий Толлин могли быть использованы как связные, о чём мальчикам не обязательно знать. Отдай дяде имярек конверт с деньгами, да смотри не потеряй, не показывай, ещё вытащат.

Окружённый редкостным вниманием двойного и даже тройного сыска (отец протоиерей тоже косвенно интересовался Валерием Всеволодовичем), Тихомиров аттестовался с самой хорошей стороны. И всё шло к тому, что в скором времени снимут с Вишневецкого «попечение по надзору» и с Валерия Всеволодовича «ограничения в передвижении по империи». Но Вишневецкий получил краткий приказ об усилении надзора за Тихомировым…

II

Нелегальная политическая литература, обнаруженная властями, обычно уничтожалась, кроме

тех немногих экземпляров, которые нужны были как улики для следствия и как материал для выяснения авторов.

Среди таких неопознанных авторов листовок, статей, брошюр был некто, прозванный в политическом сыске «неуязвимый трубадур». Написанное им проверщиками текстов узнавалось довольно быстро. Он будто бравировал своей простотой, выразительностью фраз, выбором точнейших и острейших слов. По мнению большинства, этот «ядовитый златоуст» находился за границей. Другие деятели столичной охранки утверждали, что «неуязвимый трубадур» очень даже уязвим, потому что эта ядовитая змея живёт в Казани или поблизости от неё. К этому прилагались доказательства — листовки, отпечатанные штемпельным способом, явно написанные тем же лицом, кого в сыскном деле считают эмигрантом. За штемпельными мастерскими Казани началась слежка. Если б знал Григорий Киршбаум, сколько хлопот причиняют жандармам его штемпеля!

Обнаруженные в Одесском порту штемпельные листовки, а затем и один из штемпелей, изготовленный на Омутихинской мельнице Мартынычем, дали повод предположить, что поиски

нужно перенести в Турцию. «Трубадура» стали искать в Константинополе. Обещали награды частным сыщикам. Успехов не было. А «ядовитый златоуст» день ото дня становился опаснее. Написанное им пересказывалось, перечитывалось, запоминалось, ходило в списках. Дело росло и запутывалось. Оно, наверное, запуталось бы окончательно, если бы не пришёл предательский пакет. Мильвенский провизор Аверкий Трофимович Мерцаев, оскорблённый тем, что губернатор не соизволил заметить его трактат о Тихомирове и верящий в свой гений сыщика, пожаловался, как принято было выражаться, на высочайшее.

Образованные и высокопоставленные жандармы Санкт-Петербурга не только прочли со вниманием провизорский трактат, но и всё, что можно было добыть из написанного Валерием Всеволодовичем. В частности, был прочитан его студенческий реферат.

Подозрения подтвердились, утверждения не требовали дальнейших доказательств. Литературный почерк, манера письма выдали с головой Валерия Всеволодовича.

Теперь всё ясно. Нетерпеливый следователь торопит арест Тихомирова. С каким блеском будет предъявлено арестованному обвинение.

Затем суд… Каторга… Награждение следователя… Благодарность провинциальному аптекарю…

Всё это так бы и было, если бы подобные дела решал только следователь. Борзые и легавые повыше решили, что торопиться с арестом не следует, так как всякому ясно, что Тихомиров не один. Через кого-то и кому-то им пересылались рукописи листовок и брошюр. А через кого? Кто и где его сообщники? В Казани? В Одессе? В Самаре? В Москве? Это же необходимо узнать. Следовательно, нужно усиленно и умно следить.

Однако слежка не дала никаких результатов. И даже напротив — осложнила дело. В печати более не появлялась ни одна тихомировская статья. Ни одна листовка. Как отрезало.

Неужели его кто-то предупредил? Кто-то выдал тайну? Такое случалось в жандармских кругах. Всё, что сколько-нибудь стоит, может быть продано.

А Тихомирова насторожил тот же Мерцаев.

Мерцаев, получив через губернского чиновника, побывавшего в Мильве, секретную благодарность из Петербурга, поделился этой радостью с женой. Правда, он попросил её поклясться перед иконой до того, как он сообщил ей, что его наконец-то удостоили чести быть тайным сы-

щиком империи. Жена Мерцаева не выдала этой тайны жене доктора Комарова просто так. Она заставила Конкордию Павловну тоже поклясться перед иконой и только после этого сообщила, что Тихомиров кандидат на каторгу.

Конкордия Павловна, принадлежа к независимым, передовым, прогрессивным и ещё каким-то, не стала заставлять Валерия Всеволодовича клясться перед иконой. Она рассказала всё и посоветовала бежать.

Теперь оставалось только осуществить побег.

Выполнение решения было поручено Ивану Макаровичу Бархатову, благополучная сапожная мастерская которого доживала последние дни. Туда повадились подозрительные клиенты. Зоркий Иван Макарович стал жаловаться шпикам на малые доходы и большие расходы. Готовясь к отъезду в Мильву, он говорил, что Пермь — дорогой город и что он отправится искать своё сапожное счастье в тихие места.

Мастерская была закрыта. Явка перенесена. Иван Макарович для отвода глаз ездил в Чусовую, в Пашию, в Кушву, но нигде пока не приглядел для себя места.

Наконец прошёл камский лёд, и можно было отправляться в Мильву.

III

Ещё вчера, перед отъездом в Мильву, казалось, что всё обстоит очень хорошо. Филёры оставили Ивана Макаровича, а сегодня, на пристани, он почувствовал на себе чужие глаза.

Иван Макарович не знал, что жандармам известно о готовящемся побеге Тихомирова. Хотя донесения об этом были расплывчаты и в них не указывалось подробностей и фамилии связного, всё же было сказано, что некто поедет в Мильвенский завод с первым пароходом.

Спрашивается, можно ли было пренебречь сапожником Бархатовым, числившимся в подозрительных, когда он купил билет до Мильвенской пристани?

На пароходе к нему пристал молодчик, сказавшийся приказчиком из Ирбита, которого якобы прогнал хозяин магазина. Поэтому прогнанному ничего не остаётся, как искать нового хозяина, а пока он не найдётся — выпивать и закусывать.

Спешащий признаться в неблаговидных поступках приказчик не мог не вызвать подозрения Ивана Макаровича, и он, желая проверить, что это за «приказчик», не отказался пообедать с ним на пароходе

— А вы куда, ваша честь, изволите ехать? — спросил приказчик.

— Не знаю, — ответил Иван Макарович. — Может быть, сойду в Чермозе, а может быть, поеду в Чердынь. А вы?

Приказчик не ждал такого вопроса. И он сказал:

— Я тоже не знаю.

— Значит, нам по пути? Вы ищете магазин, а я ищу, где можно будет открыть мастерскую по мелкому сапожному ремонту. Говорят, что в Пожве на этот счёт рай.

— Ну, коли рай, — сказал деланно заплетающимся языком приказчик, — поедем вместе. Я приплачу к билету, и вся недолга.

— А докуда у вас взят билет, уважаемый?

Приказчик сделал вид, что не расслышал вопроса. Тогда Иван Макарович повторил его, и приказчик ответил:

— А я спьяна и не посмотрел. Сказал — вверх по Каме — и подал деньги. Где захочу, там и сойду. Понравится место, и сойду.

Подозрения оправдывались. Они оправдывались тем более, что приказчик и ночью появлялся на палубе, не пропуская ни одной пристани. Значит, не пропустит и Мильвы. И Бархатов не

ошибся. Камская пристань Мильвы была утром. Приказчик появился на палубе и сделал вид, что не заметил Бархатова. А Бархатов был уверен, что он тоже сойдёт вместе с ним. А этого не случилось. В его задачу не входило следовать по пятам за Бархатовым. Вместо него на пристани сошёл другой. Вот он-то и пойдёт по следу Бархатова. А «приказчику» всего-навсего нужно было проверить, не проспал ли, не проглядел ли агент, приставленный к Бархатову.

Молодой и подающий надежды следователь жандармского управления Саженцев, хотя неуклюже, но небесполезно притворявшийся приказчиком, теперь был окончательно убеждён, что Бархатов едет для встречи с Тихомировым и везёт ему всё необходимое для побега. И он почти не ошибался, если не считать, что Иван Макарович Бархатов, прошедший хорошую школу подполья, не вёз при себе ничего. Это было бы слишком опрометчиво для него. Теперь, после встречи с «приказчиком», Бархатов ещё раз убедился, как правильно поступили он и его товарищи, отправляя в Мильву двоих. Второй никак не мог быть заподозрен, и его не посмели бы даже обыскать.

Но и следователь не так прост и легкомыслен. Он не оставит на попечение агента преследуемого

Бархатова, он застанет его на месте преступления в доме Тихомировых и тотчас допросит с уликами в руках. Поэтому он сойдёт с парохода двумя-тремя вёрстами выше. За поворотом реки. Капитан парохода не сумеет отказать ему, чиновнику особых поручений при губернаторе (у него есть и такие документы), в просьбе остановить пароход и высадить его на лодке у первой деревни. А там староста деревни предоставит ему лошадь.

Игра стоит свеч. Семь — десять лишних вёрст — не околица.

IV

Несколько часов тому назад, ранним утром, на Камской пристани Мильвы, где живы руины заброшенной доменной печи, сошли человек пятнадцать. Среди них — две барыньки в шляпках с полинявшими коленкоровыми цветами, торговец, рабочий, крестьянин, студент, чиновник, монах с опечатанной красной сургучной печатью кружкой, подвыпивший полицейский, пильщик с продольной пилой, подслеповатенький старичок с перевязанной щекой, кто-то ещё и Бархатов.

Теперь у Бархатова — единственный вопрос: следят ли за ним и кто следит?

Приехавших на пристани окружили мужики в лаптях, мильвенские рабочие, промышляющие между сменами извозом. Все они предлагали свои услуги:

— Домчим-довезём, ястребком порхнём!

— Тише-то едешь, дальше будешь, — убеждал крестьянин с кнутом в синем зипуне. — На простой-то телеге способнее. Полтинник с двоих.

— Ежели позволите? — обратился к Ивану Макаровичу старичок с перевязанной щекой. — В складчинку составить компанию. Одному-то дорого.

Бархатов решил идти пешком. Если кто-то следит за ним, то он тоже будет вынужден идти пешком и этим обнаружит себя. Пешему можно свернуть, остановиться, сделать крюк по лесу, по берегу речки и затеряться.

— Да зачем же в такое утро ехать на лошади? Тут же рукой подать.

— Совершенно справедливо, ваше степенство, — поддержал Бархатова подвыпивший пообносившийся полицейский. — И пообдует на горе. А если не пообдует, можно добавить. При мне сороковочка. Р-раз — и с добрым утром. Пошли, — предложил он. — За мной как за каменной стеной.

— Да уж с вами беспокоиться нечего, — отозвался, улыбаясь, Бархатов. — Не ограбят.

— Пила, окаянная, тяжела, — пожаловался пильщик, — а то бы я тоже пешочком.

— А у меня багаж лёгкий, — опять заговорил старичок с перевязанной щекой. — Пожалуй, и я пешком. А полтинник внучаткам на пряники. Мне ведь ещё за Мильву вёрст двадцать пять.

Теперь Бархатову хотелось знать, кто из них идёт впервые в Мильву, и он спросил:

— А кто будет проводником? Кому известна дорога?

— Я, — откликнулся студент. — Знаю кратчайшее направление.

— Вы здешний? — спросил Бархатов студента.

— Почти, — ответил студент. — Я бывал здесь не один раз на каникулах. И теперь возвращаюсь сюда, как в родные палестины.

— Ясно, — сказал Бархатов. — Тогда ведите короткой тропой.

Багаж давно не бривше гося студента состоял из одного заплечного мешка и связки книг.

— Тронулись, господа! — скомандовал он и принялся объяснять, как гид: — Сейчас нам предстоит одолеть пять или шесть петель чудесной горной дороги, которая вознаградит нас изуми-

тельным ландшафтом. С этого крутого берега мы увидим неоглядные камские просторы… Вон видите, — указал студент на чёрную палочку, торчащую на кромке высокого глинистого берега, — долгоногий монах уже наслаждается зрелищем.

Бархатов шёл последним, оценивая каждого из приставших к нему спутников. Всякий преследуемый в каждом встречном и тем более следующем за ним видит преследователя.

Кто же из них следит за ним?

Может быть, словоохотливый студент с полинявшими от времени петлицами тужурки? Таких подсылают. Но студент приехал ночью на другом пароходе, проспав до рассвета на пристани. Его, пожалуй, нужно исключить

А полицейский? Едва ли. Слишком уж откровенный приём слежки. А впрочем, бывает и так.

Мог им быть и странный пильщик, отправившийся на поиски работы без напарника. Это ненормально. Однако пильщику можно бы и не сокрушаться, найдёт ли он второго, а сказать мимоходом, что второй его ожидает в Мильве.

И тем не менее пильщика тоже нельзя исключить из подозреваемых. Не следует исключать из поля зрения и старичка, похожего на заштатного

архивариуса.

Пока поднимались в гору, все молчали. Поднявшись же, заговорили.

— А я, — объявил пильщик, — сразу же на базар. Сегодня пятница. К обеду на площади будет черным-черно. Понаедут из дальних деревень. А в субботу ещё того гуще. Была бы пила, а к пиле руки найдутся.

— Это уж так точно, — сказал полицейский. — А я к сыну. Не ждёт. А внук ждёт. Семь лет мальчику. И такой, такой, я вам скажу, отчаянный мальчуган-шечка… одним словом, арестант-забастовщик, золотая рота… А из себя ангелок. В дочь.

— Любите внука? — спросил Бархатов.

— А кто их не любит, ваше степенство! Агнцы же они. Агнцы господни, — сказал полицейский и перекрестился на монаха, стоящего поодаль на кромке берега. — Теперь-то уж я по чистой в отставку вышел. Сколько лет отбарабанил, ваше степенство. Нелегка была моя служба в полиции, ох нелегка. Пристав, бывало, чаи-ликёры распивает, а ты мёрзни, дежурь, карауль… А разве их укараулишь всех, когда неизвестно, что в голове у родной дочери. Хоть бы и вас, ваше степенство, взять. Как я могу знать, что там делается, — полицейский ткнул пальцем в свою грудь, — когда я

сам за себя ручаться не могу?

— И давно вы так? — спросил с сочувственной иронией студент, предлагая всем и полицейскому тоненькие, собственной набивки папиросы.

— Недавно, господин студент, — ответил, закуривая, полицейский. — После угона брата.

— А куда его угнали? — снова спросил студент.

— Туда, — ответил полицейский, указывая на солнце, поднявшееся над лесом.

— А кто был ваш брат? — спросил Иван Макарович.

— Хороший человек. В Лысьве литейщиком работал.

— Бывает, — послышался болезненный голос старичка. — Всякое бывает. Нынче никого не милуют.

Наступило неловкое молчание. Бархатову стало жаль полицейского, у которого вдруг навернулась слеза. «Бывает, всякое бывает», — повторилось в голове Ивана Макаровича.

— И вас за это отставили?

— Да нет, — сказал полицейский. — Годы вышли. Кому нужен старый пёс? Поживу сколько-то у дочери, а потом, может быть, и… — Он посмотрел снова на монаха и неопределённо сказал: — Махну куда глаза глядят. Может, в тихую

обитель, грехи замаливать.

— М-да, худо быть в больших годах, — прошамкал старичок и обратился к студенту: — А вы к кому изволите в Мильву?

— К Тихомирову. Слыхали такую фамилию?

— Это к какому же такому Тихомирову? Из купцов? — спросил старичок.

— Совершенно верно, — сказал, расхохотавшись, студент. — У его отца лабаз со щепными товарами, ворванью, смолой и дёгтем, а у сына скупка и продажа носильных вещей. Значит, вы не из Мильвы, если вам неизвестны Тихомировы.

— Я лет двадцать не был там.

— Всё равно. А вы тоже впервые? — спросил студент Бархатова.

— Да-а, — сказал он. — Там у меня ни родных, ни знакомых, если не считать одного девятилетнего школьника. К нему-то я и заеду, а потом уже займусь своими делами.

Далее Бархатов подробно развил старую версию о желании открыть мастерскую мелкого ремонта обуви, объяснил, почему он решил оставить Пермь, и не преминул рассказать о своих дальнейших намерениях, так как он теперь был уверен, что один, а то и двое из слушающих его

хотят знать подробнее:

— Если в Мильве нашего брата достаточно, поеду попытать счастья в Пожву, в Чердынь, а то и дальше…

V

Все слушали Бархатова с одинаковым интересом, и ни один ничем не выдал себя, только старичок спросил:

— А что же вы без инструмента?

— Мой инструмент — молоток да шило. Они при мне. Если угодно, подлатаю на ходу.

Солнце стремительно подымалось. Студент предложил трогаться. Все поднялись.

— Ой! — тихо простонал Иван Макарович. — Опять, кажется, правая нога.

— Что такое? — забеспокоился студент.

— Может, водочкой натереть? — предложил полицейский.

— Да нет. Пройдёт. Часок посидишь, и проходит. Что-то вроде ревматизма. Идите, — попросил Бархатов. — Не сидеть же вам тут со мной. Случается, и два часа мучит, а потом как рукой снимет.

Бархатов придумал эту новую проверку, чтобы выяснить, кто с ним останется. Студент сказал, что по жаре ему будет трудно идти, затем, по-

просив извинения, посоветовал Бархатову не экономить полтинник и воспользоваться попутной лошадью.

— А мне беспременно надо быть на базаре, — сказал пильщик.

— И я по жаре не ходок, — объяснил свой уход полицейский.

— Что и говорить, что и говорить, у каждого своё дело, — сказал сочувственно старичок. — А мне торопиться некуда. Вы меня на пристани не бросили, — обратился он к Бархатову, — и я вас не брошу.

«Неужели он?» — подумал Бархатов.

Нелюдимый молодой монах с жиденькой бородкой тоже поплёлся за ушедшими, постукивая о сухую дорогу посохом.

Иван Макарович, не просидев и получаса, сказал старичку про ногу: — Опять как новенькая. Я готов.

И они пошли. Старичок ничем не проявлял своего интереса к Ивану Макаровичу. Они шли молча и только на мосту, нагнав монаха, любующегося резвящейся рыбой, старичок заметил:

— Опять он тут? И что ему нужно от нас?

— А что ему может быть нужно от нас? — насторожился Иван Макарович. — Мы сами по себе.

Он сам по себе.

— Это безусловно, и тем не менее меня всегда берёт сомнение, ежели не отстаёт незнакомый человек, хоть бы и монах.

Тогда Бархатов попробовал прощупать старичка прямее:

— А меня не берёт сомнение, ежели, — повторил он его слова, — от меня не отстаёт незнакомый человек. Хоть бы вы. Я же не знаю вашего имени, фамилии, ни кто вы.

— А я не таюсь от вас, — ответил, заметно смутившись, старичок. — Могу не толи что себя назвать, и паспорт… Вот он, пожалуйста.

— Да что я, проверщик какой? Я же к слову… Вы о монахе, а я о вас. Привык, знаете ли, хорошо думать о людях…

Перегнувшись через перила, монах бросал рыбам сухарики и тихо напевал:

Афон-гора, гора святая…

За мостом начались заводские покосы, медленный подъём на Мёртвую гору. Бархатов и старик снова пошли молча. Поднявшись на гору и увидев Мильву, старичок спросил:

— А нельзя ли у ваших знакомых часок-другой отсидеться с дороги?

Бархатов решительно отказал:

— Я и сам не знаю, могу ли воспользоваться их гостеприимством. И к тому же я прежде отправлюсь на базар, а потом уже к Зашеиным…

— К кому-с?

— К Зашеиным, — повторил Бархатов. — Ходовая улица, дом девять…

— Адрес мне ни к чему. Я же так просто спросил.

— И я просто, — сказал Бархатов. — Н-ну… простимся тут… Бывайте…

— Куда же вы?

— Хочу зайти с устатку, — Иван Макарович указал на окраинную пивную с вывеской «Пиво и воды товарищества Болдыревых».

— И я, пожалуй…

— Не советую. Берегите деньги внукам на пряники.

— И то, — согласился старичок, но не отставал от Бархатова. Дождался его у пивной.

По улице прошёл монах с кружкой. Он шёл, пыля по дороге.

— Опять роковая встреча, — сказал, выходя из пивной, Бархатов. — И вы и он. Пошли тогда на базар.

И старичок поплёлся за Бархатовым, а монах, гундося себе под нос всё ту же «Афон-гору, го-

ру святую», прошёл мимо, никого не видя, не обращая внимания на дома, на встречных, на широкую Купеческую улицу.

На базаре в торговом ряду Бархатов добросовестно стал заходить в сапожные лавки, приценяться, спрашивать, как идёт сапожный товар, много ли мастерских по чинке обуви, принимая все меры, чтобы измотать старичка, затеряться, а потом решить, как себя вести дальше.

Ему не придётся воспользоваться ни одним из адресов мильвенских подпольщиков. Нельзя рисковать. За ним следят.

VI

— А к нам кто-то приехал, — сообщила Екатерина Матвеевна вернувшемуся из школы Маврику. Он вторую неделю жил у тётки.

— Кто?

— Угадай!

Маврик вбежал в большую комнату и увидел сидящего за столом мужчину в тёмном пиджаке с коротко стриженной русой бородкой и остановился, не узнав своего пермского друга сапожника Ивана Макаровича.

Но когда он улыбнулся, Маврик взвизгнул и бросился к Бархатову.

— Как вы здесь очутились, Иван Макарович?

— Соскучился по тебе. Ты же приглашал…

— Нет, я серьёзно…

— И я серьёзно. Ты вырос, бараша. Ну, рассказывай, как живёшь? — спросил Иван Макарович, усадив Маврика к себе на колени. — Кое-что о тебе я уже слышал и даже читал в «Губернских ведомостях». Молодец. И не могло быть иначе. Я же знал, с кем вожу дружбу.

Пока так говорил Бархатов, лаская мальчика, Екатерина Матвеевна думала о Герасиме Петровиче, и опять невольно сравнивала его с этим чужим человеком, которому доставляет неподдельную радость встреча с её племянником.

А Маврик думал, как было бы хорошо, если бы Иван Макарович поселился в тёти Катином доме. Сначала бы так просто… А потом бы тётя Катя узнала, какой он хороший, как ему скучно жить одному, и, может быть, согласилась стать его женой?.. А уж он-то захочет. Маврику стоит только попросить его, и он захочет.

А почему бы им не стать мужем и женой? Ведь его второй папа, Герасим Петрович, ничуть не лучше Ивана Макаровича и женился на такой красивой его маме. И дом бы тогда не надо продавать. Зачем же продавать дом, когда в нём есть

мужчина? Иван Макарович открыл бы в нижнем этаже хорошую сапожную мастерскую. Вскопал бы заброшенный огород. Купили бы курицу с цыплятами. Цыплятки бы выросли и стали бы большими курицами. Можно бы и лошадь купить. Небольшую такую лошадку. Хотя и не пони, но не такую дурацкую махину, как Воронко у папы. На него и не сядешь. А когда бы Маврик подрос, то сказал бы маме, что он хочет жить с тётей Катей. И мама с папой посопротивлялись бы, посопротивлялись день или два, а потом бы сказали, что, если так лучше для Маврика, они согласны. Тогда бы и у них была своя семья. И у Маврика с тётей Катей и с Иваном Макаровичем была бы своя семья.

Иван Макарович Бархатов думал примерно так же, как и Маврик. Здесь всё наводило его на мысли о тихом счастье. И пустующий дом, и глаза Екатерины Матвеевны, теплящиеся кротким зеленоватым светом, излучающие этот свет помимо её воли, — ведь и цветок расточает аромат, потому что природой дано ему пахнуть и этим заставлять замечать себя.

Это внимание к нему Екатерина Матвеевна объясняет себе как заслуженную плату за добрые чувства к Маврику, а сама разглядывает его тон-

кий прямой нос, сломанные, как у её отца, как у Маврика, брови, умеренно светлую, умеренно тёмную бородку. Он не выше, но и не ниже её ростом. Курит умеренно. Башмаки чистые. Не блестят, как у заводских щёголей, но и без пыли. Речь плавная. Слов много. Начитан. Мог бы, наверно, занимать место ничуть не худшее, чем Герасим Петрович. И так рано потерял жену! Хочется помочь ему. И если он устроится в Мильве, то она непременно познакомит его с молодой вдовой Фанечкой Красильниковой. И как знать, может быть, она понравится ему. А уж он-то ей — без всякого сомнения. И она с удовольствием станет его женой.

Иван Макарович не спускает со своих коленей Маврика, и он не чувствует себя маленьким, которого гладят как ребёнка, а, наоборот, считает, что на коленях сидеть удобнее, чем рядом, хочет ласки сильных мужских рук, и ему даже приятно молчать. Не всё же скажешь. И не всё нужно говорить.

Белая скатерть. Румяные пирожки. Чай со сливками. Безукоризненная чистота. Чистота во всём. Чистота стен, протёртых стёкол окон, блестящего пола. Чистота её голоса, глаз, слов и мыслей. Главное, мыслей. Разве и не в этом счастье человека?

Она же ничего-ничегошеньки не знает. Иван Макарович мог бы явиться в Мильвенский завод и назваться слесарем-лекальщиком, механиком по дизелям, а затем показать, что может он делать. И она гордилась бы им. Но зачем думать об этом Ивану Макаровичу, когда в любой день его могут арестовать, а затем отправить по той же дорожке в каторжные края, в кандальные места, где он уже был дважды.

Ещё два дня тому назад, перед отъездом в Мильву, всё казалось благополучно, а вчера, в Перми, на пристани, Иван Макарович почувствовал за своей спиной чужие глаза.

VII

Молодой и подающий надежды следователь жандармского управления Саженцев, опередив Бархатова и появившись у пристава Вишневецкого, сказал, что теперь он сам будет вести наблюдение за тихомировским домом, а для этой цели просил немедленно поселить его в доме купца Куропаткина, в одной из комнат второго этажа, из окон которой виден тихомировский дом.

Купец Куропаткин не стал спрашивать, «зачем и для чего» в его дом пришёл неизвестный,

ответил Вишневецкому любезным согласием и предоставил свой кабинет с телефоном. В соседних дворах тоже были «глаза», которые могли заметить всякого, перелезшего через тихомировский забор.

Напряжение сыщиков достигало высшего накала. Кто-то да придёт к Тихомирову сегодня или завтра. И если связным не окажется подозреваемый Бархатов, то попадётся другой, может быть, ещё и не приехавший сегодня в Мильву. Ничего, приедет завтра, никуда не денется.

Ждать долго не пришлось. У тихомировского крыльца появился небритый студент с книгами. Он вошёл в дом и не вышел из него. У ищеек стучали от радости зубы. Но пристав разочаровал. Студент приехал не к сыну, а к отцу Тихомирову, который пригласил его преподавать историю в предполагаемой прогимназии. Об этом хорошо знал Вишневецкий по переписке генерала Тихомирова и Павлика Кривоногова (так называли студента в тихомировской семье).

Напрасно было бы подозревать и старую Милентьиху, которая ежедневно приносила Тихомировым молоко. Вне подозрения был и почтальон. И уж тем более нельзя было заподозрить пыльного монаха в старой скуфье, заходившего

в магазины и в дома, что побогаче, за медяками на построение храма. Он зашёл и не мог не зайти в заметный старинный с мезонином дом Тихомировых. И, зайдя, пробыл там не долее, чем в других домах, и вышел, неодобрительно махнув рукой, — видимо, пожертвование не оказалось щедрым или вовсе его не было. Монах поплёлся, пыля, в магазин колониальных товаров.

Терентия Николаевича Лосева, ходившего к Тихомировым колоть дрова, подметать двор, как он это делал во многих домах, тоже никак нельзя было принять за связного. Тем более этого сделать было нельзя, потому что Терентий Лосев, не заходя в дом, разговаривал с Валерием Всеволодовичем через открытое окно. И тот попросил Лосева передать Маврику, что завтра состоится обещанная рыбная ловля спиннингом.

Беспечное лицо Тихомирова, появившегося на улице, поражало следователя. Он не мог быть таким, ожидая связного. А вдруг Тихомиров не знает ничего о связном и узнает только после встречи с ним, когда тот привезёт ему документы?

Валерий Всеволодович вышел из дома, насвистывая, и направился в галантерейный магазин, где продавались и рыболовные принадлежности. Один из тайных агентов последовал за ним.

В магазине были куплены два десятка различных блесен и два небольших спиннинговых удилища.

— Начался жор, — сообщил он приказчику. — И завтра от меня и от моих маленьких друзей не уйдут изголодавшиеся за зиму щуки.

Теперь оставалось выяснить, куда пойдёт он завтра ловить щук. Может быть, эта ловля всего лишь повод для встречи с тем, кто приехал? Это не исключено.

И пока пристав обсуждал, как будет осуществлено наблюдение, в дом Зашеиных пришёл Шитиков — местный агент страхового общества «Саламандра».

Он принялся убеждать Екатерину Матвеевну, что ей гораздо выгоднее перестраховать свой дом от огня в обществе «Саламандра», более надёжном, нежели «Россия».

Екатерина Матвеевна, желая как можно скорее выпроводить прилипчивого Шитикова, сказала:

— Ну что это вы, право, в базарный день, и к тому же у Маврика гость из Перми.

А Шитиков и не думал уходить, потому что гость-то и нужен был ему.

— Может быть, вы, почтеннейший гость, убедите Екатерину Матвеевну и подтвердите, как

много в вашем губернском городе на уважаемых домах прибито вот этих самых бланочков, — сказал он, предъявляя жестяную красочную вывесочку страхового общества «Саламандра», а затем, как бы кстати, спросил: — Надолго ли, прошу прощения, прибыли в наши края?

— Я ведь проездом. Уезжаю сегодня с ночным в Чердынь, — ответил Иван Макарович, глядя в шустренькие заискивающие глазки.

— Чердынь? Да что же там делать? Зачем же в Чердынь?

Бархатов ответил:

— Если вы принимаете во мне такое участие, то извольте. В Чердыни есть работа по сапожной части. Я ведь сапожник.

— Сапожник? А не похоже, совсем не похоже. Вы больше на образованного смахиваете.

— Да ведь мало ли кто на кого смахивает, да не бывает им. Имею честь. Мне ещё надо позаботиться о лошади на пристань. Часиков в шесть я выеду, чтобы не запоздать.

— Счастливого вам. Желаю здравствовать, Екатерина Матвеевна. Надеюсь в дальнейшем уговорить… До свиданьица.

Агент «Саламандры» узнал всё, что ему нужно было узнать, и с Бархатова было снято подозре-

ние. Если он, не побывав ни в одном из «учётных» домов, едет в Чердынь, значит, он действительно ищет работу, и за ним напрасно следили.

Вскоре в доме Зашеиных появился Терентий Николаевич Лосев и передал Маврику приглашение Валерия Всеволодовича на рыбную ловлю.

— Ну вот, бараша, — обрадовался не менее Маврика Бархатов, — теперь дело в шляпе. Готовь большой кошель для улова.

После Лосева пришёл Артемий Гаврилович Кулёмин и попросил у Екатерины Матвеевны дать ему заместо якорька железную «кошку», на которую «ах как хорошо ставить лодку посреди пруда».

Артемий Гаврилович очень сожалел, что ему не придётся порыбачить на Омутихинском прудке, куда завтра отправляется Тихомиров с мальчиками. Кулёмин превосходно вёл свою роль. Он, будто только сейчас заметив своего друга Бархатова, смутившись, сказал:

— Не серчайте, пожалуйста, на серость, не разглядел. Вы, главное, против солнышка. Будем знакомы. Кулёмин. Артемий. Ихний, то есть Екатерины Матвеевны, сосед.

Любуясь товарищем, Иван Макарович назвался по фамилии и спросил о рыбалке, и Кулёмин

принялся отвечать:

— На Омутихинском прудке прехорошая рыба берёт. И главное, недалеко. Выйдешь на Старо-Мощёную улицу и всё большаком, большаком до шестой версты. А от столба шестой версты такая красотеющая дорожка через ивнячок да тальничок, что и не заметишь, как дойдёшь до лесной вышки. Под вышкой, как полагается, перекур, а от неё старая мельница как на ладошке виднеется. Не поверите — вот такие лещи случаются… Жаль, что молодой Тихомиров едет туда, — сказал, вздохнув, Кулёмин. — Я с утра знал, что хорошего ждать нечего. Монаха встретил. В аккурат он из тихомировского дома вышел… Верная неудача. Хоть бы поп, а то монах, да ещё с кружкой…

Так Иван Макарович узнал всё, что ему было необходимо.

VIII

Около шести часов вечера Яков Евсеевич Кумынин подал свою Буланиху, запряжённую в ходок с коробком.

Иван Макарович Бархатов трогательно прощался с Мавриком:

— Бараша-кудряша, теперь мы, наверно, увидимся не скоро, но ты знай, что мы с тобой

обязательно увидимся.

— Иначе не может быть. И лучше бы, если скорей, — призналась Екатерина Матвеевна. — Он так любит вас.

— Да ведь не любовь управляет людьми. Человек предполагает, а обстоятельства располагают… Мы обязательно увидимся, Екатерина Матвеевна.

Бархатов говорил так, будто он уезжал не в Чердынь, а куда-то очень далеко и надолго. Екатерина Матвеевна, не сдержав слёз, объяснила это тем, что её всегда трогает любовь к Маврику.

Буланиха ленивой рысцой протащила ходок по Купеческой улице, и следователь видел из окна куропаткинского дома уезжающего на пристань Бархатова.

— Значит, не он? Так кто же?

Нелегко, ой как нелегко сидеть в комнате с закрытыми шторами, когда на улице такой розовый вечер, а в Перми? В Перми уже открылся загородный сад, и там столько шляпок… Пропади ты пропадом, Мильва! Ну где же ты, проклятый связной? Появляйся же ты скорее, безмозглый осёл…

Иван Макарович, расставшись с Кумыниным, отправился на пристань. Осмотревшись там, он

решил побродить по берегу. А потом, убедившись, что за ним никто не смотрит, зашёл в лесок, а затем исчез.

Всю ночь не смыкал глаз следователь. Ночь — наиболее вероятное время для встречи подпольщиков. Но ни одна душа не постучалась в тихомировский дом и не задержалась возле него. И только утром появились два мальчика.

— Мы пришли, Валерий Всеволодович! Вставайте! — крикнул в окно Маврик.

— А я тоже в сапогах! Мне тоже купили сапоги, — сообщил Ильюша.

— Тише вы… Разбудите бабушку, — предупредил через окно старший племянник Валерия Всеволодовича. — Мы сейчас.

Ждать пришлось недолго. Сначала появился с удилищем в чехле Викторин, а за ним его дядя.

— Это тебе, Маврикий, а это тебе, Илья, — Валерий Всеволодович подал мальчикам удилища в таких же клетчатых чехлах, как и у Викторина. — Рассматривать будете потом. Хорошо ли вы одеты? — Он осмотрел их и сказал: — Преотлично. Теперь за мной.

И они пошли. Следователю казалась в данном случае слежка излишней. Не пойдёт же он вместе с мальчиками на встречу с кем-то и тем более

не побежит за границу в этом лёгоньком брезентовом плаще, в старой фуражке и в охотничьих сапогах. Но всё же приставу нужно было позвонить. И он позвонил.

— Не извольте беспокоиться, — ответил Вишневецкий. — Они отправились на мельницу. Мне сообщили. Куда же им ещё… Их будут сопровождать двое вооружённых рыбаков. Можете ложиться спать.

— Да что вы?.. Как можно? — сказал Саженцев и повесил телефонную трубку.

Связной мог прийти и в отсутствие Тихомирова. Главное — терпение и спокойствие. Может быть, Тихомиров нарочно придумал рыбалку, чтобы отвлечь внимание от своего дома? Не выйдет, милостивый государь, не выйдет!

Миновав концы Мильвы и выйдя на мощённый булыжником большак, Валерий Всеволодович заметил, что за ними идут двое с удилищами. Он скомандовал:

— Спиннингисты, привал!

Мальчики, усевшись на плащ, перебивая один другого, говорили о щуках. Маврик не верил, что на крючок с блесной можно поймать щуку без всякой приманки. А Викторин уже ловил щук на блесну и обстоятельно рассказывал, как хищная

щука принимает блестящую блесну за рыбку и хватает её.

Валерия Всеволодовича занимали другие щуки. Они остановились и тоже решили сделать привал.

Тихомиров и мальчики двинулись дальше. Поднялись и двое идущих позади.

— А не лучше ли нам, — предложил Валерий Всеволодович, — спрямить путь и пойти через этот луг?

Все согласились. Лугом куда интереснее идти, чем по булыге.

Идущие позади тоже свернули на луг. Это уже было слишком. Валерий Всеволодович предложил новый привал, хотя в этом не было никакой надобности. И ребята снова сели на разостланный плащ. Когда же остановились и те, двое, Тихомиров направился к ним.

— Сударь, — обратился он, — нельзя ли хотя бы немного отстать? Это роняет меня в глазах племянника. Он уже всё понимает. Ведь я же не арестант.

Один из рыбаков, оказавшийся наиболее наглым, ответил на это:

— Вы сами по себе, мы сами по себе. Для нас нет запрета ходить, где мы желаем.

— Хорошо. Вам никто не может запретить этого. Как никто не может запретить и мне письменно заявить губернатору, что вы слишком грубые… «р-рыбаки». Возвращайтесь!

Гонор сразу покинул обоих. Они остались сидеть. Тихомиров с мальчиками вернулся на большак. Их более не преследовали. Но не прошло и получаса, как послышался конский топот. Кто бы это мог?

Это был пристав Вишневецкий.

— Ба-а! Валерий Всеволодович! В какой компании! Куда же?

— В Женеву. В Швейцарию, милейший Ростислав Робертович, — негодуя, ответил Тихомиров.

Вишневецкий расхохотался так раскатисто, что его серый рысак, пугливо оглянувшись, зашевелил ушами.

— В таком случае садитесь… Вам предстоит длинный путь. — И снова, раскатисто смеясь, принялся рассыпаться в комплиментах: — В Мильве нет более остроумного человека, нежели вы… Садитесь же…

— Да нам же осталось двести — триста шагов…

— Всё равно. Мне будет приятно доставить на мельницу такую милую компанию.

— Ну что же… Садитесь, ребята…

Мальчики влезли в пролётку. Кто сидя, кто стоя добрались до мельницы.

IX

Омутихинский пруд был молчалив и угрюм, как и лицо старика Мартыныча-Дизеля. Он сказал своё, ни к кому не относящееся «добро пожаловать» и сообщил:

— Щук ныне порядочно перезимовало. И все они ушли в вершину пруда.

Приехавшие открыли дом. В него ещё не входили после минувшей осени. Пахло мышами и мочальными матрацами.

— Благодарю вас за любезную доставку, — сказал Тихомиров, протягивая руку Вишневецкому.

А он:

— Напрасно вы хотите выпроводить меня так скоро и лишить зрелища ловли щук.

— Как вам будет угодно, Ростислав Робертович… Побудьте здесь, в этой компании, а я пройдусь по камышам и посмотрю, где посуше, чтобы не утопить моих молодых людей. — Он посмотрел на мальчиков и сказал, уходя, племяннику: — Викторин, не позабудь отдать Голиафу кости.

— Я с вами, я с вами… — забеспокоился Вишневецкий. — Что же я буду тут делать, в этом

слишком серьёзном обществе? Я не отстану от вас.

На это Валерий Всеволодович едва заметно улыбнулся и сказал:

— Вы тоже очень настойчивый рыбак… Извольте, пойдём вместе, если вы не боитесь увязнуть. Не сердитесь. Я предупреждал вас.

И они пошли вдоль камыша к вершине пруда. Мельница осталась далеко позади.

Болотная птица чувствовала здесь себя в безопасности. Мильва рядом, всего вёрст пять-шесть по прямой, а тут таёжная глушь.

— Вон видите, — указал на селезня Тихомиров, — попробуйте его из пистолета.

— Да я же выехал налегке. Промять Серого. При мне ничего, кроме перочинного ножа.

— Как же это вы? А из чего же вы будете стрелять мне в спину, когда я побегу в Женеву?

— Да что это, право, далась вам сегодня эта Женева! Сказали бы хоть уж в Париж.

— Там меня никто не ждёт!

— А в Женеве?

— Ждут.

Шутка чем-то походила на правду, но и не походила на неё чрезмерной прямотой.

Когда Тихомиров и Вишневецкий дошли до

тихой заводи, то увидели в камышах на берегу двух удильщиков. Они, не обращая внимания на подошедших, следили за поплавками.

— Как ловится, господа? Доброе утро.

— Хуже нельзя, — ответил один из них, в котором Тихомиров не сразу узнал монаха, приходившего к нему. — Можно сматывать удочки! Зачем же время терять!

Другой рыбак, которым был Иван Макарович Бархатов, спросил:

— А вы с господином полицмейстером тоже, никак, рыбного счастья решили попытать?

— Да нет, — ответил Тихомиров, — господин пристав не рыбак. Он просто любит наблюдать за рыбаками. Не правда ли, Ростислав Робертович?

— О чём вы, милейший Валерий Всеволодович?

— Всё о том же… Впрочем, хватит об этом. Кажется, уже подали лошадей…

— Д-да! Они ждут давно.

Вишневецкий побледнел:

— То есть как? Каких лошадей? Зачем?

— Я же вам сказал о своём отъезде в Женеву…

К Тихомирову в это время подошли Иван Макарович и его товарищ. Иван Макарович сказал:

— Господин полицмейстер, я надеюсь, что вы

будете благоразумным и кинете в воду пистолет, рукоятка которого торчит у вас из правого кармана. Вы один, а нас не трое…

— Мне очень прискорбно, — сказал Тихомиров, — но я же предупреждал. Бросайте ваш пистолет в воду.

Вишневецкий выполнил требование, но пистолет был брошен слишком близко у берега. Иван Макарович достал его из воды и бросил вглубь.

— Теперь второй, — попросил Тихомиров, — тот маленький браунинг, который вы всегда носите при себе.

— Извольте, Валерий Всеволодович. Извольте! — сказал Вишневецкий, на лице которого проступили белые пятна.

Второй пистолет, булькнув, исчез под водой.

— Ещё два слова, — предупредил Барахов. — Папаша Валерия Всеволодовича не знает обо всём этом. И если вы, господин полицмейстер, позволите себе преследовать генерала Тихомирова… Не обессудьте, коли и вас не оставят без внимания. Это — одно. А второе — мальчикам не нужно сообщать о нашем разговоре. И вообще… Ушёл и ушёл Валерий Всеволодович… Затерялся в лесу, и вся недолга…

А мальчики и не нуждались в сообщении

пристава. Всё происходило на их глазах. Они, посидев в одиночестве несколько минут, решили отправиться лесом к вершине пруда. Туда, где предполагался лов. На опушке леса их остановил незнакомый. В сапогах и с ружьём.

— Туда нельзя, — страшным шёпотом сказал он. — Ложитесь и не шевелитесь.

И мальчики пролежали всё это время в ельнике. Маврик увидел Ивана Макаровича и узнал его. Не всё было понятно, что говорил он приставу, но всё же слышно. Мальчики слышали, как Бархатов сказал:

— Теперь садитесь на бережок. Здесь сухо. Вам нужно просидеть тут не менее двух часов, чтобы потом благополучно и невредимо вернуться домой. Не позабудьте, что нас не трое… А место здесь глухое.

Тем временем Валерий Всеволодович уходил со вторым высоким мужчиной в лес вдоль берега Омутихи. Иван Макарович шёл последним. Он не шёл, а как бы пятился, не сводя глаз с пристава.

Пристав сидел опустив голову. Он думал не о том, что из его рук выскользнул Тихомиров. Он думал о том, что теперь будет с ним. Но кто может узнать, как это всё было. Ведь не пойдут же доносить на него те, кто, наверно, сейчас не

выпускают его из поля зрения. Он придумает невероятное, которому поверят все и его превосходительство господин губернатор.

Послышался отдалённый голос, затем конский топот. Это была не одна лошадь и не одна телега.

Пристав не поднимал головы. За ним зорко следили глаза токаря из Гольянихи, которого не знал ни Маврик, ни Иля, ни тем более Викторин. За ним следили глаза Артемия Кулёмина, ещё вчера, до полуночи, встретившего на шестой версте Бархатова и «монаха». У Кулёмина был хороший полицейский пятизарядный «смит-вессон». Он бил не так далеко, зато верно. Киршбаум и старик Емельян Кузьмич Матушкин находились по ту сторону Омутихи с дробовиками. Матушкин был очень доволен, что его предусмотрительная охота не оказалась напрасной предосторожностью.

Ищи теперь ветра в поле…

X

Снова пришла весна, да не столь красна, какой она снилась, какой виделась.

Потрясение за потрясением. Нелёгким открытием для Маврика было событие на Омутихинском пруду. Такой хороший, такой близкий, почти родной Иван Макарович, за которого ему

так хотелось выдать замуж тётю Катю и жить с ним в дедушкином доме, оказался политическим. И это нужно скрывать ото всех и от тёти Кати. Ильюша и Санчик не видели Ивана Макаровича, когда он приходил к Маврику. И они не знают, что Маврик знаком с ним. И об этом знакомстве им ничего не будет сказано. Зачем? Илька может разболтать дома, а Григорий Савельевич в хороших отношениях с приставом. Нужно молчать.

То, что политическим оказался Валерий Всеволодович, — это не так удивительно. Про него и раньше рассказывали всякое. Но всё же… Дворянин — и вдруг… Видимо, и среди дворян встречаются разные люди.

А уехавшая будто бы в Казань Елена Емельяновна Матушкина, значит, тоже… Она же теперь его жена. Не мог же политический Валерий Всеволодович жениться на неполитической Елене Емельяновне. Ильюша говорит, что не мог. И Маврик тоже считает, что не мог.

Но кто скажет, кто объяснит, кого можно спросить, почему политическими бывают такие хорошие люди? И не просто хорошие, а самые лучшие из тех, кого знает Маврик. Артемий Гаврилович Кулёмин, хотя и перестал, но был всё же политическим, только никому не говорит этого,

как не говорил никому Иван Макарович. И кто скажет и кто докажет теперь, что быть политическим — это позор и ужас?

А позор ли? Ужас ли? Неужели Иван Макарович может желать для людей плохое, а пристав Вишневецкий — хорошее? Ведь он хотел посадить в тюрьму Валерия Всеволодовича и следил за ним, как собака Пальма за утками.

Тесно в голове Маврика. Ему иногда очень трудно дышать, а поговорить не с кем. Разве только с Артемием Гавриловичем, да и то… Можно ли довериться ему во всём?

Дни стоят ясные, а кругом тучи. Вчера к тёте Кате приезжал помощник пристава. А сегодня тётя Катя ушла в полицию. Уходя, она сказала:

— Маврушенька, как мы неосторожны с тобой. Иван Макарович оказался вовсе не тем человеком, за которого мы его принимали.

— А каким? — тревожно спросил Маврик.

— Когда узнаю, скажу. Я, наверно, скоро вернусь из полиции. Жаль, что сам пристав уехал в Пермь. Он вежливее. Побудь дома.

И ушла. Но Маврик не стал сидеть дома. Он побежал к Артемию Гавриловичу. И Артемий Гаврилович сказал:

— Поймали одного из тех, с кем скрывался Ва-

лерий Всеволодович. Его заставляют сознаться, что он Бархатов

— Какой Бархатов? — дрожащим голосом спросил Маврик.

— Да тот, что был у тебя в гостях. И твою тётю Катю пригласили в полицию, чтобы она узнала его.

— И она… она, вы думаете, Артемий Гаврилович, узнает его? — спросил Маврик, трепеща всем телом.

— Не знаю, — уклонился от прямого ответа Кулёмин. — Но если это он, то как она может не узнать? Не узнает она, заставят узнать тебя.

— А вы думаете, меня тоже…

— Уверен!

Маврик умолк, теребя листки герани, росшей на подоконнике дома Кулёминых.

— Иван Макарович так изменился за этот год, и я не узнал его, когда он приехал к нам, — заговорил снова Маврик. — А теперь он, наверно, ещё больше изменился, и я, наверно, совсем-совсем не узнаю его.

Кулёмин вдруг схватил Маврика и посадил его к себе на колени. Точно так же, как это делал Иван Макарович.

— Тебе нельзя не узнать его, — наставительно

сказал Маврику Кулёмин. — Не узнаешь ты, узнает «Саламандра».

— Какая саламандра?

— Страховой агент Шитиков, который заходил к вам, когда у вас был Бархатов. Узнавай… узнавай… Его теперь так и так не спасёшь.

Тётя Катя вернулась из полиции радостная.

— Ты знаешь — это не он. Это совсем другой человек.

Но Маврик был уверен, что это был он и тётя Катя не захотела его узнать, и Маврик решил спросить её подробнее, но за окнами послышались голоса:

— Барклай! Ты нам нужен!

Это был Юрка Вишневецкий со своими уланами.

— Зачем? — спросил Маврик через окно.

— Выйди. Ты нужен, — позвали они.

— Иди, иди, Мавруша… Они хотят, чтобы ты узнал его, но ты не узнаешь в нём Ивана Макаровича…

Маврик вышел на улицу. Его потянули за руки. Юрка сразу же объявил:

— Поймали каторжника, а он не хочет говорить, что это он. А ты узнаешь его. Пойдём.

И Маврика повели.

— Вот он, Толлин. Барклай.

— А-а-а! Здравствуйте, мой маленький друг… — сказал помощник пристава и протянул руку. — Одну минуточку. — Он позвонил настольным колокольчиком с костяной ручкой.

В ответ на звонок полицейский ввёл мужчину со связанными руками, с синяками на лице. Рукав его пиджака был наполовину оторван.

— Узнаёшь? — спросил помощник пристава.

— Нет, — ответил Маврик.

— Как же нет? Ты всмотрись. Разве это не сапожник Иван Макарович Бархатов?

— Нет, — обрадованно повторил Маврик.

— Не может быть, это он.

— Если не верите, можете спросить «Саламандру»…

— Какую саламандру?

— Того, кто страхует дома от пожара…

— А-а-а… Шитикова. Непременно, непременно, как только вернётся. Он, кажется, был у вас, когда приезжал к тебе твой друг сапожник. Где же он?

— В Чердыни, — твёрдо ответил Маврик. — Его тогда отвёз на пристань Яков Евсеевич Кумынин. Можете спросить, если не верите.

— Нет, зачем же — я верю…

Когда увели арестованного и помощник при-

става остался вдвоём с Мавриком, был задан новый вопрос:

— Тебе нравится твой сапожник?

— Очень, — ответил Маврик.

— Он хороший человек?

— Да, — не задумываясь ответил Маврик.

— Я так же думаю, — сказал помощник пристава. — Я очень доволен, что Бархатов хороший человек. Беги, мой друг. Играй.

И Маврик убежал, твёрдо зная, что теперь он тоже такой же политический, как Иван Макарович, как Валерий Всеволодович.

Неделю спустя пришла открытка из Чердыни от Ивана Макаровича. Он писал: «Дорогой бараша-кудряша, в Чердыни тоже не повезло, и я поехал на Волгу. Найду же где-нибудь городок, где можно будет открыть сапожную мастерскую…» Далее он передавал поклон Екатерине Матвеевне и сожалел, что она перекармливает отличного пёсика Мальчика, который может зажиреть и превратиться в ленивую дворняжку.

Как мог Иван Макарович оказаться в Чердыни и зачем — Маврик не мог и представить. Может быть, открытку написал кто-то другой? Это вернее всего.

Посоветовавшись с тётей Катей и с Артемием

Гавриловичем, он снёс открытку в полицию и передал самому Вишневецкому, вернувшемуся из Перми.

Этот вертлявый враль счастливо вывернулся, рассказав, как на Омутихинском пруду он был избит, связан и обезоружен. Ему поверили. Его благодарили.

— Вот, — сказал Маврик. — Про Ивана Макаровича говорят, что он будто бы убежал с Валерием Всеволодовичем за границу. А он вовсе не убегал. Читайте, пожалуйста, Ростислав Робертович.

Вишневецкий прочитал открытку. Поблагодарил Маврика. А потом, оставшись один, он постарался поверить, что человек, бежавший с Тихомировым, не был Бархатовым, а всего лишь походил на него приметами, имевшимися в деле. И очень хорошо, что бежавшие не пойманы… Вишневецкому не хочется, чтобы они попадались… А если попадутся, тогда, пожалуй, ему придётся скрываться самому. Ведь он же обманул губернатора.

Между тем Бархатов и Тихомиров благополучно перебрались за границу. Об этом уведомила сестру Елена Емельяновна, прислав ей из Праги каталоги зубоврачебных принадлежностей, читая которые умеючи можно было узнать не

так уж мало.

Бархатов не долго проживёт за границей. Он вернётся в Россию под новой фамилией, как только будет добыт хороший паспорт и отрастёт борода, достаточная для того, чтобы выглядеть солидным человеком из коммерческого мира.

А о Валерии Всеволодовиче сообщали газеты. Он дал о себе знать первой же появившейся статьёй. Его по статье узнали близкие ему люди, узнали и те, кто называл его «неуязвимый трубадур». Теперь это прозвище охранки получило особое звучание.

XI

Для успокоившегося Маврика весна могла стать хорошей. Иван Макарович во всех случаях на свободе. Тётя Катя сумела объяснить приставу, как произошло знакомство с Бархатовым и почему он привязался к её племяннику. Она также, ссылаясь на открытку, поколебала пристава в причастности Бархатова к политике.

— Если бы он был таким, — сказала она, — зачем бы ему так открыто писать о себе нам? Ведь мы-то ему никто, как и он для нас чужой человек.

И пристав окончательно поверил, что за Бар-

хатова он тогда в вершине пруда принял другого человека.

Весна могла стать хорошей, а лето ещё лучше. Герасим Петрович предложил пасынку пожить в Омутихе у бабушки Ирины. Туда же будут по субботам наезжать отец и мать с маленькой Иришей, которой тоже нужен воздух. И Маврик ждал переезда в деревню. Она его манила и потому, что в одной версте, на мельнице, будут жить Тихомировы, и он может хоть каждый день встречаться с Викторином, Владиком и видеть Леру. Всё складывалось очень хорошо, да нескладно сложилось. Новая учительница, заменившая Елену Емельяновну, заявила матери Маврика, Любови Матвеевне:

— У меня, госпожа Непрелова, нет времени возиться с вашим ленивым сыном и тянуть его за уши лишь бы перевести в третий класс. Он будет оставлен на второй год.

Любовь Матвеевна, вернувшись из школы, накричала на Маврика. Отчим на этот раз во всеуслышание назвал его «петрушкой» и лодырем. Мать плакала и обещала запереть опозорившего семью Маврика на всё лето в квартире и, как арестанту, разрешать ему выходить один раз в день во двор. Любовь Матвеевна напомнила Маврику

и об Иване Макаровиче:

— Ещё тогда, ещё в Перми, я запрещала тебе видеться с этим сапожником… А ты… ты обманул мать… Ты хочешь прямо из школы в «золотые роты». Если тебя в девять лет вызывают в полицию, так в десять ты будешь сидеть против старого кладбища, — намекала она на пермскую тюрьму.

Маврик выплакал все слёзы. Он сидел, забившись в угол тёмной комнаты на сундуке, где спала Васильевна-Кумыниха, когда она жила у Непреловых. Казалось, что в жизни у Маврика уже не будет ничего хорошего. Он «петрушка», он лодырь. Его дорога в «золотые роты».

Как жить теперь, тётя Катя? Почему ты не приходишь? Или ты тоже сердишься на второгодника, который опозорил и тебя?

Нет, ты торопишься, Маврик. Твоя тётя Катя не сидит сложа руки. Она уже побывала в школе и пообещала, что к осени её племянник будет знать всё необходимое для перехода в третий класс. И в школе сказали, что переход в третий класс Толлина будет решён в первых числах августа.

Но это ещё не всё, что произошло и о чём не знал Маврик. У него нашёлся друг, куда более сильный и влиятельный. Друг, которому Маври-

ков папа должен был сказать:

— Здравствуйте, ваше превосходительство… Милости прошу. Проходите, чем обязаны?

Этого друга Маврика папа не мог не назвать вашим превосходительством, потому что жена генерала тоже «превосходительство». И когда Варвара Николаевна Тихомирова пришла к Непреловым, она сказала:

— Ничего особенного, Герасим Петрович и Любовь Матвеевна, не произошло. Маврикий и не мог не остаться на второй год. Такой уж он у вас… фантазёр и мечтатель… Моя невестка Елена знала эти особенности мальчика и занималась с ним и с другими после уроков, а новенькая учительница не захотела или не сумела поступать так…

Герасим Петрович не смел сесть при генеральше. Годы солдатчины вбили ему в голову и последующие годы не выбили из неё страх перед «превосходительствами», независимо от того, при лампасах «они» или без них. И он говорил только «точно так» и «как изволите». Маврику жаль было папу, и он стыдился за него.

Варвара Николаевна сказала:

— И незачем ему переходить в третий класс этой школы, немногим лучшей, чем нагорная. Этой осенью открывается прогимназия с при-

готовительным классом. И если вы, Герасим Петрович, не будете против, то ваш сын, уверяю вас, выдержит экзамен в приготовительный класс на круглые пятёрки.

— Как изво… как вам будет угодно, ваше превосходительство, — ответил Герасим Петрович.

— Да, — подтвердила Любовь Матвеевна. — Это самое лучшее. Маврик, где ты?

Но Маврик не появлялся.

— Он придёт сегодня же ко мне, и я поговорю с ним очень серьёзно и очень строго, — сказала, уходя, Варвара Николаевна.

XII

Маврик вскоре отправился к Тихомировым.

Лера встретила его молча, но сочувственно. Её глаза не оправдывали второгодника, но в них не было презрения к нему.

Она провела его к бабушке.

— Вот что, государь мой Маврикий Толлин, — начала Варвара Николаевна, усадив Маврика в креслице против себя. — Ты уже достаточно взрослый и мужественный человек, и у тебя найдутся силы, чтобы взять себя в руки. Нужна таблица умножения или не нужна, я не буду выяснять, как это делала Лена, твоя учительница

Елена Емельяновна. Я также не буду убеждать тебя, почему всякий человек… всякий человек, — повторила она, — должен… я говорю, должен и обязан уметь хорошо читать, грамотно писать. Моим детям и моим внукам мне этого никогда не приходилось доказывать. Не буду доказывать и тебе. Ты должен, ты обязан, а когда вырастешь, узнаешь, почему ты должен и обязан. А теперь… Теперь тебе нужно отдохнуть. Две недели. Ни о чём не думать. Переехать в деревню. Бывать у нас на мельнице. Кататься с внуками на Бяшке, которому не нужна никакая таблица умножения, потому что он осёл. А через две недели ты каждый вторник и каждый четверг утром будешь приходить ко мне. Я не буду с тобой заниматься. Я буду тебя спрашивать и задавать тебе уроки. А теперь… Танечка, — обратилась она к горничной, — проводите гимназиста Толлина и не расспрашивайте его ни о чём, чтобы он не растерял то, что я ему сейчас положила в голову..

Маврик побежал к тёте Кате. Вбежав, он сказал:

— Я поступаю в приготовительный класс, и мне нужно не через две недели, а сейчас, сию же минуту садиться за уроки! Таблица умножения, тётя Катя, это же чепуха… И если я научился бить

из рогатки без промаха в копейку, так уж читать-то… писать-то… и считать… — не договорил он, потому что ему не хватало воздуха, сел за свой столик и начал с самого начала: «Осень! Осыпается весь наш бедный сад. Листья пожелтелые по ветру летят…»

Ни Санчик, ни Ильюша, ни тётя Катя с этого дня не могли оторвать его от чтения, письма и счёта. Он подымался и садился за стол в восемь утра и прекращал свои занятия, когда свисток звал на обед.

Это было трудно. Это было невозможно трудно. Часы издевались над ним. Их маятник качался так же, а стрелки шли медленнее. Иногда они словно примерзали к циферблату. А он читал.

Доброе солнце не щадило его. Оно заглядывало в окошко, смеялось и манило на улицу. А он закрывал шторой окно и твердил:

— Шестью шесть — тридцать шесть. Шестью семь — сорок два…

Собака Мальчик, к которой так был внимателен он, не платила ему тем же, жалобно подскуливая и тоскуя по своём добром хозяине, мешала писать. А он писал, не пропуская букв, не позволяя им выскакивать за тесные линеечки строк.

Санчик, с которым он вырос, которому он

помогал учиться в первом классе на круглые пятёрки, тоже находил возможным для себя громко вздыхать за окном, и, вместо того, чтобы увести Мальчика, он принимался уговаривать его не лаять и этим тоже мешал. И пусть. Маврик всё равно выучит и те стихотворения, которые не задавались в школе и которые не нужно было заучивать наизусть

Уж коли брать, так брать себя в руки…

А тётя Катя? Есть ли на земле кто-то ближе её?.. Может быть, и будет, но пока нет… Так и она входит в большую комнату и советует сделать маленький перерыв, выйти во двор или пристаёт с выдуманными делами. А он, заткнув уши, решает труднейшие примеры на все четыре действия.

И только один человек из всех, один приходит и спрашивает — не изменил ли он своему слову, не поддался ли он чему-нибудь?.. А потом садится вместе с ним и начинает учить то, что он знает, и то, что ему уже не надо учить. Но ему это надо, потому что нужно для его друга.

— Ах, Иль, как хорошо, что мы с тобой встретились тогда в Перми, в Козьем загоне. Козёл теперь я. Загоняй меня, загоняй…

Маврик обнимает товарища, потом просит его побыть злющей Манефой, а сам остаётся

учеником.

И тот скрипучим голосом Манефы вызывает его и спрашивает сердито, придирчиво… То — сколько будет восемью семь… То велит вычесть в уме из девяноста трёх шестьдесят девять, а сам смотрит на маятник часов и проверяет, быстрее ли стал считать Маврик. И снова задаёт трудное-претрудное и замечает каждую, даже самую маленькую, ошибку, которую бы, наверно, пропустила и Манефа, потому что настоящая дружба не признаёт поблажек.

Так было до отъезда в Омутиху, но и в Омутихе слышен громкий свисток завода, и никакое журчание речки, никакие пескари, ни крупные налимы, за которыми успешнее охотиться утром, с вилкой, насаженной на палку… ничто не могло заставить взявшего себя в руки, достаточно взрослого и мужественного человека изменить самому себе.

И когда Лера, которая может его заставить сделать всё, даже переплыть огромный Мильвенский пруд, пришла в деревню Омутиху и сказала: «Тебя ждут на мельнице, я приехала за тобой на Бяшке» — Маврик ответил:

— Сейчас засвистит, Лера… А до свистка нельзя.

— И свисток засвистел.

— Поехали, Лера. Теперь я могу…

И они ехали в маленькой тележке. Ленивый ослик прытко бежал на мельницу, его, как и Буланиху, возвращающуюся домой, тоже не нужно было понукать.

Как чудесны летом омутихинские поля, как сладко пахнет травами! Как хорошо, что не Викторин и не Владик приехали за ним, а она. Она, сказавшая ему дорогой, как взрослая взрослому:

— Я уважаю вас, Толлин. Вас нельзя не уважать…

Ой, как приятно слышать от Леры эти слова! Какой гордостью закипает его сердце! И он готов любоваться собой. Но в это время они проезжают мимо того места, где Иван Макарович разоружал пристава Вишневецкого. И Маврику вдруг становится стыдно за себя. Что сделал он? Какой подвиг им совершён? Что произошло? Ничего особенного — просто-напросто ленивый ученик Толлин нагнал своего успевающего сверстника Киршбаума. Только и всего.

Походить на Ивана Макаровича Бархатова не так-то легко и просто…

Часть третья

Первая глава

I

В Мильве открылся и успешно работал кинематограф, названный «Прогресс». Для тех, кто впервые видел на экране движущихся людей, волнующееся море, шевелимые ветром листья деревьев, бегающих животных и всё, что стало большой ожившей фотографией, этот электротеатр оказался волшебным без преувеличений.

Люди, не выезжавшие из Мильвы, а таких было множество, увидели не только другие города, но и другие страны. Семья Шишигиных, открывая «Прогресс», не ошиблась в предпринимательских расчётах. Сеансы, особенно вечерние, давали большие прибыли. Появилось сравнительно доступное зрелище, если не считать спектаклей комаровского общества любителей драматического искусства. Ради этих редких спектаклей нужно было терять весь вечер, получше одеться и тоже платить за билет. А за что? Что там увидишь? Переодетых знакомых людей с наклеенными бородами, с нарумяненными лицами, подчернёнными бровями, которые изображают

князей, боярынь, купцов, помещиков… А в «Прогрессе» уплатишь пятиалтынный — и за полтора часа насмотришься такого, что и за три дня не перескажешь. Убийства гладиаторов… Съедение крокодилами обнажённой красавицы… Бой живого быка с живым тигром… Глупышкин прыгает из окна третьего этажа на проходящий воз, с воза скачет в другое окно… Это же — умереть, уснуть — как здорово!

А знаменитый «Пате-журнал», который «всё видит, всё знает»! Париж и живые парижане. Натуральный пожар с жертвами. Наводнение в Голландии. Работа слонов в Индии. Охота на китов. Карнавал в Венеции. Живой настоящий царь Николай Второй, маленький, щупленький, в настоящем Питере. Фабричный труд в Англии. Страхование рабочих в Германии.

Хозяева «Прогресса» Шишигины, заботясь о наживе, доставая новейшие картины, и не представляли, как они расширяли познания мильвенцев, добрая половина из которых не читала и не писала. Экран «Прогресса» стал окном, пусть не таким широким, но всё же окном в большой мир. И многие, смотревшие в это окно, впервые в жизни спросили себя: «А так ли мы живём?» Шишигины не поверили бы, если бы кто-то

им сказал, что даже такие безвинные картины, как «Ямщик, не гони лошадей», как «У камина», которые, казалось бы, должны вызывать сочувствие к неразделённой или угасшей любви, будят другие чувства к богатым бездельникам, которым некуда спешить и некого любить, которые сидят одиноко в роскоши и переживают, как печально догорает камин.

Терентий Николаевич Лосев на этот счёт сказал прямо:

— Сходил бы, дурак, лучше в лес, да напилил дров, да подкинул бы охапку-другую, чем с жиру-то нюни распускать.

В жизни мильвенской детворы «Прогресс» стал самым заманчивым развлечением, и увиденное там переходило в жизнь, в игры, повторялось в школах, училищах. Появился таинственный Зигомар — сотни «зигомаров» появляются в школах. Показали картину о неуловимой Соньке Золотой Ручке — на стенах в женской гимназии возникают отпечатки золотой руки.

Учредитель гимназии Всеволод Владимирович Тихомиров, считающий политехническое образование обязательным, старался дать как можно больше знаний своим питомцам. Хотя и бесспорно, что всего не узнать и не изучить,

но стремиться знать и уметь как можно больше необходимо каждому.

Наиболее любознательным было рассказано о кинематографе всё, что знал о нём Всеволод Владимирович. И этого оказалось достаточно, чтобы Маврикий Толлин загорелся желанием создавать свои картины. И если у него нет аппарата, которым снимаются эти картины, если даже обычный фотографический аппарат является предметом недосягаемых мечтаний, то почему бы не вообразить, не представить, какие картины он мог бы снять и показать. Первая картина называлась бы «Приготовительный класс». В ней бы он с удовольствием посмеялся над собой и над другими. Можно бы показать, как он, маленький хвастунишка, выскакивает после каждого экзамена и показывает матери пальцами рук — пять. Как на другой день после экзаменов, когда ещё стояла жара, он поспешил обновить свою первую гимназическую шинель. Как глупо он появился в ней на Ходовой улице, желая, чтобы все знали, что теперь он гимназист.

Ильюша щеголял тогда в форменной фуражке, которую мог тоже бы не надевать до начала учебного года.

Кажется, всё это было давным-давно, а в общем-

то совсем недавно.

Если б у Маврика был даже обыкновенный фотографический аппарат, то и им бы можно было наснимать множество снимков и составить из них интересные альбомы, страницы которых навсегда бы сохранили то, что прошло и ушло. Ушло навсегда.

Каким бы волнующим мог стать альбом о старом и новом доме!

И Маврик, вместо того, чтобы учить уроки, воспользовавшись тем, что дома никого нет, принимается листать в своём воображении несуществующий фотографический альбом…

II

На первом снимке сидит тётя Катя у печки, на низенькой скамеечке, которую ей подарил Терентий Николаевич. Сидит и думает о старом доме. На снимке хотя и нельзя показать мыслей, но можно дать подпись: «Кому продать дом?»

На другом снимке отчим Маврика уговаривает тётю Катю продать дом фирме «Пиво и воды», потому что дом стоит на ходовом месте и в дни получек рабочие обязательно забегут выпить пива.

Тётя Катя не может решиться. Она помнит,

что наказывала бабушка, умирая. Нельзя такой известный в Мильве дом продать под «распивочную и на вынос».

Открывается новая страница альбома. На новой странице появляется Всеволод Владимирович Тихомиров. Он говорит, что, конечно, богач Болдырев может заплатить за дом дороже, чем гимназия… Но ведь, кроме денег, есть ещё и добрая слава, добрая память.

Тут отчим Маврика говорит, что фирма «Пиво и воды» согласна набавить за дом ещё тысячу рублей… И тётя Катя уже колеблется. Но…

Но страница перевёртывается, и на ней гимназист Маврикий Толлин. У него совершенно серьёзное лицо и совершенно нахмуренные брови. Он говорит:

— Папа, неужели ты не помнишь, как просила бабушка, умирая, чтобы ей с дедушкой было не стыдно зайти в свой дом, когда тётя Катя продаст его?

На лице Всеволода Владимировича появляется хорошая, как всегда, улыбка. Глаза его блестят ещё больше, чем стёкла очков. Он хочет обнять Маврика. А Маврик произносит такие слова, которые, как острый топор, разрубают всё. Он говорит:

— Неужели дедушка с бабушкой могут войти в свой дом, где находится пивная?

Тётя Катя вздрагивает. Вздрагивает и папа. Не вздрагивает только Маврикий Толлин. Он гордо стоит, как князь Серебряный перед Малютой Скуратовым.

Наверно, всё это не так хорошо получилось бы на снимках, но всё равно что-то получилось бы… Во всяком случае, можно бы снять, как тётя Катя решает продать дом под гимназию и в знак этого подаёт свою руку Всеволоду Владимировичу, а Маврикий Толлин торжественно разнимает руки. И это крепче купчей крепости, которая составляется нотариусом Шульгиным.

А потом новые страницы. Новые снимки.

Плачет тётя Катя. Крепится, но тоже не может сдержать себя гимназист Толлин в летней белой фуражке, в летней блузе с блестящими форменными пуговицами, подпоясанный ремнём с пряжкой, на которой три буквы — ММГ.

Ломается крыша старого дома. На чердаке всё ещё лежат пучки лучины, которые нащепал дедушка. Выдираются гвозди старого пола. Скатываются брёвна стен.

И всё… Все соседи. Все мальчики — Толя, Сеня, Санчик, Яктынко, Сактынко, Ильюша — и все-все

жалеют старый дом.

Грустно стоит на дворе за сараем старый пароход. Ломают и его. Затем на месте парохода роют яму и гасят в ней известь.

Прощай, пароход. Прощай, дом. Но…

Но приходит Всеволод Владимирович и говорит:

— О чём же вы, Екатерина Матвеевна?.. Разве ломают, а не перестраивают ваш дом? Разве пропадёт хоть одна половинка кирпича, разве хорошие, старые сухие брёвна на станут досками, рамами нового дома, новой гимназии?

И слёзы сохнут на тёти Катином лице. И тётя Катя улыбается. И есть чему. Потому что на других снимках видно, как подымаются стены новой гимназии, как поднялась она, белая, оштукатуренная, трёхэтажная, с красивым куполом на углу, с лепными украшениями, с балконом на одном фасаде и с четырьмя колоннами на другом, где главный и самый парадный вход.

Снимок отрывного календаря. На календаре уже 1 августа, и в доме работают маляры. Как жаль, что на снимках нельзя показывать краски. Ничего, и так видно, каким красивым стал старый дом.

Память и воображение Маврика листают стра-

ницу за страницей альбома, который мог бы быть… А на страницах новые снимки. Некоторые из них тоже шевелятся, как в «Прогрессе», а иногда и разговаривают.

Множество народа. Пришли почти все родители. Господа и простые. Торжества открытия. А потом пятнадцатого августа…

Опять листок календаря.

Маврик и его товарищи входят в новое здание. Светлые классы. Широкие коридоры. Не верится, что здесь когда-то стоял дом, где жил Маврик, где болел корью, где лежала в гробу бабушка… Зачем вспоминать об этом? Теперь стоит здесь дом для всех, для многих. Если б знал об этом Иван Макарович!

III

Кажется, это было давным-давно, а в общем-то совсем недавно. Эти годы минули, как месяцы летних каникул. Тётя Катя поселилась в маленькой квартирке на тихой улице в Замильвье. Если бы не Киршбаумы, она бы жила у сестры во флигеле.

Жизнь тёти Кати теперь совсем одинокая. Маврик не так часто бывает у неё. Он подрос. А когда закончит гимназию и уедет в Томск вместе

с Ильюшей Киршбаумом в технологический институт, тётя останется совсем одна-одинёшенька.

Родня и посторонние люди от души советуют ей выйти замуж. Женихи есть. Целых три. Один служит на почте. Второй — лесничий. Тоже вдовец. И третий, самый настырный, Даниил Феоктистович Судьбин. Одна фамилия что стоит. Не зря Екатерине Матвеевне сказали, что от Судьбина, как от судьбы, не уйдёшь.

У Даниила Феоктистовича своё дело. Мастерская, и даже две. Товар всегда в спросе. Он гробовщик. Единственный на всю Мильву. Остальные пробовали было зашибать копейку на смертях своих ближних, да Судьбин не дал ходу никому. Сам на смертях жил — покойников обирал.

Екатерина Матвеевна на предложение Судьбина ответила мягко и необидно:

— Не подхожу я вам, Даниил Феоктистович, а чем — позвольте не объяснять.

И все опять сказали, что, значит, такова судьба. Значит, это всё предначертано свыше.

Но кем предначертано? Неужели есть кто-то, который предначертывает судьбы? Как же у него хватает времени предначертать каждому свою судьбу, если только в одной Мильве столько тысяч судеб? Для этого же нужна огромная контора,

куда больше, чем заводская!

Может быть, этим занимаются ангелы? Может быть. Но как они пишут судьбы? Неужели как вздумается, так и пишут? Наверно, так. Если бы это было иначе, то как бы первый ученик Санчик Денисов мог, окончив три класса школы, не попасть хотя бы в городское училище, а пошёл рассыльным на завод? Почему? Неужели тому, кто писал его судьбу, захотелось такого способного мальчика лишить образования и заставлять разносить бумажки?

А почему балбесу Игорю Мерцаеву судьба пожелала дать велосипед? И не один велосипед, но и ружья, настоящие сабли, электрический свет в доме и настоящую охотничью собаку? И это считается справедливым? И за это нужно благодарить судьбу?

Конечно, Игорь должен благодарить судьбу, но Санчику-то за что её благодарить? За три рубля, которые он выбегивает в месяц, носясь по улицам? Или за то, что ещё бабушка Митяиха не слегла и добывает на паперти копеечки и куски?

Маврикию Толлину хотя и грех жаловаться на судьбу, но и благодарить её не за что. Он сыт, одет, учится, переходит в третий класс гимназии, так это же благодаря деньгам, а не судьбе. Конечно,

можно говорить, что и деньги даются судьбой. Значит, вор, который их ворует, вовсе не виноват, что он вор, а виновата судьба, предписавшая ему быть вором? Зачем же его, а не судьбу наказывают тюрьмой?

На это никто и никогда не ответит, как никто не ответил, почему бог, начиная с Адама и Евы, всё испытывает и испытывает людей, придумывая им всякие соблазнительные ловушки, а потом без конца наказывает и пугает. Разве нельзя было сразу предначертать людям хорошую судьбу и уберечь от греха? Зачем понадобилось ему выращивать яблоки познания добра и зла?

Это и безбожно и бесчеловечно.

Нужно же как-то и когда-то выяснить, есть ли судьба. А если судьбы нет и её придумывают, чтобы оправдать то, что не может быть оправдано, значит, нет и того, кто пишет судьбы? Впрочем, что об этом рассуждать, когда и без того так много невыясненного. А с кем выяснять? Не всё можно спросить у тёти Кати. Да и не на всё способна она ответить.

Екатерина Матвеевна всё свободное время шила. Заказчики были из больших господ. Зашеинская работа, её ручной шов ценились хорошим рублём.

Ежегодно, раза два, а то и три, Екатерина Матвеевна уезжала. То в Саровскую пустынь на богомолье, то в Белогорский монастырь под Кунгуром. А то просто так — в города посмотреть новые фасоны платьев. Иногда брала с собой Маврика.

Маврику очень хотелось в поездках встретить Ивана Макаровича, и однажды ему показалось, что он видел его в Сарапуле.

Однако тётя Катя сказала, что Маврик ошибается, что виной этому шоколадное мороженое, потому что всякий шоколад, в том числе в мороженом виде, возбуждает воображение. Успокаивая племянника, Екатерина Матвеевна говорила, что Иван Макарович Бархатов жив, здоров и чувствует себя очень хорошо. А как и откуда она знает об этом — просила не любопытничать.

Это очень странно. У неё от Маврика завелись секреты. Она, кажется, недоговаривает что-то при нём о боге. Но разве можно провести Маврикия? Он стал замечать, что у тёти Кати портятся отношения с богом, хотя она и ездит по монастырям.

Скорей бы уж вырасти Маврику и узнать всё, а то живёшь неизвестно кем. И не маленький и не большой. Кругом идут такие серьёзные разговоры! Все рассуждают, размышляют, а ты ничего

не можешь понять. Взять того же доктора Комарова… Он при всех говорит, что тишина, мир и покой сохраняются только в таких городках, как Мильва, в большом свете давно уже пахнет порохом. Все слушают его, и никто не верит в войну.

В войну не верят никогда, во всяком случае, до того, пока она не начнётся.

IV

Не так уж трудно изготовить штемпели с изображением зверей и уложить их в коробочку с красочной надписью «Зверинец». Обеспеченные родители всегда найдут полтора рубля для того, чтоб их мальчик или девочка печатали на бумаге львов, волков, жирафов, орлов, попугаев, а затем сажали их в клетки при помощи повторного штемпеля. Оригинальная игрушка. И главное — рубль, пусть девяносто копеек чистой прибыли на подпольную работу. Увозит казанский экспедитор ходкие штемпели-игрушки для детей, которые потом будут продаваться в различных городах, а вместе с ними пойдут другие изделия штемпельной мастерской, рассказывающие о Ленском расстреле, о земле, принадлежащей крестьянам, о равноправии наций, о депутатах-большевиках в думе. И чем напряжённее скрытая

работа, тем изобретательнее производство безделушек.

Киршбаум решил скопировать домашнюю типографию «Иоганн Гутенберг». Тоже коробочка. А в коробочке резиновые буквы, из которых можно набрать в желобки-державки три строчки. Хочешь — набирай: «Игорь Мерцаев, гимназист пятого класса ММГ»; хочешь — набирай: «Имею честь поздравить вас с широкой масленицей». А можешь и: «Завтра всеобщая забастовка. Бросай работу». Кому что надо, тот то и набирай. За это не может отвечать Киршбаум и К°. Так можно преследовать и фабрики, изготовляющие карандаши, которыми тоже можно писать всякое.

Пристав одобрил затею изготовления типографии для детей «Иоганн Гутенберг», когда Киршбаум преподнёс Юрочке Вишневецкому первую пробную коробку. И вообще, Григорий Савельевич не предпринимает никогда и ничего, не посоветовавшись с умнейшим в губернии Ростиславом Робертовичем, которому Киршбаум никогда не забывал делать подарки. К Пасхе. К Рождеству. На Масленицу. И просто так в обыкновенные дни. Разные это были подарки. В свёртках, в ящиках, случались и в конвертах, потому что Григорий Савельевич не всегда знал,

что нужно Ростиславу Робертовичу, и просил его купить себе подарок по усмотрению. И это был подарок, и только подарок, и ни в коем случае не взятка. За что же взятка? Григорию Савельевичу ровным счётом ничего не нужно от пристава и не будет нужно. Но нельзя не быть благодарным Вишневецкому за его умение молчать о некоторых подробностях жизни семьи Киршбаумов. Пристав мог бы заставить Анну Семёновну именоваться её девичьей фамилией — Петухова, которую она носит и по сей день. Мало ли на свете любящих сердец, приписанных к различным вероисповеданиям, которым нельзя стать законными супругами. Ростислав Робертович постарался не обратить на это внимания.

Минуло то время, когда Григорий Киршбаум жил безвестно и учтивейше раскланивался первым чуть ли не с каждым встречным.

У Григория Савельевича так дела идут хорошо и он так искусно играет роль преуспевающего предпринимателя, что Анна Семановна иногда спрашивает себя: да уж в подполье ли они?

Киршбаум одевается в Перми у лучших портных, и куропаткинские закройщики срисовывают фасоны пиджаков, визиток, пальто и жилеток, которые носит господин Киршбаум. Кроме всего

прочего, он и артист драматического общества, печатающийся в афишах под псевдонимом Грегуар Вишнедрев, потому что его фамилия в переводе означает — вишнёвое дерево, а кроме этого артистическая фамилия Вишнедрев приятно перекликается с фамилией пристава…

До сих пор Киршбаум не чувствовал, что для кого-то он представляет особый интерес. Но недавно в мастерскую пришёл некто, отрекомендовавшийся обрусевшим немцем Иоганном Карловичем Таубе — и на первый случай предложил Киршбауму золотарный пресс, переконструированный для ускоренной вулканизации штемпелей.

Киршбаума посетили беспокойные мысли. А немец тем временем рассказывал, что он предполагает создать посредническую контору, которая будет за малое вознаграждение доставлять всякому желающему всё, что есть, вырабатывается, производится и поступает в продажу. Например, для Всеволода Владимировича Тихомирова он может предложить партию новейших шведских парт, для Варвары Емельяновны Матушкиной наборы зубов, которые невозможно отличить от настоящих.

Осведомлённость немца была поразительной,

знание имён более чем подозрительно.

И как же счастлив был Григорий Савельевич, когда подоспевший на встречу с немцем Кулёмин обнялся и расцеловался с ним.

Приезжий чувствовал себя в роли предпринимателя Иоганна Таубе так же свободно, как в своё время в роли монаха, прибывшего с Иваном Макаровичем Бархатовым для спасения Тихомирова…

Обрусевший немец Таубе побывал во многих домах, выясняя спрос. Состоялся разговор и с аптекарем Мерцаевым. Провизор на все лады восхвалял образованного поставщика. Понравился он и доктору Комарову. Довелось ему, не вызывая ни у кого подозрений, побывать и у зубного врача Матушкиной. Матушкина получила письма от сестры и Валерия Всеволодовича. И вскоре произошла встреча приезжего с глубоким подпольем Мильвы.

V

Было бы непростительным полагать, что тайный надзор в Мильве ограничивался грубой слежкой полиции, её агентов, распознаваемых с третьей фразы. У Емельяна Кузьмича Матушкина был немалый список шпиков и провокаторов,

работавших в цехах, в конторах, служивших по вольному найму. Но в этом списке не было свободного художника и артиста комаровской группы Антонина Всесвятского. Его можно было отнести к ищущим удачу через богатую невесту прожигателям жизни. Зоркий Матушкин махнул на Всесвятского рукой, особенно после появления в Мильве овдовевшей пароходчицы Соскиной.

Матушкин, думая так, был прав, но, думая только так, он жестоко ошибался. Это был одареннейший прохвост и мастер ювелирнейших подлостей. Кто же такой Всесвятский?

Его подлинная фамилия — Гуляев. Успешно заканчивая семинарию, он и не собирался применить своё духовное образование на благо веры. Красавца, певца, сочинителя, прирождённого артиста звала иная жизнь.

У него было на что обзавестись блистательным гардеробом и, выдавая себя за человека из обеспеченного круга, стать на подмостки провинциального театра.

В лучших господских и купеческих домах почитали за честь появление сверкающего на сцене и застенчивого в жизни ангелоподобного артиста. По нему сохло немало невест. Но ни одна из барышень не могла уличить Гуляева

даже в двусмысленном взгляде. Он был чист как небожитель. Да он и не мог быть другим, специализируясь на уловлении, а затем ограблении томящихся купчих, скучающих барынь, стареющих богачих. Он был беспощаден к своим жертвам, угрожая предать гласности то, что скрывалось от именитых, богатых и обманутых мужей. Брал деньгами, золотыми вещами, бриллиантами. Этот вид аферы сходил всегда безнаказанно.

Но жадность никогда не бывает сыта, а успех, как бы велик он ни был, никогда не хочет быть последним. Накопив достаточно, Гуляев появился в Екатеринбурге, где сразу же обратил на себя внимание и вскоре через прелестную красотку актрису втёрся в дом хищника, скупающего на частных и казённых приисках золото.

Разбойники очень скоро поняли, оценили друг друга и составили «золотую компанию». Молодой делец, войдя в курс дела, решил, что ему может принадлежать не половина, а всё золото. И он ограбил компаньона. Ограбил, зная, что тот, боясь за свою жизнь и свободу, не предаст его. А он предал себя и его в руки правосудия, потому что жажда мести, обида за поруганную любовь к прелестнице-актрисе была сильнее страха перед

каторгой.

И оба преступника оказались за решёткой. Золото найдено, конфисковано, приговор подготовлен. По этому приговору тот и другой продолжат добывать золото, но уже прикованными к тачке. И так бы случилось с обоими. Но так случилось с одним. Производивший следствие чиновник убедился, что Гуляев принадлежит к одарённым аферистам большого пошиба, сообщил о нём в губернское жандармское управление, где нередко подобные лица находили особое применение.

Гуляевым заинтересовались. Затем произошла встреча с жандармским полковником. Полковник сказал прямо:

— Зачем же пропадать способностям, которые могут быть полезны царю и отечеству? Что же касается каторги, — добавил он Гуляеву, — то тебя туда никогда не поздно послать… Но я думаю, ты этого не заслужишь.

Вскоре состоялся суд. На суде обвиняемые в незаконной скупке золота получили пожизненную каторгу. Не доезжая Омска, арестант Гуляев был взят из вагона жандармами для повторного дознания. И вскоре новый агент под приятнейшей кличкой «Аполлон» и с паспортом на имя Антонина Александровича Всесвятского, проис-

ходящего из духовного звания, был направлен в Мильву.

С первых же шагов Всесвятский показал себя честнейшим, тщательнейшим и осторожным. Он сумел дать точную характеристику всех лиц, бывавших у доктора Комарова, и в том числе господина Вишневецкого, которого он безбоязненно и нелицеприятно назвал «человеком, печально ограниченным своей самонадеянностью». С чем были вполне согласны в губернии.

Началась жизнь, лишённая того блеска, к которому привык авантюрист. Мучительно тянулось время, не принося сколько-нибудь заметной удачи, которая позволила бы получить амнистию. Ведь не будет же он вечно томиться в Мильве. Представится же случай поймать жар-птицу и улететь на её крыльях за границу. И однажды сверкнул луч надежды…

Раскрывать себе подобных Всесвятскому было необходимо для того, чтобы узнать, кто следит и за ним. Всесвятский распознал многих своих коллег, провизора Мерцаева, Шитикова из страхового общества «Саламандра», приказчика Козлова из магазина готового платья Куропаткина. Заподозрен был Всесвятским и Артемий Кулёмин. Проверяя, не агент ли Кулёмин, время

от времени наблюдая за ним, Всесвятский заметил его частые прогулки на Омутиху. Пусть он действительно подвержен страсти рыболова. Но почему не проверить? И однажды — это было ранней весной, когда в Мильве появился пермский жандарм в штатском, — встретился Кулёмин, отправляющийся на рыбную ловлю. В эти недели был закончен подводный лов и вообще никакая рыба не ловилась. Это показалось Всесвятскому подозрительным. Не на встречу ли с приезжим из Перми отправляется Артемий Кулёмин? Раздумывать некогда. Всесвятский окольным путём на извозчике опережает Кулёмина и ждёт его на пруду, затаившись в камышах.

Всесвятский не ошибся. Вскоре на мельничном пруду появился Кулёмин. Он шёл неторопливо, не озираясь. Дойдя до кромки камышей, Кулёмин остановился. Сел на свой ящик. Закурил.

Засевший в камышах Всесвятский не дышит. Теперь Кулёмин явно кого-то ждёт. Слушает тишину. Никто не приходит. Но придёт. Всесвятский убеждён в этом. Сумерки готовы смениться темнотой. Холодно. Мёрзнут ноги. Но пошевелиться нельзя. Ждать и только ждать. Чу! Шаги. Это он!

Нет, не он, а какой-то старик. Старик с посош-

ком. Он точно идёт на Кулёмина. Они здороваются. Что-то говорят. Обмениваются какими-то свёртками. Вскоре расходятся.

Это и было началом неожиданного открытия.

VI

Возвращаясь в Мильву пешком, Всесвятский решил, что не станет писать никакого донесения, невыгодно оповещать и наводить на след других. Уж лучше пусть это будет его открытие, которое может принести ему свободу. С волками жить можно только по волчьим законам. Всесвятский может продать чужую тайну, но не за понюшку табака. Хватит с него служить людям, которые его такой ценой избавили от каторги, — милль пардон.

Рассуждая так, он вышел на плотину, освещённую дуговыми фонарями. Вечер всё ещё наступал рано. Всесвятский и не заметил, как обогнал его мальчик в старой шубейке. Это был Санчик. Он бежал сам по себе. Всесвятский шёл сам по себе. Никакого отношения они друг к другу не имели. У каждого из них свой мир и, конечно, своя судьба. Так думает большинство незнакомых людей, живя в одном мире, в одной судьбе.

В данном случае Санчик Денисов имел слу-

чайное отношение к Антонину Всесвятскому. Он в числе других писем, направляемых в казначейство, нёс небольшую клетчатую секретку, которую миллионерша Соскина, вручая гривенник Санчику, попросила передать лично артисту Всесвятскому. Артист Всесвятский жил неподалёку от Санчика, а мать Санчика стирала Соскиной тонкие вещи. Исполнительный и серьёзный Санчик заслуживал доверия куда большего, нежели приживалка, горничная, кучер, кухаркин сын и тем более — почта.

На плотине холодно. Санчик бежит вприпрыжку, отворачивая от ветра, дующего с пруда, худенькое личико. Он, как и всякий, думает о своём. А думает он о том счастливом дне, когда его примут в судовой цех нагревать заклёпки. Тогда он будет получать больше, чем выплачивают отцу по инвалидности. Он из первой же получки купит матери валенки, отцу коробку настоящего турецкого табака, а старшей сестре Жене маленький флакончик духов. Потому что скоро вернётся младший унтер-офицер Павел Кулёмин. И нужно, чтоб от Женечки пахло, как от настоящей барышни.

Теперь уже не так долго осталось ждать до свадьбы. И тогда у него появится человек, которого

можно называть старшим братом. Павел поступит в оружейный цех и выучит Санчика тонкой работе, и тогда Денисовы заживут как люди, с обедом и ужином, с белым хлебом по утрам и с жареными пирожками по воскресеньям. И это будет большой радостью, а пока дует пронизывающий ветер. Плохо греет полысевшая шубейка. Валенки совсем прохудились от беготни по заводу, и в них набивается снег, а треушок не закрывает лица.

Встречные не обращают внимания на Санчика. Они не знают, что это бежит обездоленное детство академика Александра Васильевича Денисова… Знай бы об этом тот же Всеволод Владимирович Тихомиров, так Санчик наверняка был бы принят в гимназию, за Санчика не только вносилась бы плата за обучение, он был бы обеспечен всем… Но тогда бы… Тогда бы, наверно, и вернее всего, Санчик не стал академиком, как не станут ими те из его сверстников, которые сидят в тёплых классах мильвенской мужской гимназии.

Беги, Санчик, беги. До казначейства уже совсем недалеко. Там тепло и ты сразу согреешься, а потом помчишься домой. У твоей бабушки сегодня была богатая милостыня. Она принесла огромный кусище изюмного пирога из белой хорошей муки.

Беги, милый дружочек, беги. Беги! Валенки в общем-то не так уж худы, да и скоро весна. Потом лето. А пирог с изюмом такой вкусный, такой мягкий. И бабушка тебя так ждёт…

Наверно, не все согласны, что мы делаем такие скачки, перемещаясь в одной главе на сорок — пятьдесят лет туда и обратно. Но как быть, если книга кончится задолго до того, когда Санчик Денисов станет известным учёным. Не интереснее ли будет следить за жизнью этого робкого, незаметного мальчика, зная, какого человека вырастит из него советская власть, которая тоже ещё впереди…

Словом «судьба», как и словом «счастье» люди злоупотребляют больше, чем всякими другими словами, и в песнях, и в разговоре, и, конечно, в любовных письмах.

Антонин Всесвятский оторвал краешки секретки и прочёл её при Санчике в тот же вечер. В секретке всего лишь одна строка: «Зачем вы отвёртываетесь от судьбы и счастья?»

Санчик получил пятак. Ого! Значит, можно побежать в «Прогресс». Там новая картина про разбойников. Однако же… На ладони Всесвятского появляется ещё пятак. А затем он просит снести ответ. Сегодня. Сейчас же. Ответ был не

длинен: «Не от судьбы отвёртываюсь я, и не от счастья, а от игры судьбой и счастьем».

С этого дня Санчик мог ходить в «Прогресс» ежедневно, и всё равно оставались деньги, которые он мог отдавать матери.

VII

Весна благополучного в первой своей половине тысяча девятьсот четырнадцатого года, отблагоухав черёмухой, зацветала сиренью. На заводе множество заказов. Берут на простые работы из деревень. Санчик Денисов дождался своего. Отслужил положенный срок Павел Кулёмин. Не верилось Женечке Денисовой, что вернулся её жених.

— Не дай мне сойти с ума! Ты ли это? — При отце, при матери, при чужих людях обнимает своего Павлика верная невеста.

А он, истомившийся, изревновавшийся, ждёт не дождётся дня свадьбы. И этот день пришёл. Людно было в церкви. Самые разные люди сбежались смотреть, как венчается красавица бесприданница, не улыбнувшаяся все эти годы и майскому дню и весёлым сватам, шутками да песнями убеждавшими её сменить серого солдата на удачливого сокола с домком, с коровкой, с

лошадью, с телячьим покладистым характером, хоть верёвки из него вей, хоть масло пахтай…

Весело гуляли на свадьбе Жени Денисовой и Павла Кулёмина два друга, два шафера с белыми лентами, Санчик и Маврик. Звончей всех кричали они «горько, горько».

Счастья желают гости молодой чете, новой рабочей семье.

— А я, — с гордостью сообщает Санчик своим друзьям, — теперь я тоже буду спать на кровати, а не на полу. Павлик берёт меня жить к себе. И работать я перейду к нему в цех. Там будь здоров сколько платят!

У всех, кажется, успешно идут дела. И всё потому, что завод дымит на полную силу всеми трубами.

Бойко торгуют магазины. Чураков похваляется ещё не купленным автомобилем. В Мильве ни у кого не было автомобиля. Куропаткин еле успевает считать наличные. На складе «Пиво и воды» тоже дела идут хорошо. Сбылись сны Любови Матвеевны Непреловой. И дохи и шубы. И дрожки и ружья. И гости и в гости — нет свободного вечера.

Слухи ходят, что доверенный фирмы «Пиво и воды» не прочь сам завести своё дело и будто

бы уже рубятся брёвна для дома и помещений молочной фермы «Бр. Непреловы».

— Нет, нет, — уверяет Герасим Петрович, — разговоров больше, чем брёвен. Мне ещё служить да копить, копить да служить…

Дочка Ириночка уже отлично разговаривает и радует Герасима Петровича. Жаль только, что, кроме неё, не родился мальчик, из которого можно было бы воспитать человека с твёрдым характером и, конечно, с красивым почерком. Из Маврикия никогда и ничего путного не получится. Лодырь, фантазёр и «петрушка». Хорошо, если он станет хотя бы таким балаганщиком, как Всесвятский. Но для этого нужно иметь хотя бы его рост. А пасынок, ко всему прочему, и недоросток. Кем станет он, что из него получится, невозможно и предположить, но заранее можно сказать — ничего хорошего.

Что же можно сделать с пасынком, если в нём кровь отца?.. Герасим Петрович по-своему был прав, и можно ли строго судить его за то, что Маврик чужд ему всем своим существом. Правда, он обещал жене, себе, умирающей бабушке Маврика и, наконец, богу любить пасынка. И он старался, но не мог.

Раздумывая о Маврике, Герасим Петрович

каждый раз приходил к одному и тому же заключению — пусть растёт, как растёт…

VIII

Тётя Катя нынче решила съездить в Елабугу. Там живёт её знакомая по школе кройки и шитья. Она вышла замуж за немолодого, но обеспеченного человека и теперь каждый год приглашает Екатерину Матвеевну побывать в Елабуге, поговорить о жизни. Екатерина Матвеевна, отказываясь в прежние годы от приглашения поехать к Ложечкиным, нынче собиралась туда с удовольствием. Наверно, наскучалась за зиму. А Елабуга — это люди, пароход, Кама. Маврик тоже поехал бы с тёткой, да тянет Омутиха, тихомировская мельница. И…

И многое другое, что, может быть, не следует называть пока и про себя.

Илья с Фаней, может быть, уедут на лето к тётке в Варшаву. С Санчиком приходится встречаться реже. Он весь день на заводе. Новые друзья тоже кто куда. Омутиха — это всё-таки не худшее, что можно придумать, хотя там теперь и нет Викторина Тихомирова, а только Владик. Викторин учится в корпусе. Он кадет. Он станет морским офицером.

У Маврика в табеле одна пятёрка. Две четвёрки. Остальные тройки. Что делать! Не может же он всю жизнь держать себя в руках. Хорошо, что нет двоек.

Теперь нужно надеяться только на себя.

Мать не была обрадована табелем, а отец тем более, хотя и ничего не сказал о тройках, и, лишь слегка улыбнувшись, посоветовал Маврику:

— Я думаю, Андреич, нужно ехать завтра же с утра в Омутиху.

Маврик мотнул головой. Ему хотелось уехать как можно скорее. Он мог бы и сегодня.

Утром кучер запряг лошадь. Не Воронка, конечно. А смирного Карька, на котором любила ездить мать. Маврику впервые доверялась лошадь. Хоть как-то всё-таки был замечен его переход в третий класс гимназии.

— Не гони, — предупредил Герасим Петрович. — Поезжай не трактом, а лесной дорогой. Не трясёт, и лошади мягче бежать.

— Я знаю.

— Не вздумай распрягать лошадь сам, — предупредила Любовь Матвеевна.

— Не беспокойся, Люба, — сказал Герасим Петрович. — Андреичу нужно подрасти, чтобы снять хомут. Распряжёт Сидор.

Любовь Матвеевна ничего не сказала на это. Она молча страдала за своего сына. Ей так хотелось, чтобы Маврик укреплял её семью, а Маврик не мог этого делать, хотя и всячески старался. Наоборот, он как бы разрушал семью, вносил в неё разлад даже своим присутствием. И Любовь Матвеевна, любя своего сына, старалась при его отчиме быть холоднее и строже.

Надо понять и Любовь Матвеевну. Не может же она винить мужа за то, что Маврик прямая противоположность отчиму и отчим не может за это любить пасынка. Поэтому он, наверно и не желая, роняет усмешечки или хоть чем-нибудь да кольнёт пасынка. То невысоким ростом. То называя его «Андреич», подчёркивая этим, что он не Герасимович. В Омутихе его тоже станут называть «Андреич». Ну и пусть. Не всегда же так будет.

— Да не растеряй подарки, — наказывает Герасим Петрович. — Отдашь тючок бабушке. Не задень колесом о ворота, когда будешь выезжать. В субботу пусть ждут.

Маврик не задел колесом о столб ворот и не задел бы. Он не погонит лошадь, если б его и не предупреждали. Он любит и жалеет лошадей. И лошади любят его. Карько наклонит голову,

подставит шею, и Маврик, не приподымаясь на цыпочки, легко снимет с него хомут и легко разнуздает его. У Маврика достаточно силы, чтобы затянуть супонь самого тугого хомута. Об этом не знают. И пусть. Маврик ничего не будет делать напоказ. Всеволод Владимирович учил его презирать хвастливость. И если он ещё не научился окончательно презирать её, то всё же стремится к этому.

Легко бежит Карько по мягкой пыльной дороге через покосы. Нужно же полюбоваться, посмотреть, не произошло ли что за зиму в этом знакомом лесу. Всё-таки нет для Маврика лучше примильвенских хвойных лесов. Они темны, зато молчаливы. Не то что болтливый лиственный лес.

И если на свете где-то водятся лешие и ведьмы, то только в лиственных колдовских лесах. В сосновых, еловых, пихтовых и, уж конечно, в кедровых нечего делать нечисти. Гадюка или жаба и те не найдут приюта в хвойном лесу. А ветер и в бурю не ревёт здесь на все голоса, а гудит ровным шумом. Ш-ш-ш — шумит милый мильвенский, пахнущий смолой, грибами, сухой здоровостью, а не гнилой мокростью лес.

Если он, Маврикий Толлин, когда-нибудь на-

учится сочинять стихотворения, то лучшие и самые длинные будут про лес. Он и сейчас пробует:

Мой милый, милый хвойный лес.

Тебя я вижу снова…

Но дальше-то что?.. Нужна же рифма к слову «лес», а он ничего не может придумать, кроме «влез». Это хорошая рифма… Но как ею воспользоваться? Не скажешь же «В тебя я снова влез»… Как только мог Александр Сергеевич Пушкин написать столько стихов и все в рифму!

— Но-но, Карий… Не подслушивай, может быть, в самом деле я «трещотка», «выскочка», «петрушка». «балбес»…

Маврик вспоминает все прозвища, которые ему давались, и наконец кричит:

Мой милый, добрый хвойный лес!

В меня давно, с рожденья влез

Один престра-престрашный бес,

И я, «петрушка» и «балбес»,

Люблю тебя, мой хвойный лес!

Прокричав стихи, Маврик услышал:

Люблю и я тебя, поэт, —

Признался лес ему в ответ.

Маврик оглянулся на голос и увидел Всесвятского. Они были знакомы.

— Как вы очутились здесь, Антонин Александрович?

— Живу на даче. Снял избёнку в Омутихе. Бываю наездом. А ты к своим?

— Да, — ответил Маврик, — у меня тут дядя.

— Чудесно… прелестно… изумительно!.. — шумно радовался Всесвятский. — Теперь мне будет с кем совершать прогулки на тихомировскую мельницу… Ты знаком с Мартынычем? Это потрясающий старик…

Всесвятский без устали болтал. И Маврику, впрочем, как и всем остальным, в том числе Мартынычу, и в голову не приходила истинная цель появления здесь этого весельчака и балагура.

IX

В деревне Омутихе двадцать один дом и одна улица. Дома крыты соломой и только два или три тёсом. Все омутихинцы ходят в лаптях. И только те, что посправнее, по праздникам надевают сапоги.

Непреловы, судя по всему, относились к справ-

ным. Изба у них под тесовой крышей. Три лошади. Три коровы. Десятка полтора овец. Свиньи. Куры. Две пасеки. На одной держат пчёл, а другая — просто лес. И не маленький. Заблудиться нельзя, но не просвечивает с одного края на другой. А ходят в лаптях. Старший брат Герасима Петровича Сидор говорит про лапти:

— А в них привычнее и сподручнее.

Может быть, скупы? Да нет. Не более, чем другие.

Пашут деревянной сохой с железным лемехом. Мильва рядом. И Мильва делает хорошие недорогие плуги. Немногим дороже сохи. Суждение то же:

— Сохой-то сподручнее и привычнее.

Жена Сидора Петровича ткёт холсты, прядёт нитки. Это требует много труда. И покупная ткань обходится дешевле. И это знают все. Но снова те же слова:

— Свой-то холст привычнее и сподручнее.

И все ходят в своём сподручном холсте, в домотканой портянине.

Дед, бабка, старший сын с женой, трое взрослых детей живут в одной комнате избы. Она же и кухня, и столовая, и спальня, а иногда и помещение для телят и ягнят.

Почему бы не пристроить ещё хотя бы одну комнату? Лес рядом. Летом после сева и до покоса выдаётся свободное время. Свободного времени достаточно зимой. Что же мешает? У Сидора Петровича сильные руки. Наконец, в своей деревне есть свои дешёвые плотники.

Н-нет! Деды так жили, и мы проживём.

Может быть, им мешает жить лучше недостаток знаний, как говорит Всеволод Владимирович? Может быть, они не знают, как можно жить лучше? Но ведь Сидор Петрович грамотен. Он бывает очень часто в Мильве и знает, что при двойных рамах теплее и меньше идёт дров. Он видит, что на отдельных тарелках есть приятнее, чем, мешая друг другу, хлебать из общей чашки. Маврикова мать подарила его жене множество разных тарелок. Но их расставили на длинной полке, тянущейся вдоль стены, «для погляду». И только Маврику подают особую тарелку, и он, конечно, не ест из неё. Зачем же позволять выделять себя?!

От тараканов есть много средств, но тараканов полно. И если какой-то из них попал в щи, его преспокойно вынимают ложкой и выплёскивают, продолжая есть щи с тем же аппетитом. Маврик не брезглив, но всё же… Он никогда не

будет относиться с уважением к тому, что его отчим называет «простотой деревенской жизни». Какая же это простота? Равнодушно смотреть на ползущую по рубахе вошь — простота, и утверждать, что вошь тоже нужна, потому что она из человека дурную кровь пьёт… Это простота?

Извините, это не простота, а что-то другое. А что, Маврик не знает и сам… Но знает, что он не может и не будет уважать за это жизнь в непреловской избе.

Однако же в Омутихе много прелестей. Рожь. Лес. Речка. Рыба. Но и тут можно бы многое изменить. Через непреловский огород течёт прелестная речонка, Балагурка, приток Омутихи. Кто мешает перегородить её хотя бы самой простенькой плотиной, выкопать совсем небольшой прудик и пустить икряных карасей, линей? Ведь это же верная даровая рыба. Этого нет и не будет.

А вот прошлогоднюю дряблую редьку будут есть, чтобы она не пропадала, как и заплесневевшие грузди, совсем не думая, что попусту преющий навоз может дать ранние овощи. И без стекла. Просто паровые гряды с глубокими лунками, куда не забираются утренние весенние заморозки, которые не пускает горячо преющий навоз под грядой. Маврик помогал Краснобаевым

делать такую гряду, а у Сидора Петровича столько навозного богатства, но огурцы ещё и не думали цвести. А как скажешь об этом бабушке Ирине или дяде Сидору? Ведь нельзя же быть умнее их в двенадцать лет. А он умнее. Не во всём, а в том, что знает, что видел, что испробовал сам.

X

В этот воскресный день Маврикий собирался отправиться на мельницу к Тихомировым. Но было ещё очень рано. Младший сын дяди Сидора, очень красивый, любознательный мальчик, зазвал Маврика походить по Балагурке с вилками, поискать налимов и половить мелкую рыбёшку. Эта увлекательная рыбная ловля походила на охоту. Рыбак с удочкой или сетью зависит «от счастья». Что попадёт, то и вытащит. А тут всё зависит от ловкости, меткости, быстроты удара столовой вилкой, насаженной на длинный черенок. Это уже почти острога.

Налимы умеют не только прятаться, но, и, оставаясь на виду, притворяться суком коряги, стать неразличимыми от ила, у них сотни способов защитного притворства.

Налимы учат Маврика вниманию, неторопливости, зоркости. Они и не знают, что преподают

своему врагу спасительное умение избегать опасности. Впереди жизнь, в которой понадобится и налимья смётка.

Научившись ступать по реке бесшумно, мальчики подозревают каждое корневище, донное растение, песчаную извилинку — не налим ли это…

Вчера вечером приехали отец и мать. Маврику приятно будет показать, что и он на что-то способен. У него пять налимов, у Тиши только три. Ну так он же моложе на год, хотя выше ростом чуть ли не на голову.

Отец и мать ещё спят. Они встанут поздно. Дядя Сидор, бездельничая в воскресенье, заводит разговор с племянником:

— Андреич, ты человек учёный и должен знать, как живут мужики в других царствах. В Дерманнии там, в Америке, скажем.

— По-разному, — отвечает Маврик, — как и у нас. Один богато, другие бедно.

— Не в том вопрос, Андреич… Я хочу знать, как они живут — деревнями или своим хуторком? И что скажешь ты, Андреич, если к слову доведясь, я построюсь на своей, вон на той дальней пасеке? — и он указал на сколок леса.

— А зачем? Зачем, дядя Сидор? Разве со всеми

вместе жить хуже?

— Да не хуже, но способнее, когда всё твоё при тебе. И поле, и пашня, и выпас, и пар. Огородил своё — и сам себе царь. Худо разве своим хуторком жить?

— Скучно!

— Да отчего же?.. Летом-то уж вовсе некогда тосковать. Спалить только могут.

— Кого? За что?

— За хутор. За то, что ты от мозолей своих справен, а он от своих пролежней беден. Деревня только сыздаля на один манер. А ведь в ней, как у вас в Мильве, по разному достатку живут. Кто поуже, кто пошире, а кто и вовсе широко. Чураков, к слову. Разве на Чуракова или на какого другого купца мелкий лотошник-палатошник не носит камня за пазухой? Носит. И готов бы спалить его, в трубу пустить, да капиталы у него негоримые. В казначействе лежат. А у нас что? Ферма-то ведь деревянная будет, если ей следно быть. То-то оно и есть, Андреич. Пых — и нет тебя. Только дым да зола, а «Саламандра» много ли даст? В деревне одного тебя не подожгут. Всем гореть придётся. Хорошее дело ферма, да маятное.

Сидор Петрович разговаривал уже не с Мавриком, а с самим собой и, кажется, с непроснувшим-

ся ещё братом Герасимом…

Разговор продолжился за столом в избе, когда были поданы золотые широкие карасики, жаренные в сметане, и налимья печень, запечённая в тесте. Налимы же пойдут в обеденный пирог.

Герасим Петрович, уйдя из деревни, не расстался с ней. Он будто бы делал большой обходной крюк, чтобы вернуться сюда в новом качестве фермера. В городской одёжке, на модной застёжке, со старым скопидомским нутром.

Герасим Петрович увлечённо рисовал картину хутора-фермы, где будут добросовестно трудиться добросовестно оплачиваемые омутихинцы:

— Разве хуже им будет, если они станут работать в большом, прибыльном, хотя и чужом, хозяйстве?

Всё выходило стройно и доказательно. Коровник на тридцать, на сорок, а то и на пятьдесят голов. За ними будут ходить три бабы, а не тридцать.

— Скажи, Сидор, дешевле будет молоко?

— Дешевле, Герася.

— Или возьми ты, Сидор, тот же курятник. Пятьсот, тысяча кур — и при них одна-две работницы. И работница получит больше вдвое, а яйцо обойдётся дешевле вчетверо… Это, — слегка волнуясь,

доказывал увлечённо Герасим Петрович, — при холодном неосвещённом курятнике.

— А чем ты осветишь его? — удивлённо спросил Сидор.

— Фукалкой. Шишигины могут свой «Прогресс» осветить, а мы нет? Электричеством можно и молотить, а сливки сбивать — это уж преобязательно. Можно и паровой движок завести.

Любовь Матвеевна не вмешивалась, считая эту затею досужей и нелепой мечтой. Она ошибалась.

Герасим Петрович знал, что ему было нужно до последнего брёвнышка. В нём жил недюжинный предприниматель, созревающий капиталист земледелия. Ему кажется, что затеваемая им ферма облагодетельствует других. И если при этом он получит львиную долю, то ведь не за счёт кого-то, а только вследствие того, что сумел разумно поставить хозяйство и земля даёт ему то, что она до этого не давала. И он честными, чистыми руками будет загребать большие доходы, эксплуатируя не людей, а своё умение ставить дело. Так он обманывал самого себя. Ему очень хотелось выглядеть благодетелем, а не загребущим мироедом хотя бы в своих глазах…

XI

Дядя Сидор предложил Маврику лошадь и сам затянул подпруги седла. Маврик с плетня влез на смирного коня, опёрся носками ног на укороченные стремена и отправился на мельницу.

Кавалериста встретили не без добродушной иронии:

— Не взмылил ли ты своего Буцефала?

— Да что вы, Варвара Николаевна, я рысью-то ещё не умею ездить. Да у него, кажется, и нет рыси.

Лошадь Маврик отдал слепому Мартынычу, и тот увёл её попастись.

Как и ожидал Маврик, он встретил Фаню Кирш-баум, теперь поражавшую своей красотой и разборчивую Варвару Николаевну. В девушке было прекрасно всё. Какой-то необыкновенно мягкий смугловатый цвет лица, длинные косы, завивающиеся в жгут, тонкий нос, ослепительно сверкающие маленькие белые зубы и большие глаза. На неё нельзя смотреть долго, как на яркий свет. На яркий, но холодный. Другое дело Лера. В ней всё живёт и дышит лесом, полем, речкой, ландышами, утром, сказкой… Наверно, не случайно Варвара Николаевна на самом видном месте в

своей комнате повесила картину в тонкой рамке, где красовалась девушка с распущенными волосами, похожая на Леру, а под картиной надпись — «Лесная сказка».

Да, она лесная сказка… А Манечка Камышина и Сима Пряничникова просто так — никто, пряничные гимназистки, посыпанные сахарным песком с ванилью.

Конечно, здесь же Шумилин Геня. Пятиклассник. Удивительный художник. Он даже мелом может так нарисовать, что жаль стирать рисунок с классной доски. Теперь он рисует Фаню. Во весь рост. Картина будет два аршина высотой и шириной чуть не полтора. Наверно, Фаня на картине получится ещё прекраснее. Уж он-то постарается пририсовать и то, чего в ней нет да и не будет.

Влюблён. Ну что ж, пора. Ему пятнадцать лет. Ещё не полные, но месяц можно не считать.

Явился и Мерцаев Игорь. Его прозвали в Мильве «строганы голяшки, тёсаны носки». Потому что он не как все, а в крагах. Игорь говорит, что краги необходимы для езды на велосипеде. Врёт. Он просто хочет выделяться. Скажите, зачем ему часы с подцепком, на котором двадцать три брелока? Хватило бы одного. Пусть двух. Нет, ему нужно, чтобы все разглядывали их, а он рассказы-

вал. Это итальянская монетка. А это маленький Будда с секретной крышкой. Сюда кладётся яд.

И все:

— Зачем? Зачем кладётся яд? Ну Игорь…

А он:

— Ну право, стоит ли мне объяснять, зачем бывает нужен людям яд?

И так минут на двадцать пять, пока не переберутся все брелоки. А если этого не хватит, то у него окажется что-нибудь другое. Кольцо из цепи Фридриха Барбароссы. Платок Шаляпина. Перо из шляпы Виардо, цена которому сто двадцать пять рублей. Игорь Маврику никто.

Другое дело Воля…

Воля Пламенев… Высокий… Меднолицый. Стройный. Сильный. Он самый старший. Ему шестнадцать лет. Отличный голос. Он поёт:

Фонтан любви, фонтан живой,

Принёс я в дар тебе две розы.

Лера аккомпанирует ему. Опускает глаза. Щёки её горят. Она волнуется. Неужели боится ошибиться и перепутать клавиши? Нет, тут что-то другое. А что?

Её глаза сияют, когда она разговаривает с Пламеневым. Сияют так же, как тогда, на Ходовой улице, под господской рябиной, при встрече с

Мавриком. Неужели она его… Нет, этого не может быть.

Лера, заметив, что Маврик пристально смотрит на неё, говорит ему:

— А тебя сегодня ждёт сюрприз.

— Скоро?

— Минуты через три. Сюрприз сейчас приводит себя в порядок.

Но не проходит и минуты, вбегает Ильюша.

— Так это ты сюрприз?

— Нет, Мавр, я не сюрприз. Я только лишь гонец сюрприза. Внимание, внимание… Раз, два, три… Откройтесь двери!

Двери, выходящие на террасу, открываются. Появляется в морской форме кадет Викторин Тихомиров. Он ослепительно великолепен.

Мгновение — все замерли. Ещё мгновение — и крики, шум, объятия. Какая неожиданная встреча! Какой сюрприз! Маша Камышина на правах самой близкой подруги Леры, знавшая Викторина совсем маленьким, обнимает его и целует. Маврику удаётся пожать всего лишь мизинец Викторина. Он в этом доме всегда оказывается в смешном положении.

Освободившись от объятий друзей, Викторин подходит к Фанечке Киршбаум. Кажется, в этом

нет ничего особенного. Фаня — давняя подруга Леры. Фаня часто бывала у Тихомировых, и её никто не выделял. Однако же сегодня она и Викторин встречаются будто впервые. Взаимно восхищаясь, робеют один перед другим.

— Здравствуйте, Фаня, — говорит Викторин, а в словах слышится признание…

— Здравствуйте, Викторин, — отвечает Фаня, и в этих словах все слышат: «И вы мне очень нравитесь».

— Всё ясно, Мавр, — шепнул Ильюша своему другу. — Все они хотят выглядеть на пять лет вперёд. Фанька тоже изображает из себя княжну Мери. А мы пойдём на пруд. Там Владька с артистом Всесвятским выслеживают выдру.

Маврик отказался. Он не собирается опережать время, но и не хочет поступиться тем, что Лера разбудила в нём так рано. Зачем ей это было нужно? Может быть, ей хотелось маленького пажа? Так он не паж и не маленький, хотя и невысокий… Ему почти тринадцать лет. Им прочитан весь Лермонтов. Весь Пушкин. «Евгения Онегина» он перечитывал уже три раза. И кажется, нечто похожее происходит здесь, на мельнице. Он сегодня слышал, как она сказала:

— Воля, вас я ждала всё утро…

— Лерочка, а я не спал всю ночь…

Чего же больше? Что же ещё он должен узнавать? Оставаться здесь? Нет, ни за что на свете. Ах, Лера, как ты несправедлива! И Маврик решил вернуться в Омутиху:

— Мне очень ненадолго дядя Сидор разрешил взять лошадь. Потому что он на ней сегодня собирается пахать пары.

— В воскресенье? — спросила, понимающе улыбаясь, Лера.

— Мне нужно ехать. Всего хорошего, — раскланялся Маврик и пошёл к лошади.

Он её повёл в поводу. Догадливый Воля понял, что Маврик не сможет сесть на лошадь без помощи и стесняется попросить, чтобы его подсадили, подбежал к нему и крикнул:

— Барклай, я тебя подсажу!

Маврик не успел отказаться от этой обидной услуги, как оказался в седле.

Этого оскорбления при Лере он никогда не простит Пламеневу.

И чтобы хоть как-то оправдаться, Маврик спешился будто бы затем, чтобы подтянуть подпругу. А потом, не зная как, он вставил ногу в стремя, не зная почему, его нога вдруг сделалась длинней. Вскарабкавшись в седло, не оглянувшись, он

дёрнул поводьями. Лошадь побежала рысью, и он усидел в седле.

О, мы ещё с тобой поспорим, удачливый соперник!..

XII

Пока мальчики и девочки играли во взрослых, Антонин Всесвятский играл в юнца, который вдруг проснулся в нём и потянул на речку ловить раков, выискивать норы зверей, спать у костра. По-прежнему никто не задумывался, зачем Всесвятский стал бывать на тихомировской мельнице. Кулёмин ничуть не удивился, увидев его здесь.

Всесвятский пел, читал монологи, изображал знакомых. Был очень прост, приятен, неназойлив, стеснялся оставаться к чаю и наконец исчез. Ему здесь больше было делать нечего. Он раскрыл секрет Омутихинской мельницы и установил следы, ведущие на Песчаную улицу в штемпельную мастерскую Киршбаума… Всесвятский понимал, что Дизель, Кулёмин и Киршбаум не одни. И если он получит надёжные гарантии на освобождение от принудительной обязанности шпионить и доносить, то по этим трём концам распутает всё остальное. И тогда прощай навеки Мильвенский

завод и здравствуй миллион! О Натали, я жду тебя в Париже!

И он спросил у чиновника, приехавшего за донесениями мильвенских агентов:

— Что должен сделать я для своего освобождения? Какая заслуга может избавить меня от этой нелёгкой и не столь почётной службы?

Приехавшим был на этот раз некогда молодой, подававший надежды следователь Саженцев, упустивший Тихомирова и всё ещё выслуживающийся за эту оплошность перед начальством. Искупающий свою вину не отличался мягкостью. Саженцев ответил Всесвятскому со всей издевательской определённостью:

— Из ведомства, которое я имею честь представлять, можно уйти только на каторгу или на виселицу.

Это было вполне достаточным ответом, чтобы отрезать Всесвятскому всякие надежды на свободу. Но Саженцеву показалось недостаточно сказанного. И он спросил:

— Аполлон, тебя ещё никогда не драли вот этакой витой эластичной проволочной плетью, которая легко умещается в кармане и оставляет длительные воспоминания на спине?

— Нет, — ответил Всесвятский, наклонив голо-

ву. — И смею надеяться, я этого не заслужу.

— То-то же, — пригрозил Саженцев, пряча складную плеть в карман пиджака. — Теперь распишись, хотя ты и не заслужил этих денег. Но нужно же на что-то существовать.

Всесвятский расписался. И ему была вручена ровно половина суммы, значащейся в расписке. Он получил пятнадцать рублей.

Если бы Саженцев знал в эти минуты, что уходит из его рук… Ведь это же прощение за побег Тихомирова, это же чины, награды, деньги. Шутка ли, Саженцев раскрыл крамольную типографию, разведал большевистское подполье, обезвредил от внутренних врагов императорский Мильвенский завод…

О бессердечная фортуна сыскной собаки, ты была готова улыбнуться… Что стоило Саженцеву солгать, пообещав Всесвятскому свободу, зачем понадобилось угрожать складной патентованной плетью, ведь Аполлон готов был начать торг и откупиться болтат головами Кулёмина, Киршбаума, Мартыныча… А что теперь? Теперь прощай жандармская удача…

Если обида сумела удлиннить ноги Маврику, то можно себе представить, как был потрясён Всесвятский тупым среди тупых, подлейшим

среди подлых. С ним рассчитается Всесвятский. Петербург и губернатор будут знать, каков он гусь и как довёл полезнейшего агента Аполлона до измены и побега.

Придя в себя, дав охладиться воображению, Всесвятский взвешенно перепроверил всё и начал действовать…

Ему нетрудно было изобразить отчаяние, сыграть роль колеблющегося самоубийцы, придумать самое невероятное и заставить поверить в невозможное.

— Я проиграл себя в карты коварной женщине, — признался он, рыдая, Наталье Соскиной. — Сто тысяч или я ей принадлежу.

— Хоть двести, — бросилась к нему на шею Соскина. — Хоть триста, но не ты…

— Нет, Натали. Ни то и ни другое. Беден, но горд твой Антонин. Есть лучше выход. Их два: пуля или побег.

— Побег! Со мной. Куда угодно, хоть на край земли…

— Когда?

— Хоть завтра, хоть сейчас.

Соскина даже не поинтересовалась, как, при каких обстоятельствах, какой коварной женщине мог проиграть себя в карты Антонин. Ей и

не нужно было выяснять этого и, чего доброго, выясняя, уличить Всесвятского во лжи. Ей нужен был он. Ей был нужен и побег. Побег от гласности, от сплетен, от кривых усмешек. Правда, при её деньгах она может пренебречь всем этим, но если даже Санчику Денисову не удаётся скрыть в своих глазах презрение к ней, то что же говорить об остальных.

Молва — ничто, но власть её сильна. Соскина уже слышала, как ночью, когда она проезжала по плотине, чей-то голос пропел: «У красавца Антонина есть богатая перина…» Можно не обращать внимания на всякую чепуху, но лучше её не слышать. И чего ради сидеть в Мильве, когда мир так велик. И не солить же деньги…

Решено. Он исчезает первым. Затем уезжает она. Сначала в Нижний. А потом в вояж.

Наутро тысячи были в его кармане. Он мог свистнуть извозчика… И будто бы отправляясь в деревню Омутиху, оставить Мильву. Но что-то удерживает Всесвятского. Что-то он ещё должен сделать здесь. Может быть, проститься с Григорием Киршбаумом? Кажется, это так и есть. И он идёт к нему.

Григорий Савельевич проводит Всесвятского к себе наверх. Они же в давних хороших отноше-

ниях. Всесвятскому хочется сказать, что он… спас Киршбаума. А разве он — спас? Он всего лишь не предал.

Но что-то нужно сказать. И он говорит:

— Ты знаешь, Грегор, люди не всегда могут быть откровенны, как им хотелось бы. Ты не думай обо мне лучше, чем следует, но и не думай хуже, чем надо. Я пришёл проститься…

— Ты уезжаешь? Надолго?

— Навсегда. И больше мне не задавай вопросов. А слушай, что я скажу. — И он стал говорить, будто диктуя в классе: — Не допускай к себе близко Шитикова из «Саламандры», провизора Мерцаева и приказчика Козлова из магазина Куропаткина. Да хранит тебя бог. О моём отъезде ты ничего не слышал от меня. Так лучше для нас обоих. Прости меня и за то, в чём я не виновен перед тобой, но мог бы быть виновным….

Последние слова были произнесены с такой слезливой сентиментальностью, что Всесвятский на минуту поверил в свою искренность и своё благородство. И ему показалось, что этому благородству, а не чему-то другому, обязан Киршбаум, оставаясь на свободе.

В этот день Антонин Всесвятский покинул Мильву. Искать его начали только спустя неде-

лю.

Лови ветра в поле.

Об исчезнувшем Всесвятском в кружке Комарова говорили как о незаурядном революционере, бежавшем с каторги и скрывавшемся в Мильве. Пристав Вишневецкий хотя и молчал, но, кажется, был такого же мнения.

Вторая глава

I

Деревня, где скучал Маврикий,
Была медвежьим уголком,
По праздникам хмельные крики,
По будням – каша с молоком.

Этими строками начинался роман в стихах, ещё не получивший названия. Его автор, уединившись на дальней пасеке, не был уверен, что главный герой романа будет называться Маврикием. Он придумает другое имя, но пока оно не находится. Ничего, найдётся, когда напишется всё, а теперь с черновых листков нужно переписать в тетрадь те строки, которые уже сочинились. И Маврикий переписывал:

Мой дядя самых честных правил:
Своим хозяйством строго правил,
Гречиху сеял, лён и рожь,
Не брал чужого, но – не трожь
Его мочальное богатство…

Он почитал за святотатство
Есть свежий хлеб, коль чёрствый есть.
За что хвала ему и честь.

Переписав, а затем перечитав эти строки, сочинитель радовался, что у него уже начало получаться не хуже, а местами лучше, чем у Александра Сергеевича, которого он полюбил во втором классе гимназии окончательно и на всю жизнь.

Теперь нужно найти в ворохе бумаг листок о ферме «мон-пер». Вот он:

А брат его, от вас не скрою,
Совсем был на другую стать.
Хотел он ферму здесь построить
И фермером молочным стать.
Но, боже мой, какая скука
Сидеть на ферме день и ночь,
Картошку есть с зелёным луком,
Не быть в «Прогрессе» и не мочь
Её увидеть хоть глазком.
Убечь отсюда хоть ползком,
Хоть тараканом, хоть ужом.
Ужо тебе «мон-пер». Ужо!

Здорово! И главное, французские слова тоже есть. Без них какой же роман в стихах! Не зря у него нынче четвёрка по французскому языку. Теперь нужно дописать что-то ещё о полях, о лесах, о том, как герой романа, взмылив коня, появляется на мельнице, которая может быть и не мельницей, а старинным замком. А потом сразу переходить к этому листку:

На скакуне он прискакал
И там Огнёва увидал.
Он пел романсы, танцевал,
Своим хвалился длинным ростом.
И восхищал легко и просто
Дворянку столбовую Веру,
Которая совсем не в меру
Влюблялась чуть не каждый день,
Забыв о верности, о долге,
И вызывала кривотолки
Среди окрестных деревень.

Маврикий опять перечитывает переписанные строки. Ему не верится, что это он сам мог написать такие стихи, которые заставляют даже его утирать слёзы, а уж она-то поймёт и оценит, как

жестоко было с её стороны обращать внимание только на рост и на голос. А что рост? Какую роль он играет? Пушкин тоже был маленького роста.

Дальше, дальше… Его, наверно, ждут уже к обеду. Пусть ждут. Ему не до похлёбок. В нём горит огонь возмездия. Он ему бросает вызов.

Не торопись, рука. Не искривляйтесь, строки. Разве ты забыл, что служенье муз не терпит суеты? Пишитесь же ровнее, строки:

Перчаткой новой шерстяною
Был сделан вызов. Трус молчит,
И за плотиной водяною
Боится он скрестить мечи…
Но секундант, моряк бывалый,
Стыдит Огнёва. Иля тоже,
Такой хороший, славный малый,
Назвал его… какой-то рожей…
Огнёв трясётся и немеет.
Боится схватки, но не смеет
Признаться в трусости при Вере,
И он, в себя совсем не веря,
Кляня злосчастную судьбину,
Поплёлся тихо за плотину.

В первом замысле своего романа Маврикий Толлин на поединке за мельницей хотел убить Огнёва, но потом передумал. Униженный и обиженный Пламеневым, выплакав из-за него столько горьких слёз первой мальчишеской ревности, он всё же не мог так жестоко поступить с ним. Да и кроме этого, если дуэль будет со смертельным исходом, то нужно дописывать очень много строк. Должна же появиться полиция. Затем суд. Затем пермская тюрьма..

И героем получится не он, а Огнёв. Не лучше ли, показав своё превосходство, сжалиться над ним, затем наказать его изгнанием?

Так и было сделано.

И далее — прямое объяснение в своих чувствах, заполняющих всю его душу, всего его:

О Вера-Лера, я люблю!
Твой взор невиданный ловлю,
И ночь не в ночь, и день не в день,
Брожу, как сумрачная тень.
Пусть я иссохну, как скелет.
В мои почти тринадцать лет.

Рыдания душат Маврика, слёзы заливают последние строки романа в стихах. И пусть. Даже

лучше. Всё равно он не будет больше переписывать. Завтра его двоюродный брат Тиша Непрелов отнесёт ей эти листы, и она, потрясённая, придёт и скажет, как тогда:

— Я уважаю вас, Толлин. Вас нельзя не уважать.

Только этого и хочет он. Даже, может быть, меньше. А то что же получается? Отец и дядя Сидор, да и все Непреловы относятся к нему с усмешечкой. Мать тоже любит его как какого-то неполноценного. Викторин в своей морской форме вообще ко всем сухопутным относится свысока, и Маврик при нём как один из свиты. Санчик, хотя и моложе Маврика на год, но завод сделал его старше чуть ли не на два года. Они не поссорились, а отдалились. Илья тоже находит, что Маврик ведёт себя неправильно, а он — правильно.

Родиться бы ему лучше в обыкновенной кулеминской семье, и работать бы на заводе, и не знать бы Викторина, Леры и вообще… И вообще, эта милая, хорошая гимназия ведёт его куда-то не туда.

II

Варвара Николаевна Тихомирова пришла в Омутиху, чтобы поговорить с матерью Маврика. И, встретившись, она сказала:

— У впечатлительных и одарённых мальчиков иногда бывает ранняя влюбчивость. Она проходит, как и всякое возрастное заболевание, и проходит тем скорее, чем заботливее и внимательнее лечат её.

Затем она рассказала очень мягко, с доброй улыбкой о том, как Маврик воспылал нежными чувствами к её внучке, и умолчала о романе в стихах, боясь навлечь гнев вспыльчивой матери.

— Я и сама замечаю, что мой сын сам не свой. Бродит по лесам, прячется от людей. Бормочет во сне. Исхудал. Провалились щёки. Неужели он… Но ему не исполнилось и тринадцати. Тринадцать будет в октябре.

На это рассудительная Варвара Николаевна сказала:

— Природа, нередко бывая торопливой, опережает возраст. В этом я не вижу ничего опасного. Мальчику нужно помочь. Хорошо, если б он съездил куда-нибудь. Отвлёкся. Ему нужны новые впечатления. А потом уроки… школьные мастер-

ские, и он вернётся в свою колею.

У Любови Матвеевны ум был быстрый. Она, ещё не распростившись с генеральшей, решила, что Маврикий поедет в Елабугу и вернётся оттуда с тёткой.

Вечером она, приласкав сына, сказала ему:

— А не поехать ли тебе в Елабугу за тёткой?

— Одному? — спросил Маврик.

— Ты же перешёл в третий класс. Неужели тебе в провожатые нужна какая-нибудь Панфиловна, — вспомнила она старуху, которую нанимали для него в Перми.

— А когда?

— Да хотя бы завтра. Твоя тётка так будет рада!

Любовь Матвеевна иногда ревновала сына к сестре. Она знала, что Маврик свою тётю Катю любит больше матери. Но она также знала, что, выйдя второй раз замуж, она приблизила Маврика к тётке.

Вот и сейчас, видя как обрадовался он, Любовь Матвеевна глубоко вздохнув, прижала к своей груди сына и, целуя его кудри, искала слова успокоения. Они нашлись. И она поняла, что бог или судьба, или ещё какая-то сила вознаграждает Маврика любовью тётки за отнятое у него.

Как хорошо, когда находятся успокаивающие

объяснения…

Самостоятельная поездка в Елабугу — очень серьёзное путешествие. Елабуга не Омутиха. Как можно не сообщить Тихомировым о своём отъезде? Нужно же проститься и узнать, какое впечатление произвёл на Валерию роман в стихах. Жаль, нет Гарольдова плаща, и неизвестно, каков он, этот плащ. Но можно взять мамину клеёнчатую накидку от дождя. Небо, кстати, хмурится.

Приятно быть Гарольдом. Накидка развевается, шуршит. В страхе убегают в рожь какие-то зверюги из семейства грызунов. Где-то погромыхивает гром. Гроза опять пройдёт, наверно, стороной. Явиться бы при свете молний, при дожде. Мокрый плащ изумительно блестит. Но ничего и так. Его заметили на мельнице. Она идёт ему навстречу.

— Ты в дорожном? Здравствуй!

— Здравствуйте. Пришёл проститься.

— Как?

— Наскучило в деревне. Решил пуститься в странствия.

— И далеко? — спросила, кажется волнуясь, Варвара Николаевна.

— Пока в Елабугу.

— Ничего себе «пока». Да это же почти на край

земли…

— Ну что вы, Варвара Николаевна, — не хотел преувеличивать Маврик. — За Елабугой ещё Казань, а за Казанью Нижний Новгород, а за Нижним Новгородом Ярославль и Рыбинск…

Дальше Рыбинска, конечной пристани, куда ходили камские пароходы, Маврик не знал, что может быть названо.

Оставшись в саду с Лерой, Маврик ждал, что Лера первая заговорит о переданной ей тетради Но Лера говорила о том, как хорошо на Каме летом. При чём тут Кама? Что за невежество. Как можно говорить о чём-то постороннем, когда он ждёт её признания, её восторгов.

И он спросил её:

— Валерия, вы разве не читали?

— Ах, да… Ну как же не читала? Читали вместе с бабушкой.

— И вам понравился роман?

— Конечно. И бабушке, и мне.

— Уйма остроумия, — присоединилась к внучке вернувшаяся Варвара Николаевна. — Бездна каламбуров! Я восторгалась некоторыми строчкам до слёз. Особенно прелестны те, где бежал Огнёв быстрее лани, мелькали только его длани. Милейшие курьёзы. Прелестная пародия. Я за-

учила наизусть.

Но секундант, моряк бывалый,
Стыдит Огнёва, Иля тоже.
Такой хороший, славный малый.
Назвал его какой-то… рожей, —

продекламировала Варвара Николаевна. — Это же просто великолепно. Смешить в таком высоком штиле могут лишь очень серьёзные люди. Блестящий, тонкий юмор!

— Да, бабушка, да, — сказала Лера. — Это просто очаровательно. Особенно хорошо написано о том, как Вера влюблялась чуть ли не каждый день, вызывая кривотолки среди окрестных деревень.

— О, несомнено, несомненно, — принялась опять расточать свои похвалы Варвара Николаевна. — По-настоящему может смешить лишь тот, кто это делает с серьёзным лицом, будто не желая рассмешить. Это дано не многим людям.

Маврик не показал своего негодования на то, что написанное всерьёз принималось ими как шуточное произведение. Ему показалось ненужным да и невозможным спорить с ними. Они отрезали все пути для возражений. Поэтому он, снимая дождевую накидку матери, сказал, сдерживая волнение:

— Я очень рад, что насмешил вас. Я так люблю смешить. Поэтому, наверно, мой папа Герасим Петрович Непрелов называет меня петрушкой. Любя, конечно. Он очень любит меня…

Затем Маврик, простившись с Тихомировыми, ушёл, не позабыв взять свою тетрадь с романом. Он не накинул на себя плащ, хотя и накрапывал дождь. Варвара Николаевна и Лера провожали Маврика глазами. Его голова виднелась в ржаном поле, через которое шёл он, спрямляя дорогу, по меже.

— Не кажется ли тебе, Лера, — спросила бабушка внучку, — что Воля Пламенев слишком часто бывает у нас на мельнице и неумеренно расширяет круг песен и романсов, которые он исполняет?

— А почему ты спросила об этом, бабушка?

— Я спросила об этом потому, что его романсы производят очень большое и, как мне кажется, преждевременное впечатление на Викторина и Фанечку Киршбаум…

Варвара Николаевна умела говорить, а Лера умела слушать и понимать сказанное.

III

Чем ближе к Перми, тем шире Кама. На пароходе тесно, как никогда. В эти июльские, предъярмарочные дни всегда бывает множество пассажиров и грузов. От больших купцов до малых торгашей — все стремятся в Нижний Новгород. Одни — продать, другие — купить. На знаменитую Макарьевскую ярмарку стекаются тысячи всяких и разных людей со всех концов света. Переполненным и шумным становится Нижний Новгород в эти ярмарочные недели неописуемой пестроты и азартного торга всем, что продаётся и покупается.

И не придумаешь лучшего места для тайных встреч, нежели Нижегородская ярмарка. Попробуй уследи в этом беспрестанном движении тысяч людей, кто и с какой целью приехал сюда. Сумей проверить, кто и зачем встречается здесь в несчитанном множестве ресторанов, трактиров, кабаков, в пригородных сёлах, где также сдаются приехавшим комнаты, избы, углы, сараюшки. Узнай, о чём говорят уединившиеся там и сям люди. Свершают ли они деловые сделки или сговариваются о недозволенном.

Анна Семёновна третий раз едет на ярмарку,

где у неё и в этом году будут встречи с такими же, как и она, прилично и нарядно одетыми господами. Встреча с каждым из них будет похожа на свидание, и никому не придёт в голову помешать всё ещё цветущей женщине очаровывать молодого франта или коммерсанта почтенных лет.

Нынче Анна Семновна едет с детьми. В Мильве она объяснила это тем, что закупки в Нижнем у неё не столь велики, потому сын и дочь, которым нужно доставить удовольствие, не свяжут её. В действительности же Фаню следовало остудить на палубе парохода. Она слишком часто виделась наяву и во сне с красавцем в морской форме Викторином Тихомировым. Помня себя в пятнадцать лет, Анна Семёновна понимала, что эти годы куда опаснее для девушки, нежели последующие. Не кто-то, а она поцеловала впервые Гришу Киршбаума на шестнадцатом году и пообещала стать его женой. Но то был Гриша, стоящий на своих ногах. Наборщик из Петербурга. Старше её тремя годами. А этот бабушкин любимец — пока ещё школяр, стяжающий внимание своих сверстниц. Одним словом, Фаню не следовало оставлять в Мильве. А взяв её, как можно было не взять сына. Тогда стало бы слишком ясно, почему она увозит дочь.

Маврик, мечтавший о самостоятельной поездке в Елабугу, не мог не задержаться на несколько дней, чтобы отправиться вместе со своим другом. И вот они стоят на палубе и ждут поворота реки, за которым будет видна Пермь. Там они проведут весь день. У Анны Семёновны в Перми дела. Ей нужно побывать у портнихи, что-то купить в магазинах… И очень хорошо. У Маврика с Ильёй в городе ещё больше дел. Нужно поздороваться с улицами, домами, побывать в музее, пройтись мимо здания окружного суда, заглянуть на знакомый двор старой квартиры, сходить на кладбище к отцу, посмотреть в бинокль на окна тюрьмы, — а вдруг там окажется знакомое лицо? От Ивана Макаровича с тех пор никакой весточки. Если останется время, то можно забежать в Богородскую церковь, — может быть, жив старик сторож. У Александры Ивановны Ломовой школа теперь на замке, но не пройти мимо неё нельзя.

И вот она, Пермь. Всё та же белизна домов. Все те же пристанские запахи. Всё тот же гул набережной. Знакомая пристань, а на пристани, что совсем уж невероятно, Терентий Николаевич Лосев.

Как он очутился здесь? Зачем он встречает их?

Ильюша и Маврик довольны встречей со своим

старым другом. Такой приятный случай. Они не знают, что этот случай готовился с весны. Анне Семёновне трудно, да и невозможно везти при себе тяжёлый груз. А нанимать носильщиков рискованно для груза и для неё. Терентий Николаевич, выехав неделей раньше, побывал уже в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле. В коробках, залитых халвой, в дуплянках с мёдом привёз он штемпельные подпольные подарки. Вхожий всюду, легко сходящийся с людьми, прирождённый весельчак, не теряющийся в трудные минуты, Терентий Николаевич стал незаменимым экспедитором рискованного багажа.

Здесь им предстоит пересадка на большой, так называемый низовой пароход. Во второй, сравнительно недорогой класс билетов не оказалось. Это не огорчило Ильюшу и Маврика. Они ещё не ездили в первом классе, да и Анне Семёновне спокойнее здесь за свой багаж, доставленный Терентием Николаевичем в хороших кожаных чемоданах.

Анна Семёновна входит в роль пассажирки первого класса, чтобы не выглядеть здесь белой вороной.

Не наглядится Фаня на свою нарядную мать. Нежно приникает к ней. Дочери так хочется

рассказать, как робок был с нею отважный, не знающий страха Викторин. Как послушен он ей. Как он был счастлив, когда она разрешила ему взять себя под руку. Разве можно сказать об этом маме, разве она сумеет понять и поверить, что Викторин и Фаня обручены, не сказав об этом друг другу ни одного слова. Да и зачем им говорить о том, что может быть огрублено словами? Для этого есть сердце, глаза, поступки…

— Ты, кажется, повеселела, моя девочка? — спрашивает мать. — Я так рада, что поездка на пароходе хорошо действует на тебя.

Медленно проходят камские берега, слева низменный луговой, справа крутой глинистый. Кругом такое умиротворение, такая благодать и тишина.

Пока тишина… добрая, успокаивающая тишина…

IV

Солнце ещё не село за берег Камы, когда протяжный свисток «Анны Степановны Любимовой» известил Елабугу о намерении пристать. Маврик уже разглядел в бинокль свою тётю Катю. Она стояла рядом с какой-то женщиной. Наверно, это и была та самая Валентина Ивановна, которая

училась когда-то с тётей Катей кройке и шитью, а теперь она жена старика, который стоит позади неё.

Пароход сделал круг, чтобы причаливая к пристани, стать носом против течения. Опять все толпятся. Кто-то кому-то кричит: «Здравствуй, Серёжа!» Маврику ни до кого нет дела, он видит только свою тётю Катю в нежно-кремовой плетёной косынке, в новых очках с нарядной золотой оправой. Как они ей идут! И вообще лицо тёти Кати становится всё лучше и просветленнее. Другого слова и не подберёшь. Потому что слов не так много, как раньше казалось Маврику.

Терентий Николаевич, Анна Семёновна, Илюша передают Екатерине Матвеевне пассажира первого класса, знакомятся с Валентиной Ивановной и её мужем Иваном Прохоровичем Ложечкиным. Глядя на него, Маврик думает: а могло бы случиться и так, что не Валентина Ивановна, ровесница тёти Кати, а тётя Катя оказалась бы замужем за этим Ложечкиным. Как это было бы печально! Лучше не думать об этом и не пускать в голову таких дурацких мыслей.

— Такая приятная встреча, — говорит Екатерина Матвеевна. — Очень жаль, что недолго стоит пароход, а то бы…

— Извините, Екатерина Матвеевна, — стала прощаться Анна Семёновна. — Фанечка у меня одна в каюте. А во время стоянок случается всякое.

Ильюша и Терентий Николаевич простились на берегу, где Ложечкиных ожидала удивительно красивая чёрная лошадь, запряжённая в сверкающий экипаж.

Возвращаясь, Терентий Николаевич, молчавший до этого, сказал, указывая на Каму:

— Жизнь, Илюшка, схожа с рекой не только лишь тем, что она тоже течёт, но и тем, что виляет, поворачивает куда надо и куда не надо.

Говоря так, он имел в виду красавицу Валю Токареву, дочь коренного рабочего, за которую сватались хорошие парни. Но девушка мечтала о богатстве и вышла замуж за Ложечкина.

Старик Ложечкин произвёл на Маврика в общем-то неплохое впечатление. Сам старый, а глаза молодые, совсем как у Санчика Денисова. Но больше, чем Ложечкин, Маврику понравился Чародей. Этого коня и нельзя было назвать другим именем. Он, чаруя, останавливает каждого. Чёрный, блестящий. Стройный, тонконогий. Шелковистая грива. Пугливые тёмные, с синеватыми белками глаза. За этого коня, как узнал Маврик, посыльный от знаменитых елабужских

богачей Стахеевых предлагал столько, сколько и во сне не приснится. Но Иван Прохорович ни за что не продаст своего Чародея, особенно Стахеевым, которые разорили множество купцов, таких, как Ложечкин.

Иван Прохорович назывался громким словом «заводчик». У него было два завода: свечной и салотопенный. Свечной завод представлял из себя сарай с окнами. В нём работали двое стариков и один парнишка. Салотопенный завод находился за городом. Потому что, как сказала тётя Катя, от него идут плохие запахи. На этом заводе вытапливают из различных отбросов и даже из «дохлятины» сало для свечей. Работают два незаменимых мастера, потерявших обоняние.

Валентина Ивановна жила хорошо. Видимо, салотопня и свечной завод давали не такой уж маленький доход. Кирпичный двухэтажный дом. Семь комнат, а живут вдвоём. Кухарка, горничная, конюх. Никаких коров, кур, свиней нет. Зато пять лошадей, и все беговые, призовые лошади.

Елабуга — город весёлый. Но такой он, видимо, только летом. В Елабуге есть что-то от Перми и что-то от Мильвы. Наверно, деревянные дома. Но у Елабуги своё лицо. Это уездный город-купец. Во всяком случае, таков его центр.

Главная фамилия в городе — Стахеевы. И это не просто фамилия, а второе слово после слова «Елабуга». Стахеевы здесь имеют ко всему отношение. Они сильнее губернатора. Они почти царствующий дом. Стахеевы могут сделать всё. Поднять человека, осыпать его милостями. А могут и разорить, уничтожить, стереть с лица земли.

— У них столько капиталов, — сказал за ужином Иван Прохорович, — сколько их нет во всей Елабуге. И если продать Елабугу со всеми её домами, церквами, лавками, то всё равно денег выручишь меньше, чем у Стахеевых.

Оказывается, купцы тоже не одинаковы. Однако же у всех у них самое главное — моё. Моя салотопня. Мой Чародей. Моя выгода.

Утром на другой день приезда Маврика, когда у Ивана Прохоровича был его приказчик, было сказано:

— Свечи попридержи, а всё годное на сало скупай сколько возможно. Не бойся переплатить копейку. Из Казани идёт слух, что начинается мобилизация, и всё будет в спросе.

Подробности о войне Маврик узнал вечером. На улицах Елабуги было особенно много народу. Говорили, что сыр-бор загорелся от гимназиста по фамилии Принцип, который убил наследника

австрийского престола Франца-Фердинанда в городе Сараево.

Как это неожиданно для Маврика! Во-первых, гимназист, во-вторых, город Сараево — почти что пристань Сарайск на старом зашеинском дворе. Наверно, в Мильве тоже знают о войне.

Маврик не ошибался. В Мильве уже бегал по улицам босой Тишенька Дударин и пророчествовал: «Мы их шапками закидаем, а ихнего кайзера валенком пришибём».

Так же примерно говорили в Елабуге. И говорили не юродивые, а солидные люди. Какой-то и чего-то попечитель специально приходил к Ивану Прохоровичу, чтобы рассказать о войне.

— Наша доблестная армия управится с ними до жёлтых листьев. Насквозь их пройдут.

Солдаты, проходя строем по улице, пели переиначенную песню. Вместо турецкого царя запевала, выкрикивая, называл царя германского:

Пишет, пишет царь германский,
Пишет русскому царю:
Побежду я всю Европу,
Сам в Расею жить пойду.

В конце песни нахальный царь, имя которого

было теперь у всех на устах, получал по заслугам. И это очень радовало мальчишек. Радовало и Маврика. Спустя ещё день из Казани пришли самые свежие газеты. От Елабуги до Казани триста тридцать вёрст речного пути. Елабуга живёт вчерашними новостями. Новости подтверждали, что война будет короткой, что неприятель будет отомщён. Воинственные мужские кличи раздавались и ночью, но вскоре вплелись плачущие, причитающие женские голоса.

Началась всеобщая мобилизация.

— Не забрали бы на войну Герасима Петровича, — сказала за обедом тётя Катя и тут же успокоила себя: — Наверно, таких, как он, не будут брать.

И Маврик думал так же. Какой же может быть солдат из его второго отца, когда он ходит в накидке с бронзовой цепочкой и бронзовыми головами львов? Артемия Гавриловича Кулёмина тоже не могут мобилизовать. Он же в оружейном цехе, а ружья будут нужны.

На пристанях стоял рёв. Плакали и гармошки, делая вид, что они играют весёлое. Наступил какой-то сплошной Екатеринин день летом. Мобилизованных отправляли на баржах. Это дешевле и удобнее, чем на пароходах. Гнали в

Казань и пешим строем. Особенно из деревень.

V

Война с первых же дней коснулась всех. По-разному, но всех. И если в первые дни она была как гром среди ясного неба, то уже на вторую неделю с ней примирились, как с чем-то неотвратимым и не зависящим от того, кто бы и как бы в Елабуге к ней не относился. Изменить ничего было нельзя. И даже сам царь не мог бы сейчас заставить замолчать пушки, начавшие смертельную огневую перебранку. В войну вступили Франция и Англия.

Пожар разгорался нарастающе и неугасимо, но его пламя было далеко от Елабуги. За Московй, за Смоленском, за Варшавой. Поэтому Иван Прохорович сказал:

— Молиться о даровании скорой победы надобно, а уху съесть на бережке тоже следует…

На берегу весёлой речки Тоймы состоялся пикник. Съехались главным образом лошадники — друзья Ивана Прохоровича. Маврик и его тётка поехали с Валентиной Ивановной, а сам хозяин на Чародее, запряжённом в лёгкую, похожую на беговую тележку. Нужно было промять коня.

Сначала было всё хорошо. Разостлали ковры,

постелили скатерти, развели костёр. Кучера занялись ухой, а остальные войной. Считали по дням, прикидывали по вёрстам, и выходило, что германского императора Вильгельма и австрийского Франца-Иосифа привезут в Питер на поклон в сентябре и уж никак не позднее Покрова дня.

— Оно конечно, — рассуждал Иван Прохорович, закусывая икоркой выпитую водочку из серебряного пикникового бокальчика, — им, как бывшим царям, приставят слуг-прислуг и, может быть, сохранят при них каких-то там вельмож, баронов, графьёв, а всё же жизнь где-нибудь на вечном поселении будет окаянная. И поделом. Не воюй! Не зарься на чужую землю.

Когда участь императоров была предрешена и их империи разделены между союзниками, а уха доедена, захотелось дать по кружку на лужку. И велено было запрячь лошадей.

Валентина Ивановна не советовала этого делать мужу, но Иван Прохорович её не послушал, и кончилось плохо.

На втором кругу колесо тележки Ивана Прохоровича наскочило на пень, скрытый травой. Тележка перевернулась, Чародей протащил Ивана Прохоровича на вожжах. Кучера еле остановили лошадь.

Ивана Прохоровича отвезли в больницу. Вечером сообщили о переломе трёх рёбер. Валентина Ивановна осталась ночевать в больнице. Утром она сказала Екатерине Матвеевне:

— Надежд мало. — И в голосе Валентины Ивановны, и в выражении её лица не было желания, чтобы надежд на выздоровление старого мужа было больше.

Маврик не произносил скверных слов. Они были у него, но не на языке. И он, глядя на плачущую Валентину Ивановну, назвал её беззвучно злым словом, которым все называли Соскину.

— Ложечкиным не до нас, — сказала Екатерина Матвеевна Маврику, как только они остались одни. — Да и время теперь не для гощений.

Екатерины Матвеевны не было почти весь день. Маврик слонялся по надоевшим ему улицам чужого города, думал о Мильве, об Ильке, о Санчике. Одному даже хорошее мороженое кажется не таким вкусным.

На другой день племянник и его тётка возвращались в Мильву.

Екатерина Матвеевна подолгу просиживала в каюте, не показываясь на палубе. Тягостной была эта поездка. Пароход против течения шёл медленнее. Все говорили только о войне и победе. Опять

встретилась баржа с мобилизованными. Её тянул дымивший чёрным дымом буксирный пароход.

Опять на палубе появились пассажиры с платками для приветствия мобилизованных. У одного был даже трёхцветный флаг. Они будут махать барже и выкрикивать воинственные напутствия. Пароход опять даст, поравнявшись с баржей, короткие вдохновляющие свистки. Помощник капитана обязательно скажет в рупор: «Возвращайтесь с победой».

Пожилая женщина, похожая на учительницу, стоявшая на палубе неподалёку от Маврика, тихо сказала:

— Все ли вернутся они к своим семьям? А если и вернутся, то, может быть, без руки или без ноги. Война только на картинках да в песнях удала…

Маврик решил рассмотреть мобилизованных. Он приложил к глазам бинокль и стал разглядывать едущих на барже. Это были люди в лаптях, в сапогах, с котомками, с дорожными сундучками, в плохой одежде. Всё равно бросать. Дадут казённую. В бинокль было отлично видно и выражение лиц. Баржа быстро пробегала в поле зрения бинокля, и Маврик вёл его за баржей. И когда он разглядывал сидевших на корме, он увидел так отчётливо два таких близких и знакомых лица,

что бинокль выпал из его рук и он закричал:

— Папа! Папочка…

Пронзительный крик услышали находившиеся на палубе и в каютах, окна которых были открыты.

— Папа… Папа… Это я… Это Маврик… Григорий Савельевич!.. Это я…

Но разве из-за шума колёс и воды Герасим Петрович и Григорий Савельевич Киршбаум могли услышать крики Маврика?

Около Маврика столпились женщины. Они спрашивали, что случилось, что произошло. Появилась и Екатерина Матвеевна.

— Маврушенька, что с тобой?

— Мама опять одна! — выкрикнул он. — Ильюшиного папу тоже забрали на войну.

Он мог бы добавить, что на этой же барже везли Павлика Кулёмина, снова отнятого у Жени, так долго ждавшей своё вероломное счастье. Но Павлик сидел за канатами, и его не было видно. Патриотически настроенные пассажиры первого и второго класса бежали по палубе к корме и махали платками, столовыми салфетками и требовали у баржи с мобилизованными скорейшей победы.

Третья глава

I

Патриотическая взволнованность первых недель войны сменилась недовольством. О войне задумывались и далёкие от политики люди. Санчикова мать, встретившись с Екатериной Матвеевной на улице, говорила: «А чего ради война? За что люди должны складывать свои головы? Зачем простой народ должен терпеть нужду?» Екатерина Матвеевна молчала. Она не знала ответа на эти простые слова, хотя и были всеобъясняющие слова с первого дня войны: «За веру, царя и отечество». Но теперь и эти слова настойчиво требовали объяснения.

Молчаливая, тихая женщина Елена Степановна Кулёмина и та за чаем спросила Екатерину Матвеевну:

— А зачем вере нужно столько крови? Чего не хватало отечеству, Екатерина Матвеевна? Чего? Земли, руды, леса или скота? Зачем понадобилось царю губить свой народ?

Пока немногие могли ответить на этот вопрос.

Анна Семёновна, Кулёмин и Терентий Нико-

лаевич Лосев, хотя и с трудом, но справлялись с делами. В Казань по-прежнему отправлялись стереотипы листовок. Нередко Казань заказывала листки, похожие по внешности и обрамлению на патриотические обращения благотворительных комитетов или объявления торговых фирм. Такие листки, начинаясь крупными буквами: «За веру, царя и отечество» или: «Дешёвая распродажа!», — продолжались обычным шрифтом, рассказывая правду о войне.

Любовь Матвеевна Непрелова всё ещё верила, что, проснувшись однажды, услышит, что война кончилась. А она и не думала заканчиваться. Минула осень, пришла зима, наступал 1915 год.

— Тебе, Маврикий, как мужчине, первому произносить тост, — сказала мать тринадцатилетнему сыну.

Тост был кратким:

— Пусть кончится война в этом году.

— Пусть кончится она к весне, — поправила, вздыхая, мать, не очень веря, что это возможно.

Ильюша тоже оказался единственным мужчиной в семье, и это понимала даже Фаня. Григорий Савельевич был контужен. Его перевели с передовой в военную прифронтовую типографию. Анна Семёновна с трудом содержала семью. Ильюша

частенько приходил обедать к Екатерине Матвеевне. Якобы за компанию с Мавриком. На самом же деле Иль, как он говорил сам, обладал аппетитом значительно большим, чем бывало на столе еды. Фаня тоже под благовидным предлогом, что Лерочка невыносимо одинока, по нескольку дней подряд жила у Тихомировых. Фаню любили там, хотя и не хотели, чтобы она, так рано, так ослепительно расцветающая красавица, помешала Викторину закончить образование. Он в каждом письме спрашивал бабушку о Фане.

— Если суждено, — говорила внучке Лере Варвара Николаевна, — то я никогда не стану на их пути.

Главенствовали в Мильве, и были на виду, и жили в достатке люди, подобные тем пассажирам верхней палубы парохода, которые махали мобилизованным платками и салфетками, требуя победы. Махали салфетками, чокались рюмками, поражали противника словесными канонадами и мильвенские патриоты. Комаровы. Шульгины. Мерцаевы. Чураковы. Не говоря уже о высшем круге, собиравшемся в доме Турчанино-Турчаковского. Деятельные и бездельничающие дамы устраивали в пользу раненых лотереи, довольно весёлые вечера, балы-маскарады.

В корону на спине горбатого медведя, как в корзину, были воткнуты союзные флаги с центральным из них трёхцветным флагом Российской империи. Это было весьма многозначительно. И доктор Комаров сказал по этому поводу спич:

— Господа! Медведь — это не только фабричная марка завода и герб Пермской губернии, в нём хочется мне видеть гораздо большее… Это русская сила. Пусть в некотором роде дикая, лесная и, даже позволю себе, звериная сила… Она идёт напролом и, сокрушая всё на своём пути, проносит победные знамёна…

Этот спич, приукрашиваясь, пересказывался другими на вечеринках, именинах, просто в весёлых компаниях, и в конце концов горбатый чугунный медведь получил новое звучание, и пристав Вишневецкий установил на плотине возле монумента полосатую полицейскую будку и почётный пост, а всякому полицейскому, проходящему мимо медведя, было приказано отдавать честь.

Медведь шёл и нёс победные флаги, а война шла сама по себе… Одни складывали свои головы, вторые боролись с нуждой и лишениями, принесёнными войной, а третьи наживались на войне. И этих наживальщиков на войне было не

так уж мало. Война обогащала всякого хищника, от перекупщика дорожающих спичек, папирос, сальных свечей до прижимистого Сидора Петровича Непрелова, откупившегося от мобилизации малой пасекой и наживающегося теперь на каждой малости.

Герасим Петрович, назначенный старшим писарем в артиллерийскую батарею, жил в Воронеже. Почерк, оказывается, всюду великая сила. Писарь, особенно старший, — это не солдат. Он очень хорошо выглядел на фотографическом снимке. Ему шла военная форма. Он не терял надежды побывать в Мильве, аккуратно писал Маврику наставительные письма.

Маврик старался не получать троек. Не ладилось только с латинским языком, который преподавал «Аппендикс», или, попросту говоря, «Слепая кишка» — так был назван протоиерей Калужников за то, что его, а не учредителя гимназии Всеволода Владимировича Тихомирова, утвердили директором гимназии, ставшей казённой. Причиной этому был не только его сын, живший за границей и выступавший там против войны, но и он сам.

Всеволод Владимирович мечтал создать новую универсальную гимназию, из которой бы вы-

ходили не просто хорошо образованные люди, но и многое умеющие делать своими руками, приученные к труду. Поэтому подвальный этаж гимназии был приспособлен под мастерские. С переменным успехом работали столярная, токарная по дереву, сапожная и переплётная мастерские. Всеволоду Владимировичу очень хотелось купить близкие к гимназии дома и создать там хорошие, светлые мастерские. Но в деньгах было отказано. В учебном округе нашли эту затею ненужной и посоветовали генералу Тихомирову вспомнить свою специальность и преподавать питомцам военные знания. Всеволод Владимирович согласился стать командиром гимназических рот, считая, что военные знания при любых обстоятельствах и поворотах жизни не будут лишними. Мастерские были сохранены на правах необязательных. Маврик обучался в столярном классе, куда пришёл хороший учитель, добрый человек, пленный чех Ян. Работа в мастерских по часу два раза в неделю, два раза по часу военные занятия укорачивали длинную зиму. К весне Маврик был командиром отделения первоклассников. Им тоже в оружейном цехе были сделаны деревянные винтовки по росту. И первоклассники любили своего строгого,

но справедливого командира и становились во фронт, когда встречали его в школе. Если же они с ним встречались на улице, то, как положено, отдавали честь, прикладывая руку к козырьку фуражки.

Ильюше приходилось помогать матери в мастерской. Он не захотел стать вторым командиром отделения первоклассников и не мог работать в столярном классе.

II

Узнав о приезде Герасима Петровича на побывку, брат тотчас пригнал из Омутихи. Малограмотный Сидор Петрович, как оказалось, хорошо разбирается и в денежных, и в военных делах. Говорил он степенно и убеждённо:

— Как только спички заместо копейки за коробок вздорожали на грош и за них стали спрашивать по три копейки за два коробка, я сразу тогда почуял, что бумажные деньги дымят-горят, и тут же поразменял все свои «гумаги» на «рыжики». Золото, Герася, всегда золото, а гумага, она хоть и орлёная и герблёная, а всё же гумага. Твоей Любови Матвеевне тоже было присоветовано всё, что лежит в казне на сохранении, взять да в золото перегнать и замуровать понадёжнее в стене.

— А проценты? Кто за деньги, которые лежат дома, будет давать восемь копеек на рубль? Если купить облигации, так ещё больше, — заспорила Любовь Матвеевна.

А Сидор Петрович опять своё:

— Пущай хоть двадцать копеек каждый год на рубль налёживает, да полтинник слеживает. Ты хоть по спичкам бери, хоть по муке, хоть по телегам.

— Ты прав, Сидор. А можно ли, как ты думаешь, — спросил Герасим Петрович, — получить с книжки золотом?

— Чиновники всяко могут. Зря ты их, что ли, поил, кормил. Только и золото, скажу я тебе, Герася, тоже по-разному тянет, — предупредил Сидор Петрович. — Да и какой прок из него, коли оно мертвяком в земле закопано. Не складнее ли, Герася, его не загонять в землю, а перегонять в её.

Герасим Петрович не сразу понял, что хочет сказать этим брат. А брат Сидор, такой всегда тихий, что называется — боявшийся и тележного скрипу, вдруг осмелел, прозрел и стал замахиваться не по лаптям. Он решил купить тихомировскую мельницу со всеми её пахотными землями и лесными угодьями.

— А что же зевать, ежели енерал её за полцены

отдаёт и деньги не сразу.

От этих слов Герасима Петровича слегка знобило. Приобрести тихомировские земли с прудом, с готовым домом, с мельницей, которую не столь сложно пустить, могло стать таким невообразимым счастьем и началом свершения самого сокровенного.

Если бы это было возможно.

Это было возможно. Сны старшего писаря Непрелова переходили в явь.

III

Зная, что рано или поздно Тихомиров купит под мастерские полукаменный краснобаевский дом, Игнатий откупился от многосемейного брата Африкана Тимофеевича, и тот переехал на дальнюю улицу, где дома куда дешевле. Теперь Игнатий мог заломить бесстыдную цену. Генерала считали богатым. Если уж гимназии строит, значит, есть на что свою охотку тешить. Игнатий Краснобаев не ошибся. Всеволод Владимирович не терял надежды купить близкий к гимназии дом и создать там хорошие, светлые мастерские. Для этого нужны деньги. Те, что были, он вложил в строительство гимназии. На это никто не обратил внимания… Поэтому Тихомиров решил

продать Омутихинскую мельницу. Расстаться с ней и вся недолга. Зато какие хорошие будут кузница и слесарные мастерские…

Себе Игнатий Краснобаев приглядел большой дом с огородом и ягодниками на углу Песчаной улицы и пруда. Из окон хороший вид, под окнами своя моторка, а уж про вёсельную лодку нечего и говорить. Дом продавали солдатки, ставшие теперь вдовами.

Но война войной, смерти смертями, а живые должны жить. Жалко Игнатию Краснобаеву братьев Филимоновых, убитых на Карпатах. Жаль ему и молодых овдовевших жён. И как-то стыдно покупать их дом. Но что можно сделать — не купит он, купит другой… Живые должны жить.

IV

Памятуя эту истину, братья Непреловы пришли к Всеволоду Владимировичу относительно мельницы.

Сидор Петрович хотя и был в сапогах, а не в лаптях, всё же не посмел сесть при «енерале» и, стоя, сбивал цену:

— Восподин енерал, восподин барин, мельница только одно звание, а по сути она дрова, да и те прелые.

С этим согласился Всеволод Владимирович и сбавил ещё.

Герасим Петрович, молчавший покорнейше и почтеннейше, так как мельница покупалась не им, а братом, всё же нашёл возможным напомнить о зашеинском доме:

— Когда моя свояченица Екатерина Матвеевна продавала для гимназии наследственный дом, она не попросила за него настоящей цены, которую ей давали…

Всеволод Владимирович сбросил ещё. И наконец было решено — половину наличными и половину векселями с погашением на три года.

Тихомиров был доволен, что на той же неделе начнётся переоборудование дома под мастерские — и мастерские в безвестной Мильве, перейдя на страницы книги «Практический политехнизм», которую пишет и допишет Всеволод Владимирович, станут примером для многих.

Когда у нотариуса было завершено всё, Сидор Петрович сказал брату:

— Герася, пожалуй, мне уж негоже из сапогов в лапти переобуваться…

Сидор Петрович, числившийся в «справных», теперь вышел в «богатеющие мужики». И так было всюду. Война разоряла одних и обогащала

других. Сидор Петрович сразу же навёл порядки на мельнице, начав с того, что её жернова завертелись через неделю после покупки. И то, что было названо им «прелыми дровами», стало давать братьям Непреловым первые доходы.

У Герасима Петровича не хватило бы денег на покупку Омутихинской мельницы, но ему теперь был открыт широкий кредит. После запрета продажи спиртных напитков спрос и цены на пиво необыкновенно возросли. Пивные склады в Мильве были опечатаны полицией. Складами заведовала теперь Любовь Матвеевна. Её заведование заключалось в поддержании порядка и охранении печатей. По приезде в Мильву на побывку Герасима Петровича пристав Вишневецкий посоветовал проверить, не прокисло ли пиво, а затем сказал прямее:

— Зачем погибать тому, что может жить, веселить и приносить радости…

Ростислав Робертович не предлагал красть пиво. На это не пошёл бы честнейший Герасим Петрович. Нужно было взять из склада несколько бочек, развести их по надёжнейшим адресам, затем опечатать снова склад и, в случае надобности, повторить эту простейшую операцию.

Герасим Петрович добросовестнейше перевёл

за пиво главе фирмы Болдыреву всё до копейки с надбавкой на общий рост цен и падение рубля. Тщательнейше были подсчитаны проценты с оборота приставу, а остатки, составлявшие семь-восемь рублей из каждых десяти, пошли на покупку тихомировской мельницы.

Невольный свидетель происходящего, Маврик молча носит в себе стыд за отчима и за Сидора Петровича. В спешной покупке и торопливом обживании тихомировской мельницы было что-то неприличное. И особенно неприглядна была суетливость захватывания дядей Сидором не купленных им вещей, не принадлежащего ему имущества, вроде брошенных Всеволодом Владимировичем хомутов, дуг, кадочек, старой мебели, чугунов, ржавого шомпольного ружья, бельевой корзины, рваной сети, охотничьих лыж, стожка прошлогоднего сена, шарабана со сломанными рессорами, линялого байкового одеяла и прочего из разряда негодных вещей. Все они рассматривались, оценивались и прятались. «Вдруг да енерал спохватится и спросит: а где мои старинные енеральские сапоги?..» И это так походило на мышиную возню, на бессмысленное растаскивание по норам и того, что никому не могло пригодиться.

Старый осёл Бяшка тоже пошёл в придачу вместе с даровым имуществом. Сидор Петрович долго думал, как поступить с ослом. Держать просто так, как он жил у Тихомировых, было невозможно. Это противоречило всему строю мыслей Сидора Петровича. Всё должно давать прибыток. И он продал осла мулле на мясо.

Прощай, Бяша! До тебя ли теперь…

Отчим Маврикия беспокоился о скорейшем пуске мельницы, чтобы она давала гарнцы зерна за помол. Его волновал и луг, который никогда не косили Тихомировы, оставляя траву для любования ею, для сохранения полевых цветов и полевой клубники. Какие могут быть тут цветы, когда луг должен дать два добрых стога сена. И если продать это сено поближе к весне, то можно взять за него и вдвое.

Мельница и луг — это ещё что. Герасима Петровича беспокоили дикие утки, гнездившиеся в камышах тихомировского пруда. Он внушал непонятливому пасынку:

— И утята теперь тоже наши. Они хотя и дикие, а вывелись на моём… на нашем, — поправился он, — пруду. И так жаль, что из-за распроклятой войны осенью я не сумею их подстрелить и они улетят… А то и хуже. Забредёт сюда кто-то чужой

и перестреляет наших уток…

Маврик молчит и думает, что на свете нет силы, которая может расколдовать людей, которые стали мышами…

Не всё можно было сказать и самым близким друзьям. И только тётя Катя, единственная тётя Катя может понять его. Он снова стал часто бывать у тётки в Замильвье. Она просила не обращать внимания на странности отчима и обещала поехать с ним в Верхотурье.

Это неизвестное Верхотурье, куда они поедут неизвестно зачем — не то на богомолье в монастырь, не то полюбоваться красотами старого города и Урала, — занимало воображение Маврика.

В самом деле, скорей бы уж уехать в это Верхотурье, за Уральский хребет, в Азию, чтобы не видеть, что делается здесь и не осуждать…

V

Прежде Маврику казалось, что Азия где-то там, далеко, а она, оказывается, совсем рядом. Несколько часов езды на поезде, и ты в Азии. Пермская губерния — европейско-азиатская. Об этом он знает из учебника географии. Но учебник — это одно. Это карта. А увидеть своими глазами,

ступить на землю Азии своими ногами — это совсем другое.

По приезде в Пермь Екатерина Матвеевна хотела побывать с племянником в памятных местах. Но поезд отходит через два часа, а следующий пойдёт только завтра. Посоветовавшись, они решили побывать в городе на обратном пути. Билеты куплены. На станции Гороблагодатская у них будет пересадка на Верхотурье. А теперь остаётся более часа, и можно сходить хотя бы в Козий загон, купить по старой памяти маленький пятикопеечный фунтик жареного миндаля, вафлю трубочкой, хотя это теперь и не так интересно. Куда интереснее побывать там, где давным-давно и совсем недавно два маленьких мальчика — Ильюша и Маврик — играли в козла и загонщика. Жива ли та скамейка, где сидела и любовалась ими тётя Катя?

Знакомые и родные места во все годы жизни зовут к себе человека. Какая-то мелочь, деталь, скамья, калитка, камень или что-то самое неожиданное вдруг возвращает в прошлое, и оно, переживаясь, воскресает хотя бы на минуту.

Подымаясь в гору от вокзала Пермь-1, Маврикий Толлин на исходе своих тринадцати лет шёл довольно солидно под руку со своей тёткой,

разглядывая встречных, среди которых так много попадалось прапорщиков. Этот первый офицерский чин военного времени давался всякому, кто был способен окончить краткосрочную школу прапорщиков, и теперь их, щеголявших золотыми погонами с одной звёздочкой, встречалось чуть ли не более, чем безруких, безногих калек в солдатских шинелях.

По булыжной мостовой громыхали ломовые телеги, проносились извозчичьи лошади, развозя всё тех же прапорщиков, катили за собой и перед собой лёгкие двуколки доставщики мелкой клади, гарцевали конные полицейские, тащились с поклажей на спине прирабатывающие пристанские грузчики… И в этом пёстром, разномастном потоке, стекавшим с горы и медленно втекавшим в гору набережной, Маврик увидел маленького серенького конька, запряжённого в синюю тележку, нагруженную бочонками. Сердце Маврика сжалось. Крохотная лошадка так походила на того самого пони Арлекина, снившегося так часто, запомнившегося до каждого пятнышка, и особенно памятными были одна над другой две звёздочки на его лбу. Маврик хотел и боялся поверить встрече с Арлекином. Не помня себя, он бросился наперерез мостовой, лавируя между

ломовиками и телегами.

— Куда ты? Что с тобой? — послышался позади него тёткин голос.

А он уже у конька. На его лбу те же самые звёздочки. Тот же цвет грустных глаз и те же длинные белые ресницы.

— Арлекин! Неужели это ты, Арлекин? Как ты исхудал! Какие печальные у тебя глаза.

Удивляя прохожих, возниц и старика в белом фартуке, который шёл рядом с синей тележкой и в руках которого были вожжи, опрятный гимназист в белой фуражке и в белой рубашке обнимает посреди мостовой маленькую лошадку, а лошадка, будто узнав его, тоненько, радостно ржёт, помахивает хвостом и обмазывает слюной хорошую чистую рубашку с форменными пуговицами.

— Что случилось, Мавруша? — спрашивает Екатерина Матвеевна, с трудом перейдя дорогу.

Маврик мог сказать всего лишь:

— Это Арлекин… На нём я катался в детстве… Почему же ты такой несчастный, заброшенный конь? — спросил он коня, задавая тем самым этот вопрос старику в белом фартуке.

— Так ведь уж старый он, господин молодой человек, — тихо ответил старик. — Когда я купил

его, ему уже было порядочно годков.

Хотелось выяснить всё, узнать больше, и старика попросили съехать с проезжей части ближе к тротуару

— Пожалуйста, пожалуйста, — попросила Екатерина Матвеевна старика, — расскажите всё о вашей лошадке.

Рассказ был недолог. В год отъезда Маврика из Перми старик, продающий вразвоз пареные груши, устал катать свою тележку и купил Арлекина, которого он теперь называет «Сермяжкой», и развозит по улицам Перми садовые пареные дули, груши и грушевый квас.

— И ежели угодно испробовать, милости прошу, для знакомства.

Старик нацедил из бочонка, заткнутого деревянной затычкой, в кружечку грушевого кваса. Маврик выпил и поблагодарил. А серенький Арлекин, ставший теперь Сермяжкой, стоял понуря голову, не замечая, как с его отвисшей нижней губы стекала тоненькая струечка слюны.

Разговаривать со стариком далее было трудно. Маврик подал ему рубль и попросил купить Арлекину сахару.

— Он очень тогда любил сахар…

— Так кто не любит его, — сказал старик, пряча

рубль за пазуху в холщовый кисет, висевший на том же засаленном гайтане, что и медный старообрядческий нательный крест. — Но-но! — дёрнув вожжами, понукнул Арлекина старик.

Конь понуро тронулся.

Маврик отвернулся. Ему было тягостно смотреть на уходившего маленького конька, который вызывал множество сравнений, и каждое из них оказывалось печальным.

VI

На вокзале все покупают в дорогу газеты и журналы. Мавракий купил для солидности «Ниву», «Синий журнал» и «Биржевые ведомости».

Рассматривая в вагоне «Ниву», Маврик увидел вложенный между страницами розовый листок. Заголовок листка довольно крупными буквами спрашивал: «НУЖНА ЛИ РАБОЧИМ ВОЙНА?» — а ниже помельче отвечалось: «Нет, эта война не нужна ни рабочим, ни солдатам, ни крестьянам и никому из тех, кто живёт своим честным трудом, не наживаясь за счёт труда других людей…»

В это время вошёл кондуктор. Маврик перевернул лист журнала и закрыл им листовку. А в том, что это была листовка, Маврик не сомневался. Листовок он хотя и никогда не видел, но знал их

по описаниям.

Оттиск на этой листовке походил на штемпельный, и Маврик невольно вспомнил Ильюшу и штемпельную мастерскую Киршбаума. Он вспомнил об этом не потому, что знал или догадывался о происхождении этой листовки. Всякий штемпель напоминал ему Ильюшу.

Как был бы удивлён Маврик, узнав, кем сделан большой штемпель, оттиснутый на этом рыхлом, легко впитывающем краску розовом листке. Да и не менее удивился бы Ильюша, узнав, что это дело рук Артемия Гавриловича Кулёмина и Мартыныча-Дизеля. Он ещё до покупки Непреловым мельницы ушёл в сторожа Завозненской церкви. Живёт при ней в сводчатой, глухой, с одним окном комнате. В длинные ночи, запирая кованые двери храма, Мартыныч продолжал свою работу по вулканизации подпольных каучуковых штемпелей — стереотипов. В церковь, стоящую при большой дороге, приходили всякие и разные молящиеся. Наведывался сюда и мастер оружейного цеха Артемий Кулёмин. Было бы странно, если б рыбак забыл рыбака, своего давнего друга Мартыныча.

Об этом Маврикий узнает значительно позднее. А теперь он хотел как можно скорее прочитать

розовую листовку. В листовке очень ясно говорилось, почему эта война нужна богачам, в скобках называвшимся незнакомым словом «буржуазия», и какие прибыли она им приносит. Некто, подписавший её инициалами, подписал не двумя, как обычно, буквами и не тремя, как тоже иногда подписывают, а пятью — РСДРП.

Маврик хотел сохранить листовку, но, вспомнив, что за это арестовали токаря Шамшурина из механического цеха, решил избавиться от неё. Это было просто. Но Маврику было жаль расставаться с листком, в котором говорилось то, что никто не смел сказать, и он снова решил перечитать написанное, а затем бросить в окно, чтобы она была прочитана ещё кем-то. Листовку подхватил и умчал ветер, а он принялся смотреть в окно. Чем дальше от Перми, тем интереснее и красивее становилась дорога.

Старая Горнозаводская дорога, полудугой соединяющая Пермь с Екатеринбургом, может быть без преувеличения названа стальной нитью богатейшего ожерелья, нанизавшей на себя многие десятки больших и малых заводов. Начиная с прославленного Мотовилихинского завода, Чусовского, Лысьвенского, затем Бисертского, Кушвинского, Баранчинских заводов и далее, где

дорога круто повёртывает к югу, заводы встречаются чаще, дымы гуще. Лайские, Тагильские, Невьянский, и нет им числа до самого Екатеринбурга. И они-то, стоящие близ Горнозаводской железной дороги, плавят ли железные и медные руды, варят ли сталь или прокатывают железо и производят тысячи различнейших металлических изделий от болта до машин, от проволоки до мостов и котлов, — они и составляют гордость края.

И Маврику кажется, что они, все эти заводы, отдали Мильве кто фасон труб, кто голос свистка, кто фасад цеха, кто рисунок ограды — и из всего этого составился Мильвенский завод, похожий сам на себя и на все заводы Урала.

Хорошо думается, когда идёт поезд и открывается всё новое и новое за окном. Недалеко уже до станции Европейская. За станцией Европейская стоит столб, и на столбе написано с одной стороны «Европа», а с другой — «Азия». Горы уже круче. Поезд идёт медленнее. Паровоз часто, шумно дышит, выбрасывая из трубы дым и пар.

Скорее бы уж. Самое трудное в жизни — ждать. А ждать приходится всё и всегда. Прихода поезда, парохода, звонка на переменку. Рыбу, когда она изволит проглотить крючок. Войну, когда она

кончится. Четырнадцати лет, до которых ещё столько дней и ночей.

Поезд останавливается. За окном станция Европейская. Поезд стоит здесь недолго. На этом краю Европы, так же как и в Мильве, пахнет полем и лесом. Растёт иван-чай и, конечно, кислица. Не прозевать бы столб. Не прозевать бы границу двух частей света. Приходится то и дело высовываться в окно и смотреть вперёд, чтобы увидеть столб. И вот, кажется, он. Да, это он. И уже различима надпись: «Азия».

Поезд оказывается таким предупредительным, таким вежливым, замедляя ход до самого тихого. И вот паровоз уже идёт по Азии, а вагон, в котором стоят у окна Маврик и его тётка, всё ещё находится в Европе.

— Ну почему же ты так волнуешься, Мавруша, ведь там же за столбом всё равно та же наша русская земля…

— Нет, нет, — заикается Маврик, — там Азия…

Маврик не замечает, что за ним наблюдают, им любуются два добрых глаза незнакомого пассажира с русой бородой. Этот человек сел на станции Пашия. Но Маврику не до пассажиров. Ему нужно найти хоть какое-то отличие азиатской земли от европейской, чтобы на уроке географии, по

которой у него почти всегда пятёрки и которую преподаёт удивительная Тамара Афанасьевна, рассказать, как он путешествовал в Азию.

И так обидно, что в Азии те же ели и сосны, та же трава, такие же увалы и горы и такой же иван-чай.

И зачем только и кому понадобилось ставить этот столб и разделять единую землю на Европу и Азию?

VII

Поезд прибыл на станцию Гороблагодатская. Здесь сошло немало пассажиров. Потому что многим предстоит пересадка на ветку, которая идёт через Верхотурье в Надеждинский завод, название которого написано почти на всех рельсах уральских железных дорог.

Сошёл с поезда и пассажир с бородой, в светлом плаще. Он прошёл в буфет. Екатерина Матвеевна тоже предложила подкрепиться. Багаж сдали в камеру хранения. До поезда в Верхотурье часа четыре, нужно куда-то убить время. Не сходить ли после обеда на знаменитую гору Благодать? На её вершине памятник человеку, который открыл эту гору и которого за это сожгли его сородичи-язычники, потому что гора была свя-

щенной. Она притягивала всё железное. И на ней молились идолопоклонники. И это не сказка, а историческая быль, рассказанная той же Тамарой Афанасьевной. И ей будет приятно, если её ученик Толлин пополнит коллекцию минералов. А здесь их должно быть много.

Сказав тётке о своих намерениях, Маврикий отправился к горе. К ней ведёт ветка дороги. С первых же шагов на насыпи дороги попадаются редкие камни. Из них состоит то, что железнодорожники называют балластом, — материалом для подсыпки верхней части насыпей. Гранит нельзя спутать с известняком, а уж с малахитом-то или яшмой — тем более. Маврик знал по той коллекции, какая есть в гимназии, до двадцати различных пород камней. А тут попадаются и неизвестные. Он их берёт и кладёт в узелок, завязанный из носового платка. Трудно поверить, но тут попадаются и обломки горного хрусталя. И никто не запрещает брать это.

Разговаривая с самим собой, он и не заметил, что идущий за ним бородатый пассажир тоже собирает камешки.

— Вот это находка, — услыхал Маврик позади себя приятный голос. — Кварц с крупицами золота. Полюбуйтесь, молодой человек.

— Вот бы мне найти такой, — сказал со всей непосредственностью Маврик.

— Зачем же находить, коли я уже нашёл! — Сказав так, незнакомец преподнёс камень.

— Нет, я не могу взять у вас. В нём же золотые крупицы.

— Да полно, полно. Их тут на два гроша с полушкой. Берите.

Прежде чем взять, Маврик сказал:

— Вы знаете, я ведь не для себя собираю камни, а для мильвенской гимназии. Для коллекции Тамары Афанасьевны.

— Тем более нужно взять. Особенно мне приятно, что моя находка пойдёт для такой хорошей гимназии.

— А откуда вы знаете о ней?

— Из газет. Я много читаю. Эту гимназию, кажется, создал некто Тихомиров?

— Не некто, — поправил Маврик, — а очень передовой и благородный человек, хотя и… Но директором сделали другого.

— Наверно, ещё более хорошего и ещё более передового человека?

— Нет… директором назначили Аппендикса. Что в переводе с латинского означает — слепая кишка. Он протоиерей.

— Значит, неважный человек, коли его прозвали «Слепой кишкой», хоть и протоиерей.

— Ерундовый, — подтвердил Маврик. — Может быть, я этим оскорбляю ваши религиозные чувства? — вдруг спохватился Маврик. — Может быть, вы едете на богомолье в Верхотурье?

— Да нет, — с лёгкой усмешечкой ответил незнакомый. — Я отмолился лет в четырнадцать… А вы?

— А я? — задумался Маврик. — Я, кажется, ещё нет… А почему вы любопытничаете?.. Об этом же нельзя разговаривать с первым встреч… ну, в общем, с незнакомым человеком. За безбожие могут исключить… Или ещё хуже. Причислить к политическим.

— Да-а… это ужасно.

— Хотя… хотя я не из трусливых. Я уже всякое повидал на своём веку.

На лице Маврика изобразилась таинственность. И он почти шёпотом сообщил незнакомцу: — Вы не думайте, в Мильве тоже случаются разные происшествия, ничуть не менее страшные, чем на этой горе. Хотите со мной на эту гору, и я расскажу про неё одну страшную историю.

— С превеликим удовольствием… — согласился незнакомец. — Я безумно люблю всякие

истории.

Они не торопясь подымались на гору Благодать по деревянной лестнице, которая зигзагами вела от площадки к площадке. Когда же они поднялись к чугунному памятнику, который представлял из себя чугунную вазу с пылающим в ней тоже чугунным огнём, то Маврик сказал:

— Этот памятник, хотя и попроще нашего горбатого медведя с короной на спине, но лучше…

— Чем?

— Тем, что этот памятник прославляет что-то хорошее и возвышает, а не придавливает и не устрашает… В нём хотя и не настоящее пламя, но оно всё равно как бы горит и не затухает…

— Ты прав, бараша-кудряша, горит и не затухает…

Маврик вздрогнул.

— Как вы назвали меня сейчас?.. Как вы назвали, повторите…

— Как всегда, — тихо ответил Иван Макарович Бархатов. — Бараша-кудряша.

VIII

Как много нужно было Маврикию сказать Ивану Макаровичу и ещё больше услышать от него. Только Иван Макарович мог прямо ответить на

те вопросы, которые все остальные обходили молчанием или ограничивались туманными полуответами.

За час-полтора, проведённые на горе, Маврикию открылось куда больше, чем за все эти годы недомолвок, намёков и догадок.

Правда и Артемий Гаврилович Кулёмин говорил, что жизнь будет не всегда такой, а какой именно — умалчивал. И Емельян Кузьмич Матушкин, учивший ребят в ближнем лесу ставить петли на зайцев, обещал какую-то большую «весну-красну». Не ту, что приходит каждый год… А какую, он тоже недоговаривал. А теперь Иваном Макаровичем всё недосказанное было собрано воедино и разъяснено. Будто он взял и дорисовал недорисованное.

Как много оставит Маврикий здесь, на вершине горы! Ещё больше отшелушится потом, когда он, раздумывая, примется настойчиво открывать крепко запертое царём, церковью, богатеями.

Связку волшебных ключей подарил Бархатов своему любимцу…

С горы открывается вид на котлован рудника. Работает множество рудокопов и возчиков. Они в синих, красных, жёлтых, белых рубахах. Лошади вороные, карие, пегие, гнедые, рыжие, сивые,

запряжённые в тележки, спускаются и подымаются по уступам котлована, доставляя добытую железную руду. Бархатов, указывая на эту кишащую пестроту, говорит медленно, терпеливо, убеждённо:

— И все руки да лошадь. Ни одной машины. Дело не только в том, что народ возьмёт это себе… Народ должен переустроить всё до основания. Создать машины, которые добывают руду, которые дробят её, сортируют и отвозят на доменные печи. Должно быть много машин. Всяких машин. Машины будут пахать и копать. Рубить и ковать. Строгать и пилить. Машины должны будут делать всё, что делают сейчас руки. Строить, изобретать, конструировать машины — будет всенародным делом. И будет очень хорошо, если ты, — сказал совсем ласково Иван Макарович, — придумаешь хоть одну из них.

Потом он посмотрел на часы.

— А теперь тебе время на станцию. — Он протянул руку. — Ты, пожалуй, не сообщай, что встретил меня. Екатерине Матвеевне лучше, я думаю, меньше знать. И для меня спокойнее. Ну, а на тебя-то я, товарищ Толлин, надеюсь, как на себя. Если, как ты говоришь, в те годы умел язык за зубами держать и никому не сказал, что узнал

меня на Омутихинском пруду, то теперь-то уж и колом слова из тебя не вышибешь. Так, что ли?

— Так, Иван Макарович. Только вы всё равно обнимите меня, как прежде… И я обниму вас на прощание…

И они обнялись там же, у чаши — памятника Степану Чумпину. У чаши, в которой горел хотя и чугунный, но огонь.

— Мне туда, — указал Иван Макарович на синеющую за рудником гору. — Адреса постоянного пока ещё нет. Так что писать мне, Маврикий свет Андреевич, некуда. А твой адрес я знаю. Пока…

Бархатов направился по склону горы. Маврикий стал спускаться по лестнице. Вскоре Бархатов скрылся в кустах. Как жаль, что встреча была короткой, но нужно быть благодарным и за это. Они могли и не встретиться.

Не спешит торопливый Маврикий, шагая по шпалам ветки на станцию. Боится растерять услышанное…

IX

Где-то в этих местах начинаются красоты Северного Урала. Было на что посмотреть Маврику. В Мильве отроги, увалы, а здесь величественные скалы. Лес тут строже, выше и деревья крепче

стоят на своих разлапистых ногах. Очень много кедров и много белок. Их можно увидеть из окна вагона.

Верхотурье предстало не таким, как представлялось. Это очень маленький деревянный городок. Куда ни посмотри, виден конец улицы. Главное здесь — монастырь. В монастыре всё из камня. Храмы, службы, дома для приезжих, ворота и стены.

— При монастыре половина города живёт, монастырём и кормится, — рассказывал Екатерине Матвеевне Пётр Тихонович Мальвин.

Пётр Тихонович тоже кормится монастырём. Возит богомольцев с вокзала в монастырь. Некоторые по рекомендации останавливаются у него. Маврик с тёткой приехали по рекомендации, поэтому Мальвин и подал им лошадь, а тётя Катя до этого посылала ему телеграмму. Мальвин, как и Яков Евсеевич Кумынин, прирабатывает конём. Извозом. А вообще-то он мастер — гнёт сани, делает коромысла, обода для тележных колёс.

Дом у Петра Тихоновича — комната и кухня. Можно сказать — изба, но, конечно, с городской начинкой. Кровать с никелированными шишками. На окнах тюль. За тюлем герань и столетники. Посреди горницы комод с зеркалом. На комоде

свинка-копилка, соломенная шкатулочка и каслинского литья конь. Хозяйка была рада гостям.

— Одни мы живём, — сказала она. — Был сын, да угнали на позиции. Теперь-то его, слава богу, ранили. Живым приедет наш Серёженька, хоть и без ноги… Без ноги не без головы, — рассудительно добавила она.

Судя по всему, Петра Тихоновича нельзя было отнести к людям верующим. К монастырю и монахам относился он явно плохо. О Симеоне Праведном, на поклонение мощам которого в Верхотурье съезжается множество богомольцев, Пётр Тихонович говорит так:

— У нас на Урале два святых — Стефан Великопермский и Симеон Праведный. Стефан — из высокого роду-племени, в больших церковных чинах, а наш Симеон — из простых. Стефан в церкви знаменит, а этого нашего и в народе знают. За своего считают. Он вроде как бы портным был. По домам ходил шил. А денег не брал. Шьёт, шьёт — нашьёт ворох всякого-разного, какую-то малость не доделает, и нет его. Исчезал. Святой очень любил рыбку ловить. Поэтому на иконе его рисуют на берегу с ведёрком и удилищем… Ну, а потом… потом нетленные мощи обнаружились, — сообщает Пётр Тихонович.

Екатерина Матвеевна отворачивается к окну. Ей не хочется слушать о мощах. Маврик замечает это. Она не верит в святость мощей. Это ясно. Но зачем же она ехала сюда, зачем она идёт на моления в монастырь? Неужели для того, чтобы ближе увидеть, лучше понять и разувериться во всём этом? Невероятно! Не может быть. Нет, это так и есть.

— У монастыря какой-то торговый ярмарочный дух, — делилась она своими впечатлениями за обедом. — Торгуют всем и берут за всё. Церковные службы неприлично торопливы… Монахи слишком толсты. Видимо, они очень мало постятся.

К наблюдениям Екатерины Матвеевны Пётр Тихонович добавлял своё:

— Наш монастырь — это фирма. Притом жадная и безжалостная торговая фирма. Возьмите вы, к примеру, Екатерина Матвеевна, целительное масло из лампады Симеона Праведного. Сколько продаётся этого масла? Многие тысячи флаконов. Бочками привозят его. Работает целый маслоразливочный цех. При чём тут лампада?

И перед глазами Екатерины Матвеевны предстали вчера виденные полки, уставленные флаконами с целительным маслом. Невольно ей вспомнились флаконы с зингеровским швейным

маслом. На тех и на других этикетки. На одной рекламируется русская красавица, шьющая на машине «Зингер». На другой — Симеон Праведный. Он, молитвенно сложив руки на груди, стоит на берегу реки, подле него ведёрко и удилище. В данном случае это не икона, а именно этикетка на флаконе с целительным маслом, которое до разлива называлось обычным деревянным маслом. Теперь оно возросло раз в десять — пятнадцать в цене, оказавшись в фирменной монастырской посуде.

Екатерина Матвеевна не боится впасть в ересь, называя подлость подлостью. А это подлость, как и торговля землёй, и опять же целительной, из могилы Симеона Праведного. По логике, за многие годы богомольцы превратили бы эту могилу в огромный котлован, если бы каждый из них уносил только по горсточке земли. Некоторые норовят захватить по пять и по десять горстей. У каждого из них дома родня, соседи. Говорят, земелька помогает от золотухи, от ревматизма и опухолей. И торгующим землёй из могилы ничего не остаётся, как ночью, когда богомольцы засыпают, доставлять землю в телегах— грабарках.

— Привозят хороший жёлтенький песочек, — рассказывает Пётр Тихонович. — Примерно

пятак за горсть. Теперь, в войну, само собой надбавка.

Не оставляется в покое и промышленное производство икон. Сюжет тот же. Старик. Удилище. Ведёрко. Берег реки. Но сколько бы иконописцев понадобилось, чтобы снабдить иконой каждого богомольца! Где их взять? Поэтому в Верхотурье возник едва ли не первый в мире конвейер производства икон. Столярный цех заготавливает дощечки и грунтует их. Дощечки поступают в мастерскую, которую тоже лучше назвать цехом или хотя бы производственной линией. Один через трафарет наносит абрис иконы. Другой наносит механически заученные первые штрихи. Затем появляются также затвержённые облака, блики на реке, на ведёрке. Далее окрашивается одежда Симеона Праведного и всё, что подлежит окраске данным цветом. И так, переходя из рук в руки, дощечка становится иконой, поступающей к мастерам— отдельщикам, дополняющим недостающее, пропущенное теми, кто, не имея никакого отношения к живописи, научен делать три мазка, два штришка с тем, чтобы передать поделку дальше своему соседу. Это всё между строк. В строках оказалось другое.

X

Прежде Маврик ничего не скрывал от своей тётки, а теперь оказалось, что не всё можно спрашивать у неё и не всё рассказывать ей. Ну как, например, расскажешь ей про то, что он слышал от своего нового знакомого на берегу Туры?

Быстрая холодная Тура текла в каменистых берегах. Дно её было тоже каменным. На купание нечего и рассчитывать. Однажды на одном из прибрежных камней Маврик встретил удильщика, которого почему-то сразу же назвал для себя «монашенком». Он был в каком-то маленьком подрясничке и в скуфейке. Ему, видимо, очень хотелось познакомиться с Мавриком, и он первым начал разговор:

— А я в монахи не пойду. Я как подрасту, в живописцы убегу. У меня страсть как ловко краски играют. А ты из мира?

— Из мира, — ответил Маврик.

— Мамынька у меня тоже мирская была. А тятька, говорят, из чернецов. Хочешь, удь! На! А я потом наужусь.

«Монашенок» подал Маврику немудрое удилишко, насадил червя, посоветовал не давать ершам «загланывать» крючок до хвоста. И Мав-

рик принялся таскать ершей, а разговорчивый «монашенок» — рассказывать о себе. Видимо, ему было нужно поделиться с кем-то.

Как оказалось, мальчик был одинок и жил в «куфне» при иконописне. Его взяли туда учеником, как сироту. «Мирские» ребята с ним не водятся и «прозывают» его «скуфейкиной милостью» и «Адамкой Матреновичем». И ему это очень обидно. А в монастыре ребят нет, потому что все чернецы холостые начисто.

— И ежели есть у которых зазнобы, то тайные, — сообщил по секрету «монашенок», — и ребят они топят в Туре или душат подушками, а потом закапывают в лесу. А у меня мамынька хорошая была. Не утопила, не задушила и не закопала меня. Сама только недолговекая оказалась…

Как обо всём этом расскажешь тётке? Для чего? Зачем? Чтобы огорчить её и признаться ей, что вот уже три дня как он перестал верить в бога?

«Монашенок», не думая, не желая, очищал душу Маврика от последних сомнений и от последних страхов быть наказанным за безбожие.

Однако же от бога нельзя было отойти втихомолку, как от кладбищенского отца Михаила. Не стал кланяться — и всё. Нужны были какие-то

действия, поступки или хотя бы заявление о своём отрицании бога. Но нелепо же заявлять об отрицании тому, в существование которого ты не веришь. Это значит утверждать отрицаемое, признавать его существующим, объявляя ему о его несуществовании.

Как всё непросто. Но всё равно нужно смело и прямо заявить не кому-то, а самому себе, что всё кончено. И Маврикий отправился в главный храм. Он пустовал в часы трапезы. Тихо, пусто и прохладно под сводами. Только послушник обирает с подсвечников огарки.

Кому и что нужно сказать? Всем! Всем этим ликам святых, составивших иконостас. Маврик направился к амвону и, не дойдя нескольких шагов до его ступеней, объявил почти вслух — Я не верю в вас, потому что вы только иконы, и больше ничего…

Оставаться далее в храме было незачем. Сказано всё. Да и как-то мрачнее стало вокруг. Может быть, послушник, обирая огарки, погасил последние? А может быть, нахмурились святые?

Уходя, он всё же немного, совсем немного, буквально чуть-чуть, побаивался, не бросит ли кто ему вдогонку камнем. Нет. Обошлось благополучно.

Выйдя к Туре через монастырские ворота, Маврик стыдил себя. Если он мог подумать о камне, брошенном ему в спину богом, значит, он ещё не окончательно расстался с ним. Значит, бог не ушёл из него.

Думая об этом, он не заметил, как оказался за городом, там, где Тура делает излучину и где скалистые берега причудливо красивы. В этой излучине среди утёсов Маврик увидел двоих, идущих под руку. В мужчине он сразу и безошибочно узнал Ивана Макаровича Бархатова. А тётю Катю ему не нужно было узнавать. Её никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя было принять за другую.

Маврик присел от неожиданности. Потом спрятался за камень. Потом, когда сердце стало биться как всегда, он понял, что не имеет права знать о тёти Катиной тайне. И он никогда не подаст виду, что ему известно и чему он несказанно рад. Однако же эту радость он должен носить в себе, как счастливый, нелёгкий и чем-то обидный камень.

Как всё непросто…

XI

Маврику давно уже наскучило в Верхотурье и хотелось в Мильву. Но нетерпеливый племянник

даже не напоминал об этом тётке — наоборот, удерживал её здесь, находя воздух полезным и продукты дешёвыми.

Иногда он читал в глазах тёти Кати: «Извини меня, Маврушечка, но я не могу, я не имею права тебе сказать всего, потому что это не только моя тайна». Но пришло время, когда Екатерина Матвеевна, вздохнув, сказала:

— Пора уж…

Этого только и ждал Маврик, хотя и сказал для приличия, что можно бы денёчек пожить ещё.

Думая, как всегда, о Мильвенском заводе, радуясь встрече с ним после разлуки, возвращающиеся домой не знали, что там произошло большое несчастье.

Как ни далека Казань от Мильвенского завода, а всё же след привёл на Песчаную улицу в штемпельную мастерскую. В мастерскую повадился Шитиков, делая заказы на явно ненужные штемпеля. В один из приходов Шитиков заказал крупноформатный рекламный штемпель страхового общества «Саламандра».

Анна Семёновна сразу поняла, что ему нужно, и объяснила невозможность выполнения такого заказа.

— Во-первых, Никандр Анисимович, — сказала

она, — у меня нет такого количества шрифтов, чтобы набрать такой большой текст. Во-вторых, если бы шрифт и был — допустим, я бы позаимствовала его в типографии Халдеева, — штемпель не мог бы вам пригодиться, так как нужна огромная сила, чтоб сделать мало-мальски отчётливый оттиск. Это исключено технически.

Шитиков сделал вид, что поверил, не стал спорить, боясь насторожить свою жертву…

В штемпельной мастерской был произведён тщательнейший обыск. Простукивались стены. Вскрывались полы. Анна Семёновна заявила протест. Но кто мог ей внять? Кто мог заступиться за неё, названную немецкой шпионкой? Это было страшное, отпугивающее клеймо, которым пользовались, когда подозреваемому нельзя было предъявить обвинение при отсутствии улик. Но следователь верил, что улики будут. Он не пренебрегал ничем, даже допросами детей. Пригласив Фаню, затем Ильюшу, он рекомендовал им рассказать правду. Но ни тот, ни другой ничего не знали. Да если бы и знали, то разве бы кто-то из них предал мать? Потеряв надежду и терпение на успех слежки, следователь из губернии решил арестовать Анну Семёновну. Вскоре её отправили в Пермь. Кулёмин был уверен, что следующая

очередь его. Терентия Николаевича Лосева никто не считал революционером. Поэтому он, не настораживая шпиков, мог появляться в квартире Киршбаумов и как-то помогать Ильюше и Фане.

На первое время можно было продать кое-что из имущества для самых необходимых расходов, а что потом?

— Ты должен поступить на завод, Иль, — очень серьёзно и решительно сказал Санчик Денисов. — В снарядном цехе есть очень простая и денежная работа. А Фаня пусть доучивается.

Санчик не подумал, что учиться в гимназии — это значит платить за обучение. И платить не так мало. Но не в одной плате было дело.

Возникла новая трудность. После ареста Анны Семёновны всплыло то, что до этого спало в бумагах. Немногие, в том числе и пристав Вишневецкий, знали, что Григорий Савельевич Киршбаум и Анна Семёновна Петухова не состоят в церковном браке. И никто не упрекал их за это. Наоборот, было что-то высокое, стоящее над предрассудками, когда не обряд, а любовь венчала эту на редкость дружную пару. А теперь?

А теперь всё обернулось против арестованной. Если она пренебрегала религией отцов, то что ей стоило стать немецкой шпионкой? Этой «логи-

ки» придерживался не один провизор Мерцаев, но и нотариус Шульгин, и купец первой гильдии Чураков, и, конечно, протоиерей Калужников.

Когда это всё стало известно в женской гимназии, то там нашлись девочки, которые назвали Фаню внебрачной, незаконнорождённой и ещё более худшим словом. Появиться в гимназии теперь стало трудно. В глазах каждой девочки она будет читать и то, что в них не написано. Это страшно.

Но у Фани оказались друзья, о которых она не знала. Подпольщики не могли открыто вмешаться в её судьбу, но у них была возможность действовать скрытно. И это сделали Матушкины. Они, состоявшие в родстве с Тихомировыми, обратились к Варваре Николаевне.

И вскоре во флигеле на Песчаной улице появились бабушка и внучка Тихомировы.

— Фанюша, — сказал Варвара Николаевна, — ты поживёшь у нас, пока не оправдают твою маму.

Лера назвала Фаню милой сестричкой, что нужно было правильно понять и не пытаться объяснять.

Покровительство Варвары Николаевны много значило в женской гимназии. Обидеть Фаню те-

перь — значило обидеть уважаемую и почтенную женщину. Как-никак генеральша.

Для слухов и пересудов нашлось достаточно домыслов. Имя тихомировского внука Викторина теперь прочно стояло рядом с именем красавицы Фани. Подтверждением этому была телеграмма из Кронштадта, в которой Викторин благодарил свою бабушку за благородное великодушие.

Варвара Николаевна ничего не отрицала, равно как ничего и не утверждала. Кому как хочется, тот так пусть и судит.

Позаботились и об Ильюше. Для него нашёлся хороший опекун — Самовольников. Тот самый Ефим Петрович Самовольников, у которого шесть лет тому назад по приезде из Перми жили Киршбаумы. Кулёминым в разговоре с Ефимом Петровичем было сказано:

— Ты, Ефим, не бойся. Мальчишка тебе не будет в тягость. На свете есть люди, которые не дадут пропасть Ильюшке.

С устройством на завод теперь было просто. Брали всех. Лишь бы руки. Ильюшу приняли в снарядный цех. Там тоже нашлись опекуны. Кулёмин делал всё, что мог, не разглашая и ничем не показывая своей заботы о сыне арестованной Анны Семёновны.

Конечно, Кулёмину очень хотелось определить Илью в семью Маврика. Но этого сделать было нельзя. Любовь Матвеевна ни при каких обстоятельствах не согласилась бы пустить к себе мальчика из опасной семьи.

Ждать, когда вернётся Екатерина Матвеевна, и насылать ей заботу об Илье, Атремий Гаврилович тоже не находил удобным, хотя и знал, что по приезде она сделает всё возможное. Так и случилось. Она, как перед богом, мысленно поклялась перед Иваном Макаровичем заботиться об Ильюше.

Маврик вернулся из Верхотурья, когда квартира Киршбаума была пустой. Ильюша уже работал на заводе. Маврик встретил своего друга вечером у проходной. Они обнялись, стараясь изо всех сил сдержать слёзы.

— А как же теперь гимназия? — спросил Маврик. — Ты ушёл из гимназии?

— Нет, — ответил Ильюша. — Я хотел уйти, но мне этого не дал сделать Аппендикс. Он сказал, что я отчислен им из гимназии как неблагонадёжный… Словом, меня выгнали.

Маврик сжал кулаки.

— Иль, ты можешь мне не верить! Но мне сказал один человек, которому нельзя не верить. Верь не мне, а ему. Скоро всё это кончится! Верь!

Ильюша верил вместе с Мавриком. Ждал. Надеялся. А время шло, и ничего пока не изменялось. Пришла осень. Осень сменилась зимой, и всё оставалось по-прежнему. Но всё равно они ждали, верили, надеялись…

Часть четвёртая

Первая глава

I

Февраль, будто ошалев, пуржил круглые сутки, подымая на мильвенских улицах лёгкий снег, подсыпал новый так обильно, что вся земля выглядела подобием дна белого снежного бушующего океана.

— Злится коротышка февраль на то, что ему мало дней дадено, — говорил про бушующий месяц Емельян Кузьмич Матушкин. — Не хочет кончаться и в марте криводорожное путало-шатало, а приходится уходить.

У Емельяна Кузьмича сегодня счастливый день. Серым солдатом на костылях принёс ему радостные вести большевик из Петрограда. Если вести верны, так лучшего и желать нечего…

За ночь вероломный февраль наметал такие сугробы, что в них утопали по самую крышу невысокие дома, в каких жило большинство рабочих. Приходилось разгребать траншеи не к одним лишь воротам, но и к окнам, чтобы не сидеть в темноте.

Никогда ещё в Мильве не было таких снежных

дней, и многие считали, что дикие метели и обильные снегопады приходят неспроста.

— К чему бы это, Любонька? — спросила Васильевна-Кумыниха, ночевавшая у Непереловых. — Не к концу ли войны?

Люди давно, с незапамятных времён ищут в явлениях природы таинственные предзнаменования, и они обычно оправдываются, потому что в большой жизни, как и в малой Мильве, всегда что-нибудь случается. Поражение на фронте. Увечье на заводе. Пожар дома. Нехватка муки. И даже новое подорожание сахара можно будет объяснить тем, что «не зря, бабоньки, так пуржило-кружило».

На этот раз суеверная молва в снежной буре увидит куда более серьёзное «предсказание», и все старые и пожилые люди будут твердить, о чём «упреждали» несусветные бураны.

И в частности, о том, что во многих рабочих домах курицы запели петухами, а самовары тревожно выли, как в пятом году, а коровы телились сплошь одними бычками.

Любовь Матвеевна Непрелова тоже с тревогой смотрела на ошалевший снег. Она не предполагала, не догадывалась, что значит это всё, а точно знала о происшедшем, хотя и не полностью

верила услышанному. Когда же она увидела, что казавшийся неистощимым снегопад вдруг оборвался, будто какая-то сила, какой-то нож отрезали его, и над Замильвьем как-то особенно оранжево-красно запылало рано всходившее теперь солнце, — в этом она, не лишённая предрассудков, нашла подтверждение услышанного от почтового чиновника. Он сообщил ей первой потрясающее телеграфное известие, перехваченное им.

— Значит, правда — сказала она, расчёсывая волосы перед окном и разглядывая красное солнце. Решила предупредить сына.

Маврикий проснулся, разбуженный ярким светом, и хотел порадоваться вслух концу метелей, но мать подала ему знак:

— Погоди, не вставай. Я должна сказать тебе очень важное и предупредить тебя под большим секретом не говорить об этом никому.

— Что такое, мама? Что случилось? — приподнялся Маврик.

— Я это говорю тебе потому, чтобы ты, услышав от других, не вздумал сожалеть или радоваться, потому что ещё неизвестно, что нужно делать и как себя нам вести, — наказывала она сыну, закалывая последние шпильки в причёску.

— Ну говори же, мама… Я обещаю…

Любовь Матвеевна помедлила несколько секунд, ища интонацию и самые слова, чтобы по ним сын не определил её отношения к сказанному.

— Ты знаешь, Маврикий, нашего царя, то есть нашего бывшего царя, Николая Александровича Романова, не стало.

— Его убили?

— Ну что ты, право! Откуда у тебя такие предположения? Царь отрёкся от престола и добровольно передал его своему брату Михаилу. Но и Михаил Александрович тоже не захотел быть царём. Пристав об этом ещё не знает. Он только что, расфуфыренный и весёлый, промчался мимо в своих новых санках с медвежьей полостью.

— При чём тут, мама, медвежья полость и пристав? Царя арестовали и посадили в тюрьму.

— В тюрьму? Царя? — Любовь Матвеевна даже изменилась в лице. — За что?

— За войну! За убитых и раненых! За каторжную работу на заводе. За Анну Семёновну… За её детей… За это мало тюрьмы.

Бледная мать, с побелевшими дрожащими губами, силилась и не могла прикрикнуть на сына. А он, выпрыгнув из-под одеяла, не думая одевать-

ся, подбежал к царскому портрету, купленному вместе с другими вещами у Дудаковой, спросил:

— Отрёкся, вампир? Струсил?

— Маврикий! — остановила его мать и стащила со стула, когда он хотел снять портрет царя. — Василий Васильевич, может быть, ещё ошибается. Может быть, он неправильно прочитал телеграмму, и нас причислят к политическим, арестуют и посадят в тюрьму. Ты что?

Маврик отошёл от портрета не потому, что усомнился в свержении царя, ему было жаль испуганную мать, со слезами на глазах умолявшую не губить себя и её.

— Ради меня, ради твоей маленькой сестры, которая, как дочь Анны Семёновны, может быть выброшенной на произвол судьбы, ты ни с кем не будешь говорить в гимназии о царе… Ты ничем не покажешь, как ты относишься к этому, если кто-то будет заводить с тобой разговор, особенно Юрка Вишневецкий, который всё передаёт своему отцу. Поклянись перед иконами, — потребовала мать.

Маврик, быстро одеваясь, заявил:

— Клясться не буду. Моё честное слово сильнее клятв. Я не буду ни о чём говорить. А тебе бы уж лучше молчать, мама…

— Но как я могла не предупредить своего сына? Ведь ты со своим длинным языком обязательно попал бы в беду. Обещаешь?

— Да-а…

За окном белым-бело и солнечно. По улице бредут с мочальными сумками женщины. Проходит в камчатских бобрах Чураков. Он идёт в свой магазин. Появились мальчишки с подвязанными к валенкам дощечками от старых селёдочных бочек вместо лыж. Неторопливо передвигает ноги старый соборный священник отец Самуил. С ним раскланивается тоже никуда не спешащий урядник Ериков.

Может быть, в самом деле ничего не произошло? Неужели они ничего не знают? Наверно, следует пока попридержать язык. За столом, когда пили чай с дорогим белым хлебом и с очень подорожавшим сливочным маслом, Любовь Матвеевна сказала:

— А может быть, тебе в такой смутный день не стоит ходить в гимназию?

— Не стоит, — послышался из-за перегородки голос Васильевны-Кумынихи. — Сегодня с обеда начнёт бастовать завод. Якова нашего пристращали забастовщики-комитетчики: если, дескать, в обед не бросишь работу, пеняй на себя. А в

Питере-то, Любонька, в Питере черным-черно забастовщиков, и не одной прибавки да восьми часов требуют, — продолжала Кумныиха, — но и царя грозятся согнать.

— Потом, Васильевна, расскажешь, — предупредила Любовь Матвеевна, указывая глазами на сына. — Лучше подумай, что сварить на обед.

Забастовки давно уже не бывало в Мильве. И если сегодня забастует весь завод, то Маврик увидит Илью до вечера. Уж они-то с Санчиком первыми бросят работу.

— Да, мама… Я, пожалуй, пропущу сегодня день. Диктовок нет. География, закон божий, русский и пение… По ним я не отстаю. Схожу к тёте Кате, а потом в земскую библиотеку.

— И очень хорошо…

На улице стояла тишина. Ничто не подтверждало свержения царя. Проходя через плотину, Маврик невольно задержал свой взгляд на медведе. Он по-прежнему шёл по гранитной глыбе, попирая крамольное чудище, держа на своём горбу позолоченную корону, которая блестела больше, чем всегда, в лучах солнца.

Возле медведя, у полосатой полицейской будки, как всегда, стоял важничающий постовой.

Неужели всё останется по-прежнему?

Нет, этого не может быть.

II

В обед послышался заводской свисток. И не такой, как всегда. Тревожный. Зазывный. С отсвистками. На башне завода ударили в набат.

Маврик, успев рассказать тёте Кате то, что было сказано матерью, опрометью бросился к проходной. Когда он прибежал туда, рабочие уже покидали свой завод. Широкой тёмной рекой они текли по белой, заснеженной плотине. Впереди двое несли красное полотнище, и на нём наскоро было написано белилами: «Долой самодержавие!» А на других полотнищах требовали восьмичасовой рабочий день и прибавку оплаты за работу.

Пели незнакомые песни. Многие не знали слов. Но слова песен раздавались на листках, отпечатанных фиолетовыми чернилами. Маврику не удалось получить такого листка с песней. Но слова одной из них он запомнил:

Вставай, подымайся, рабочий народ.

Иди на врага, люд голодный.

Только пока ему не до песен. Нужно найти Ильюшу и Санчика.

— Толлин! — вдруг послышался голос Ильи. —

Давай к нам!

Маврик побежал на голос и увидел среди молодых рабочих Ильку и Санчика.

— Становись, становись в наши ряды, зашеинский внук, — громко приглашал Маврика незнакомый голос.

А другой рабочий спросил:

— Разве ты зашеинский внук, а не гимназист?

Маврик не знал, что ответить на это, как будто зашеинский внук не мог быть гимназистом. Он стал в ряд подростков между Ильюшей и Санчиком. В ряду оказался и Кега с братом. Маврик не сразу узнал Яктынку и Сактынку с Ходовой улицы. Они поздоровались как старые друзья.

Кассирша из земского склада громко спросила Маврика:

— А ты зачем тут, Маврик?

Ответил Санчик:

— Отойдите, а то затопчем…

Освоившись, Маврикий уже подпевал. И ему так приятно было считать себя забастовщиком. Он здесь не просто так, а вместо дедушки. Дедушка, хотя теперь и не смотрит на него с облачка, потому что Верхотурье рассеяло все небеса, но всё равно, если бы он был жив, ему было бы очень приятно увидеть внука в рядах рабочих родного

завода.

Забастовка кончилась, не успев начаться. Ещё не все цеха подошли на Соборную площадь, как на ступенях дома управления завода появился сам господин Турчанино-Турчаковский. Он сказал:

— Господа!.. Господа рабочие, мастера, техники… Слышите ли вы меня?

— Слышим, слышим, — ответили передние…

— Говори громче, — послышалось в задних рядах.

Турчаковский стал выкрикивать, срываясь с голоса:

— Я только вчера… только вчера вернулся в Мильву… И ночью… Сегодня ночью… прочитал ваши требования… Ваши требования, господа… Они приемлемы, господа… Я их принимаю, господа…

В ответ послышалось шумное одобрение. Кто-то закричал «ура». Турчаковский поднял руку, он просил тишины.

— Прошу пожаловать ко мне сегодня выборных от стачечников. Вы слышите?

— Слышим, — ответили голоса.

— И мы вместе, господа, сделаем всё возможное… — выкрикивал он, повторяя фразы. — Всё

возможное, чтобы дать вам ещё больше… Ещё больше, чем вы требуете… и не дать остановиться цехам, работающим для победы… для победы над врагом.

Бастовать больше было не за что. А что касалось требования «долой самодержавие», то этого вопроса управляющий да и никто в Мильве не решал.

Часть забастовщиков вернулась на завод, часть отправилась ходить с флагами по улицам, а остальные пошли домой. А три верных друга решили уединиться на кладбище. Там-то уж никто не услышит. Но всё было выяснено по дороге.

— Говорят, что в Петрограде, — сообщил Санчик, — прогоняют царя.

— А по-моему, его уже нет, — очень солидно и очень уверенно сказал заметно выросший и раздавшийся в плечах Ильюша.

— А почему ты так думаешь? — осторожно спросил Маврик, боясь не сдержать слово, данное матери.

— Разве вы не заметили, — стал отвечать Ильюша, — как разговаривал сегодня с балкона Турчак? Сколько раз он сказал слово «господа»? И кому? Господами же всегда были они, а не мы — рабочий класс. И я думаю, Турчаковский-хит-

ряковский знает, что царя нет.

Маврик не мог далее молчать. К тому же он обещал матери не говорить о свержении царя в гимназии, а это же не гимназия, а завод. Это же «мы, рабочий класс». Как можно скрывать правду? И он твёрдо и определённо заявил:

— Царя нет, Иль. Он отрёкся… — Далее Мавриком было рассказано всё, что знала Любовь Матвеевна от телеграфиста.

— Так сказал телеграфист? — переспросил Ильюша. — Он читал телеграмму?

— Да, — твёрдо ответил Маврик.

— Значит, правда. Значит, всё будет по-другому. Мама вернётся…

III

Монарх больше не правит страной. Самодержавие свергнуто. В Петрограде и в Москве уже созданы Советы рабочих и солдатских депутатов. На зданиях красные флаги, а здесь, в царстве горбатого медведя, сегодня арестовали семерых рабочих за то, что они возмущали спокойствие и призывали к свержению царя.

Мильвенским властям от губернатора пришла телеграмма, требующая не обращать внимания на слухи, которые идут из столицы. И все

следовали этому указанию, кроме Турчанино-Турчаковского, который лучше других понимал, какие события произошли в стране. Не забежать ли вперёд? Не предупредить ли кое-кого, например старика Тихомирова, что царь свергнут? Что ни говори, Тихомиров — отец известнейшего революционера, скрывающегося за границей. Да и сам «женераль» достаточно красен… Не худо позвонить и доктору Комарову. Этот разблаговестит сотням болтунов. И все скажут, что не кто-то иной, а Турчанино-Турчаковский первым сообщил по телефону радостную весть.

Он так и делает. Подходит к телефону. Крутит рукоятку и говорит:

— Центральная… Хеллоу… Прошу соединить и отойти потом от коммутатора… Квартиру Тихомирова…

От коммутатора, конечно, телефонистка не отходит и подслушивает то, чего не хочет Турчаковский оставлять в секрете.

Утро в гимназии, как всегда, началось с молитвы в большом, но теперь тесном зале. Дежурные классов, после введения военного обучения, командовали: «Взво-од, становись!» и «За мной, шагом марш!»

В зал входили сначала младшие классы, стано-

вясь впереди, начиная с первого, затем старшеклассники.

Маврик, как и обещал матери, о царе в гимназии не говорил ни с кем. И кажется, никто не начинал этого разговора. Наверное, со многими из них был предупредительный родительский разговор.

На молитве, как всегда, перед образами, висевшими в правом переднем углу, появился тощий шестиклассник-второгодник. Ему, сухонькому, маленькому, как нельзя более подходила фамилия Сухариков. Он, сын сельского торговца из дальней волости, знающий хорошо молитвенные распевы, был назначен кем-то вроде регента.

Ударив, как всегда о косточку левой руки камертоном, затем для «близиру» послушав его, Сухариков приподнял руки, а затем взмахнув ими, начал первым и все подхватили тягучую молитву: «Царю небесный». Когда она была пропета, маленький дирижёр снова ударил камертоном о косточку руки, и снова зазвучала вторая молитва. И когда были пропеты все пять молитв, надлежало сделать полуоборот направо и повернуться к портрету Николая Второго.

— Полуоборот напра-во! — пискливым дискантом скомандовал Сухариков. И все повернулись.

Но вдруг послышался звонкий голос вбегающего в зал Всеволода Владимировича:

— Отставить! — А затем: — Полуоборот налево! — и совсем тихо: — Стоять вольно, господа…

Его глаза блестели. Блестели, как тогда, на открытии гимназии. Всеволод Владимирович волновался.

— Внимание, господа, внимание, — начал он. — Царь, ныне бывший царь, отрёкся от престола в пользу своего брата Михаила. Но отрёкся и Михаил. Монархия в России низложена…

— Позвольте, позвольте, досточтимейший Всеволод Владимирович, — остановил его стремительно появившийся протоиерей Калужников. — Меня. как исполняющего обязанности директора гимназии, об этом не уведомляли… И я запрещаю в стенах вверенной мне гимназии…

— Слушаюсь! — совсем по-солдатски сказал Всеволод Владимирович и, не выслушав Калужникова, вышел из актового зала, не закрыв за собою дверь.

— Петь «Боже царя храни»? — спросил Сухариков.

— Петь! — приказал Калужников. — Петь!

Сухарикову из задних рядов строили рожи, угрожали, но этот псалмоповец из торгового зва-

ния, видимо, готов был, а может быть, и рад был пострадать за царя.

— Полуоборот напра-во! — уже не пискливо, а визгливо как-то по синичьи скомандовал он.

Повернулись не все, но большинство. И вдруг совершенно несвойственно для священнослужителя была подана повторная команда протоиереем:

— Полуоборот напра-во!

Кто-то ещё сделал поворот. Но многие не подчинились команде. Калужников почему-то обратил внимание не на кого-то, а на Толлина. Может быть, потому, что тот стоял ближе к протоиерею.

— Толлин, почему ты не повернулся?

Маврик хотел было сказать, «не я один», но в этом была какая-то трусость, какое-то прятание за других. К тому же вдруг вспомнился кладбищенский поп Михаил и толстовские дни. Протоиерей в эту минуту чем-то напоминал кладбищенского попа, и Маврик сказал:

— Отец Михаил… извините, отец протоиерей, я не могу прославлять царя, которого… которого низложили.

По рядам пробежал шёпот. Потом наступило молчание. Протоиерей, собрав бороду в кулак, сказал:

— Кто не желает петь гимн, тот может покинуть этот зал.

Воля Пламенев, Коля Сперанский, Геня Шумилин, Митя Байкалов вышли из рядов первыми. Затем ещё пять-шесть человек. Остальные запели «Боже царя храни», но запели глухо, боязливо, а некоторые только открывали рот.

Все ждали, что начнётся исключение из гимназии. Сегодня же. Сейчас же. Но этого не случилось. Протоиерей уехал. В шестом классе не было урока латинского языка. Зато в актовом зале было происшествие, которое заставило протоиерея возвратиться в гимназию.

Кто-то запустил чернильницей-»непроливашкой» в портрет царя. Чернильница, угодив выше головы царя, разбила стекло, и тёмно-фиолетовые чернила растеклись по портрету. Актовый зал было приказано закрыть, а портрет снять.

Никого не боявшийся семиклассник Бржицкий, выгнанный из трёх гимназий и еле принятый в мильвенскую гимназию, сделав невиннейшее лицо, беспокойно спросил Калужникова:

— Отец протоиерей, а кому же мы теперь будем петь «Боже царя храни»?

Калужников ничего не ответил, потому что управляющий заводским округом Турчанино-

Турчаковский сообщил ему по телефону:

— Государь император изволил временно сойти с престола, поэтому формируется Временное правительство из достойных, мудрых и благонадёжных, — подчеркнул он, — государственных мужей.

IV

А спустя день, один лишь день, Мильву нельзя было узнать. На домах, над воротами домов рабочих красные флаги. Флаги у проходных завода и у входа в гимназию. Большой флаг на здании управления завода и поменьше на доме управляющего заводом Турчаковского.

Люди, встречаясь, обнимаются, а иногда целуются, как на Пасхе, и поздравляют друг друга с великим праздником.

Доктор Комаров одним из первых появился с красным бантом на шубе. И в гриву его лошади тоже были вплетены две красные ленты.

Маврик ходит по улицам и удивляется, как все и все очень скоро поняли. Ещё несколько дней назад его мать запретила касаться царского портрета, а потом сама сожгла его вместе с рамой в русской печке, приговаривая:

— Ты разлучил меня с мужем… Ты принёс до-

роговизну… Вот и гори за это, рыжий.

Ещё позавчера протоиерей готов был исключить всех, кто не захотел петь «Боже царя храни», а сегодня просвирненское полудурье Тишенька Дударин бегает босой, в красной опояске и глумится над Николаем Вторым, выкрикивая:

Колька-Миколка,
В холке иголка,
Шьёт, смердит,
Колесом вертит.

Типография Халдеева, такого рьяного царе-обожателя, ходившего каждый царский день в собор и вывешивавшего не один, а целых три царских флага на своей типографии, теперь тоже с красным флагом. Теперь тоже печатает со скидкой объявления и афиши политического содержания.

Ещё вчера «политических» почти не было в Мильве, а теперь их оказалось так много, что даже трудно представить, сколько их. И все они носят разные названия. Большевики. Меньшевики. Максималисты. Анархисты. Трудовики. Кадеты. Левые эсеры. Правые эсеры. И особо союзы. Союз металлистов. Союз фронтовиков. Союз потребительских обществ. Союз приказчиков…

Возник даже союз нищих. Им-то зачем особый союз? Оказывается, нужен. В среде нищих тоже произошёл переворот. Была свергнута верхушка привилегированных нищих, в которую до последнего времени входила бабка Санчика — Митяиха. Это сделали солдаты-калеки, вернувшиеся с фронта и пополнившие ряды нищих.

Если у всех союзы, то, может быть, нужен союз учащихся? Всех учащихся гимназий, городского училища и технического.

В голове такая карусель, что Маврикий пока даже приблизительно не может разобраться в случившемся. И Артемию Гавриловичу не до него. Он и Матушкин весь день в Совете депутатов.

В гимназии кто в лес, кто по дрова. Коля Сперанский называет себя социал-демократом. Его брат объявил себя левым эсером. Димка Булочкин, сын колбасника, и Генька Турчаковский, внук управляющего, создают лигу юных кадетов. Юрка Вишневецкий уже создал «союз альпийских стрелков». Волька Пламенев объявил себя большевиком. А Митька Байкалов ищет программу анархистов-синдикалистов, произнося вместо «синдикалисты» — «скандалисты». Наверно, это и привлекает его. А Казька Бржицкий уже заявил всем, что он убеждённый анархист, и в доказа-

тельство этого ходит без ремня, с расстёгнутым воротом. Он обещает явиться в гимназию, как только станет потеплее, без рубахи. И это очень глупо. Кроме того, что он дубина, ничего не будет доказано.

Правильно, что на стене в раздевалке под словом «долой» нарисован отросток слепой кишки. Но зачем пририсована рука с ножом, срезающая этот отросток? Это же не горнозаводская больница, а гимназия. Разве нельзя прийти и сказать: «Господин протоиерей…» — или лучше официальнее: «Господин Калужников, мы надеемся, что вы, чувствуя себя ненужным отростком, отречётесь от должности и передадите её Всеволоду Владимировичу Тихомирову, не дожидаясь Учредительного собрания».

Вообще, не применяя никаких ножей, правильнее всего заставлять отрекаться, как это сделали с Николаем Вторым.

Сейчас даже в первых классах гимназии и в простых школах все играют в свержение царя. Уговорят мальчишку стать царём. Посадят его в кресло. Наденут на него корону. Начнут ему кланяться. А он сидит на троне, в короне и кричит, кого расстрелять, кого повесить, кому голову отрубить… А его упрашивают. Не казни. Не руби.

Не вешай. Поют ему «Боже царя храни». А он ни в какую. Потом вдруг лопается терпение у ребят. Запевают: «Отречёмся от старого мира…» И начинают требовать у царя: «Отрекайся…отрекайся…» А он упирается. Тогда раздаётся клич: «Вставай, подымайся, рабочий народ…» — и начинается свержение.

Второклассника, сына смотрителя завода, свергали до синяков. Его в буквальном смысле сбрасывали с престола, а престол стоял на довольно высокой кафедре. Будь бы Маврик в их возрасте, наверно бы, и он играл так же. Но ему пятнадцатый год. В эти годы нужны настоящие свержения. Пусть мало значит гимназия в большой жизни, но и она требует изменения. Для чего же тогда революция, если всё останется так, как было при царе, вплоть до утренних молитв, на которые по-прежнему звонок призывал в актовый зал?

Как нужна встреча с Иваном Макаровичем! Хотя бы на час. Даже на пятнадцать минут, чтобы спросить — что ломать, а что оставить. И не один он хочет знать об этом. Всё в какой-то неопределённости. И сама революция похожа на большую руку, на громадную ручищу, которая замахнулась и остановилась в замахе. Замерла. Как будто её

какая-то сила заговорила, заколдовала…

V

Не посоветоваться ли с Ильёй? У него на заводе как-то всё яснее. И Маврик мог бы работать там вместе с Илем и Санчиком. Маврик не очень уверен, нужна ли ему гимназия, где нет технических предметов. Мастерские не в счёт. Стоит ли терять столько времени на изучение того, что никогда не пригодится? Например — закон божий. А нужна ли ему история, которая не история, а рассказы о доблестях царей и королей, а не народов. Об этом говорят и сами учителя. И вообще — по дедушке и всему своему древнему зашеинскому роду он принадлежит к рабочему классу…

Маврик пугается своих мыслей. Ему не дадут бросить гимназию и не пустят работать на завод. Пусть пока всё идёт, как шло, а потом будет видно. А сегодня он пропустит учебный день и сходит поговорить с Ильюшей.

В проходной Маврик сказал волшебное слово:

— Я внук Матвея Романовича Зашеина, мне нужно в цехе посоветоваться о забастовке.

Его пропустили. И вообще теперь в завод пропускали легче, нежели раньше. Маврик решил прежде пройтись по цехам, а потом отправиться

к Ильюше.

Судовой цех, где некогда работал его дед Матвей Романович, по-прежнему крыт небом. Это площадка, на которой все делают только руки. Тяжёлыми большими ножницами руки подрезают железные листы корпуса судна. Руки сверлят по краям листов отверстия для заклёпок. Руки молотом расклёпывают заклёпки, соединяя лист с листом. Руки срубают зубилом заусеницы.

Так строили суда и в прошлом столетии.

В листопрокатном цехе железную болванку в лист превращает прокатный стан. Но и тут главную работу производят руки, сующие длинными клещами в промежутки валов раскалённое железо, прокатывая его взад и вперёд до тех пор, пока оно не станет листом.

Жара. Пот льётся не градом, а ручьём. Взмокли просоленные рубахи. На ногах рабочих лапти, потому что в них устойчивее стоять, да и не напасёшься сапог. Огромных усилий стоит прокат листа, но и при этом лист не всегда идёт в дело. То он слоист. То губит его окалина.

Маврик идёт дальше, в конец снарядного цеха, где Ильюша точит медные пояски-кольца для трёхдюймовых, самых требуемых фронтом, орудийных снарядов. Маврикий хорошо подгадал.

К обеду.

Свисток. Затихает гул.

— Здравствуй, товарищ Киршбаум.

— Здорово, товарищ Толлин…

Как взрослые, так и они.

— Ну как?

— Жду маму. Артемий Гаврилович говорит, что она всё ещё в Перми. А ты зачем здесь, Мавр?

— Посоветоваться насчёт забастовки. Нужно бастовать.

— Кому?

— Нам. Гимназистам.

— А за что?

— Согласились бы только бастовать, а за что — найдётся.

Илья уселся возле станка на ящик. Подставил такой же своему товарищу. Постлал на него газету, чтобы тот не испачкал шинель. Затем достал бутылку с молоком и два ломтя ржаного хлеба.

— А хозяйка у меня очень хорошая, — сказал он. — Я, конечно, плачу за всё и помогаю ей как могу. А бастовать, не зная за что, лишь бы бастовать, — это езда на пароходе за старым сараем по зелёному лугу.

— Как ты можешь сравнивать забастовку с игрой?

— Могу. Я ведь работаю на заводе. И мне отсюда виднее гимназия.

— Кирш! — послышался голос на весь цех. — Иль! Где же ты? Мы собрались.

— Сейчас, сейчас, — отозвался Ильюша. — Вечером я зайду, а теперь у нас разговор. Хотим создавать союз рабочей молодёжи… Извини.

И Ильюша, которого теперь называют Кирш, ушёл в своём замасленном гимназическом кителе с обтянутыми серой материей светлыми пуговицами, будто их нужно стыдиться и прятать. Что-то разделяет их теперь. И вообще здесь, за оградой завода, другая жизнь.

А бастовать всё равно нужно. Илька Киршбаум неправ, что не за что бастовать. Разве нельзя бастовать за то, чтобы он, Илья Киршбаум, был восстановлен в гимназии, чтобы Аппендикс принёс ему свои извинения?

VI

В комаровском кружке досужие и сытые люди по-прежнему между сменой блюд или пятой и шестой рюмками решали судьбы отечества и его правительства.

— А я скажу вам, милостивые государи, — говорил, повязавшись салфеткой по-господски,

Чураков, — у нас будет «президен» на манер французского, который станет как бы выборным царём на три или там четыре года. И в случае неподходящести этого правителя, — продолжал купчина, размахивая вилкой, — его не надо свергать. Переизбрал, — и никакой амбиции.

Другому мильвенскому тузишке, Куропаткину, президент представлялся человеком с деньгами.

— И не сомневаюсь, господа, — присоединился Куропаткин к предыдущему стратегу, — у президента капиталу будет никак не меньше двух-трёх десятков миллионов в устойчивых деньгах. Иначе как можно ему доверить империю? Такой воровать не будет, потому что своих денег невпроворот…

Доктору Комарову президент виделся человеком образованным. И он на ужине, посвящённом заре революции, просвещал своих гостей:

— Да не оставит нас мудрость… Да не покинет благоразумие в нашем предвидении. Во главе нового правительства я вижу человека многосторонне эрудированного и осведомлённого, сочиняющего книги по экономике и политике.

Говоря так, доктор Николай Никодимович Комаров не исключал себя на посту главы правительства.

— Да, да, да, — еле слышно подтверждал Турчанино-Турчаковский, спустившийся теперь до комаровских ужинов.

Демократия. Ничего не поделаешь. Приходится…

А что думали, как рассуждали такие, как Яков Кумынин?

— О чём шумят, — спрашивал Кумынин, — о чём спорят на митингах, когда чёрным по белому яснее ясного сказано: «Вся власть Учредительному собранию». Соберётся оно и учредит, какой власти быть, каких законов слушаться.

И когда тот же Африкан Краснобаев говорил, что Учредительное собрание может оказаться в руках буржуазных партий, Кумынин только посмеивался:

— Как же это может случиться… Нас, рабочих, нас, крестьян, нас, простого народа, больше. А их? Попов?.. Купцов?.. И прочих богатеев по пальцам можно пересчитать, сколько от них изберут? Одного или двух депутатишек…

Доверчивые и честные люди, такие, как Кумынин, и не представляли всех парламентских сложностей, предвыборной игры, соглашательства и прямого предательства партий. Слепота Кумынина и похожих на него ещё даст себя знать

не в одной только Мильве. Эти добросердечно, от широты души, от бесконечной доверчивости заблуждающиеся люди принесут ещё множество страданий себе и другим. И тоже — не в одной только Мильве…

К всеобщему единению всех призывали в проповедях и священники, молившиеся за Временное правительство и о даровании ему победы.

Так много произошло и так мало свершилось. Турчаковский, носивший теперь, как и многие красный бантик, по-прежнему управлял заводом, хотя и в строгой согласованности с деловым советом, избранным рабочими.

Трёхцветный царский флаг был перебит на древках белой полосой вниз и красной полосой кверху, что, по разъяснению знатоков, означало громадную победу народа и революции, олицетворяемых главенствующей красной полосой, и низвержение монархии, униженно представленное на флаге белой полосой. Что же касалось средней синей полосы, то её толковали по-разному. Она, видимо, олицетворяла нечто среднее: торговцев, ремесленников, священников, всяких бывших и тому подобное «ни то и ни сё».

Видимо, принадлежа теперь к этой средней полосе, пристав Вишневецкий поэтому и ходил

в синей бекеше, отороченной серой мерлушкой, и в сером треухе. Пусть себе ходит в своей синей бекеше и охотится на зайцев. Придёт время, и Учредительное собрание решит, как поступить с Вишневецким.

На бесчисленных митингах говорили о неслыханных переворотах, о величайших нововведениях, но это были только слова или внешние изменения. А по сути дела «оставалось то же в новой коже», как говорил Терентий Николаевич Лосев. И сказанное им трудно было опровергнуть.

Правда, ввели восьмичасовой рабочий день, но продукты и товары подорожали так намного, что большинство рабочих оставались на сверхурочные «вечеровки», а некоторые работали и по две смены.

У власти опять оказались люди, объединяемые теперь уже всем понятным словом — буржуазия.

Наивным, непосредственным и чистым глазам человека, если он даже очень юн, чаще видится жизнь такой, как она есть. Толлин и его товарищи находились ещё в том возрасте, когда глаза невозможно уговорить видеть не то, что есть, а то, что нужно, необходимо или хотя бы желательно благополучия ради.

Гимназия им была ближе всего. А в ней ничего-ничего не изменилось, если не считать замены гимна «Боже царя храни» гимном «Коль славен наш господь в Сионе» и замены портрета царя картиной лихой битвы казака Кузьмы Крючкова, посадившего на пику сразу чуть ли не семнадцать солдат вражеской армии.

— Разве только для этого свергали монархию? — резонно спрашивал Коля Сперанский у своих единомышленников, собравшихся в раздевалке нижнего этажа. — Нужно ли ждать Учредительного собрания, чтобы заставить уйти из гимназии Слепую кишку, чтобы вернуть в гимназию сына подпольщиков Киршбаумов, чтобы сделать необязательным предметом закон божий, чтобы сделать обязательным предметом изучение одного из ремёсел, чтобы назвать гимназию общеобразовательным политехническим училищем? Ведь такой её хотел сделать Всеволод Владимирович.

В раздевалке Колю Сперанского слушали до десяти гимназистов из разных классов. Тут были Волька Пламенев, Митька Байкалов, Бату Мухамедзянов, второй брат Сперанский, Геня Шумилин, и все они одобряли Сперанского.

— Тебе и быть председателем стачечного ко-

митета…

Программа требований и все её пункты были приняты с восторгом. Добавлений оказалось немного. Только два. Воля Пламенев предложил:

— Если мы требуем, чтобы убрали Калужникова, так должны же мы кого-то и провозгласить — я настаиваю на слове «провозгласить» — нашим директором.

И был принят новый пункт: «Требуем провозгласить директором учредителя нашего учебного заведения Всеволода Владимировича Тихомирова».

Предложенное Мавриком не прошло. Он хотел сбросить в пруд ненавистного медведя. Все сказали, что в гимназии этого не решить, однако все нашли требование правильным и революционным.

VII

Был выбран стачечный комитет. Маврик вошёл в него кандидатом.

Зато его выбрали делегатом для вручения ультиматума и требований.

На другой день, до начала уроков, Толлин, с красной повязкой на правом рукаве, что должно означать — революционер, и с белой повязкой

на левом рукаве, означающей — парламентёр, вошёл в учительскую.

Там собрались почти все учителя, даже те, у которых не было первых уроков. Они знали о забастовке, и многие хотели её, хотя и скрывали это.

Толлин вошёл, остановился, сделал общий глубокий поклон и сказал, как было велено, очень вежливо:

— Прошу извинения. — Затем, чтобы не заикнуться, он сделал паузу — вдох и выдох — и подошёл к протоиерею, подал хорошо переписанные, без единой пропущенной запятой, листы и сказал без обращения, как было велено старшеклассниками: — Ультиматум.

Калужников, не прикоснувшись к положенным перед ним листам, не взглянув на них, сказал:

— Чтением не удостою. Перешлю при случае в округ. Пусть решают там. — Затем, повернувшись спиной к парламентёру, отошёл к окну.

Это было слишком оскорбительно. Толлин ещё раз поклонился всем и, не удержавшись, объявил, не заикнувшись:

— Забастовка начинается сегодня.

Стачечный комитет, стоявший у дверей учительской в полном составе, слышал, а кто-то и

видел в щёлочку, что происходило там.

Вместо ожидаемого звонка затрубил охотничий рог. Его принёс Байкалов. Затем послышался бой ротного барабана гимназии. Он бил тревогу. Дежурные выстраивали свои классы в коридоре второго этажа. Председатель стачечного комитета объявил:

— Наши требования не стали даже читать. Забастовка начинается сегодня. Сейчас. Организованно и спокойно идите в раздевалку. Пикетчики, по местам!

Забастовка началась. Митька Байкалов, довольный своим избранием на пост начальника пикетов, успел дать по уху толстомясому Лёвке, оставшемуся в классе, и замахнуться на Сухарикова. Ударить такого, у кого «еле-еле душа в теле» было невозможно.

Учащиеся младших классов, которые не должны были участвовать в стачке, не могли не воспользоваться ею. Это два, а то и три свободных дня. Там тоже оказался свой стачечный комитет. И они тоже ринулись, хотя и менее организованно, в раздевалку…

В этот же день сестра и брат Киршбаумы, сидя у Матушкиных, обсуждали, как скорее вызволить Анну Семёновну. И когда было решено, что

в Пермь с письмами от Мильвенского Совета депутатов поедет Илья, раздался тихий стук в ставню окна.

Емельян Кузьмич вздрогнул. Это был очень знакомый и точный условный стук.

— Неужели он вернулся?! — крикнул побелевший Матушкин и побежал к двери. Не прошло и минуты, как Емельян Кузьмич завопил, запел, захлопал в ладоши:

— Господи, да святится имя твоё… Сто чертей и одна ящерица! Да неужели ж это вы?

На пороге стояли сияющие, смеющиеся исхудавшие и, судя по всему, голодные Григорий Савельевич в солдатской шинели и Анна Семёновна в чужом стареньком пальто.

— Мамочка!

— Папа!

Дети повисли на шее родителей. Шум, визг, слёзы и крики…

— Теперь всё позади… Теперь всё позади, — успокаивает Григорий Киршбаум не то детей, не то жену, а может быть, свои пошаливающие нервы.

VIII

В Мильве все говорили об ученических забастовках. Женская гимназия забастовала в знак солидарности с мужской. Чтобы не дать выглядеть забастовке «пустой», были предъявлены требования не обязывать гимназисток появляться только в форменных платьях и разрешать носить причёску с шестого класса, а также не ограничивать цвет чулок только чёрным и тёмно-коричневым. Требовалось также отменить внеклассный надзор, хотя такового и не было, да и некому его было вести.

Городское училище не могло не забастовать хотя бы потому, что какие-то гимназисты-трубочисты бастуют, а «городские» не участвуют в революции. Учащиеся городского училища требовали для детей солдат бесплатную одежду, учебники и завтраки. Требовали пятого класса, в котором было бы можно по желанию получать специальности: чертёжника, разметчика, табельщика, конторщика и нормировщика.

Всеволод Владимирович считал забастовку неизбежной потребностью возраста и своеобразным откликом на события, происходящие в стране. Видя, как его питомцы с деланно се-

рьёзными лицами разговаривали друг с другом, он находил закономерным и это подражание взрослым.

С Калужниковым после истории на молитве с отменой пения гимна Всеволод Владимирович старался не разговаривать. Тихомиров знал, что в учебном округе сидят те же лица, что и при царе, и там та же косность, что и была. И что Калужников как был, так и останется исполнять обязанности директора. Однако Всеволод Владимирович ошибался. Старым чиновникам приходилось лавировать и приспосабливаться к времени, делать хотя бы вид, что происходят решительные перемены.

Неожиданно для всех явился чин из учебного округа. Его не послали бы сюда через снега и леса, но забастовка гимназии звучала политическим протестом. И требования гимназистов были составлены настолько солидно, что за ними чувствовалась сила, с которой нужно было ладить.

По приезде чина из округа, человека обходительного, приветливого, вкрадчивого, носившего благозвучнейшую фамилию Алякринский, через пикеты была передана покорнейшая просьба к учащимся собраться в актовом зале и поговорить по существу требований бастующих.

А накануне уже пронёсся слух, что по причине присоединения к Мильве двух новых церковных приходов отец протоиерей вынужден отдать бразды управления гимназией, которые он держал временно, другому лицу. Это уже можно было назвать уступками, которые удивили учителей и Всеволода Владимировича.

На другой день Алякринский выступил перед учащимися и начал с того, что его, как поборника новшеств и сторонника реформ на ниве народного просвещения, приводят в неописуемый восторг и вызывают священную зависть не только лишь слог ультиматума и умение лаконичнейше выражать свои требования, но и само существо манускрипта.

Он выразил полнейшее согласие с каждой строкой требований от первой буквы до завершающей точки.

Раздались шумные аплодисменты. Он и рассчитывал на это. Много ли нужно безусым забастовщикам.

— Учебный округ поручил мне поздравить, — продолжал Алякринский, — провозглашённого вами, благодарные питомцы, выдающегося и бескорыстнейшего учредителя вашей родной гимназии и вручить уполномочивающие на

директорствование манускрипты. — Он, видимо, любил это латинское слово.

Теперь кричали «ура!» все. И учащиеся, и школьный сторож, и два истопника, стоящие в коридоре.

— Далее по пунктам, — продолжал он всё так же галантно и всепочтительнейше. — А разве ваша гимназия не является политехнической, коли в ней свои мастерские?.. Что касается переименования… В названии ли дело? И если вы назовёте меня не Алякринским, а Мараклинским, изменюсь ли я от этого?

Шутка очень понравилась всем, и особенно преподавательнице немецкого языка Нинели Шульгиной, которая тотчас же опустила глаза, изобразив своим ртом маленькую-премаленькую букву «о», и принялась мять свою сумочку.

Видя своё отражение в сердцах, душах учащихся и прехорошенькой учительницы немецкого языка, Алякринский заговорил о законе божием:

— Что же касается изучения этого учебного предмета, то я бы от себя лично позволил заметить, что это дело совести, благоразумия и дальновидности каждого из учащихся и главным образом родителей…

Опытнейший оратор возвращение в гимназию

Киршбаума приберёг напоследок.

— Меня поражает, — воскликнул он, — как можно просить о восстановлении исключённого круглого пятёрочника Ильи Киршбаума, коли его восстановила сама революция, сметающая все несправедливости.

Снова взрыв радости. И Алякринский, сняв пенсне, касаясь белоснежным платком глаз, прочувствованно сказал:

— Как поразительно… как трогательно совпадают наши мысли…

Забастовка кончилась. Учащиеся с революционными песнями разошлись по домам, чтобы рассказать родителям, как они выиграли забастовку.

Вечером Алякринский был зван к нотариусу Шульгину. На другой день к доктору Комарову. Тут и там была прелестная Нинель, которую в гимназии, как учительницу немецкого языка, называли Ниной Викторовной. На третий день был большой званый вечер у того же Шульгина. А на четвёртый день в гимназии не было уроков немецкого языка. Засидевшаяся в старых девах Нинель сбежала с Алякринским, и нужно было подыскивать новую учительницу.

IX

Наш добрый знакомый Терентий Николаевич Лосев был прав, поучая в прошлое лето молодых грибников: «Если хочешь собрать в свою корзину хорошие грибы, не бери в неё крошливых синявок, горьких свинарей и всякую шушеру-мушеру. Их потом трудно будет выбирать и выбрасывать, а хорошие грибы будет не во что класть». И мы не должны бы брать в нашу корзину таких мухоморов, как, например, Алякринский. Между тем он и Всесвятский, будучи поганками различной ядовитости и несхожей окраски, представляли собой не единичные экземпляры, а грибные колонии ведьминых колец, окружающих благородные по своей идее учреждения. Например, Советы рабочих и солдатских депутатов. Особым грибом был доктор Николай Никодимович Комаров. Теперь у него новое увлечение. Он выступает на митингах… Говорит он ярко, вдохновенно и вообще правильно. Но говорит он не для других, а для себя. И вся его бурная деятельность — это самоуслада. Ему хочется нравиться, как и Алякринскому. Он также из тех пустых грибов, у которых приятный цвет, тонкий запах, солидная внешность, а внутри — ничего…

Артемию Гавриловичу Кулёмину хочется спросить, надолго ли Комаров намерен целиком отдавать себя революции, но зачем обижать в общем-то безвредного человека. Другое дело — Игнатий Краснобаев. Он тоже пожаловал на воскресный чай к доктору Комарову. В Краснобаеве революционная одержимость прорвалась тоже неожиданно. Зато Игнатий Тимофеевич сразу очутился на больших ролях. Второе лицо в Совете рабочих и солдатских депутатов. Зауряд-техник механического цеха. Подобное инженерно-техническое звание придумал Турчаковский для лиц, не получивших технического образования, но имеющих богатый опыт. Правда, зауряд-техника Краснобаева освободили от посещения цеха с сохранением жалованья ввиду несения им тяжкого бремени выборных должностей.

Сам Турчанино-Турчаковский советуется с ним и зазывает к себе на демократические пельмени. Теперь и внешне Краснобаев был другим. Он вживался в новый френч с четырьмя накладными карманами, сшитый по совету Турчаковского, сказавшего, что и одежда должна соответствовать новому высокому положению Игнатия Тимофеевича, который, может быть и даже не

может быть, а наверняка, будет избран в Учредительное собрание от Мильвенского завода…

— У кого восьмичасовой рабочий день, а мне шестнадцати мало, — рассказывал Краснобаев о своей работе. — Ну да на это грех жаловаться. Революция требует жертв. Не так ли, Артемий?

— Откуда мне знать, Игнатий? — отозвался, опуская глаза, Кулёмин.

— Зачем же такая скромность? Ты пострадал за революцию. Конечно, если б глаже да тише, так можно было бы и миновать тюрьмы.

— Кто как умеет, Игнатий, — сказал Кулёмин, не поднимая глаз на своего давнего соседа.

— Говорят, Игнатий Тимофеевич, вы купили недавно резвую лошадку? — спросил, не скрывая улыбки, Киршбаум.

— Купил. А почему бы и не купить, когда теперь так много езды? — ответил Краснобаев. — И лошадь у нас, и дом, и всё прочее — обязательное обзаведение.

— Да… Вы ведь и новый дом купили. Кажется, у вдов. У солдаток.

— А что?

— Ничего. Я вот не купил, а даже потерял квартиру. — Произнося эти слова, Киршбаум без умысла положил на стол изувеченную руку.

Краснобаев отвернулся, умолкнув. И все умолкли. Теперь разговаривала только левая рука Киршбаума. Она говорила примерно так: вот ты просидел всю войну в тылу, ловчился, зарабатывал на военных заказах, купил новый дом, а теперь оказался у власти и пользуешься за счёт завода привилегиями.

Неприятную правду говорила рука фронтовика. Нужно заставить её замолчать.

— Ты опять, Григорий Савельевич, будешь штемпельную мастерскую открывать? — спросил Краснобаев.

— Кому она теперь нужна?

— Есть-то ведь надо.

— А разве ты не поможешь мне найти работу на заводе? У меня же осталась правая рука.

— Нет, почему же не помочь, — ответил Краснобаев. — Я всем помогаю. Но своё-то дело открыть было бы надёжнее для тебя. Живо бы в твёрдую колею вошёл и одежонку справил… И сына бы доучивать стал. О революции помни, но и о себе не забывай…

— Игнатий, — громко спросил Кулёмин, — читаешь ли ты хотя бы изредка наши газеты?

— Нет. А что?

— Сильная статья там недавно была нашего

земляка Тихомирова Валерия Всеволодовича.

— Жив?

— И не думал умирать. Таких бесстрашных людей смерть боится.

— А о чём он пишет?

— Статья называется «Одна правда на свете». И начинается словами: «Кто старается понравиться и угодить всем, становится для всех противен и ненавистен…» — отчеканив так каждое слово, Кулёмин поднялся и откланялся. — Просим прощения, нас с Григорием Савельевичем ждут у Матушкиных, так что имеем честь…

Вторая глава

I

В скучную, одинокую жизнь Любови Матвеевны недавно пришло приятное известие, а за ним другое. В первом сообщалось, что её Герасим Петрович теперь уже не нижний чин. Он произведён. Он зауряд-военный чиновник. Почти офицер, но не строевой. «Почти техник, но не техник», — говорил себе Маврик, зная, что Игнатий Краснобаев теперь стал тоже «зауряд».

Во втором известии говорилось о приезде отчима Маврика. Любовь Матвеевна вынула из сундуков ковры, приобретённые на пиво, покрыла кровати плюшевыми одеялами, расставила всё добытое в отсутствие мужа, чтобы он сразу же по приезде оказался в уюте не худшем, чем у людей.

Новые шторы. Новые занавесочки. В буфете три сервиза. Новая оленья доха и новое штучное ружьё. Уже ждёт примерки костюм для визитов.

Хотя Вишневецкий теперь и не тот гость, которого можно звать, однако же, если бы не он, так умно подсказавший ей, как нужно распорядиться

пивом, обречённым на слив в снег, то было ли бы у неё это всё? Пристава, наверно, всё-таки следует пригласить. Конечно, без гостей и поздно вечером.

Герасим Петрович приехал раньше, чем его ждали. Он появился в офицерской шинели. В серой каракулевой папахе. На погонах по звёздочке. Ириша дичится отца. Она не помнит его. А он не спускает её с рук. Раздаются подарки. Маврику преподносится фотографический аппарат фирмы «Ернеман» со всеми принадлежностями. Пусть с запозданием, но пришёл аппарат. Теперь можно накапливать повествовательные фотографические альбомы. И Маврикий готов сделать первые снимки. Но…

Отчим говорит:

— Ещё не кончился учебный год, Андреич. Аппарат может отвлечь тебя. А кроме того, я купил эту дорогую и серьёзную вещь на будущее… Когда ты подрастёшь.

Аппарат и принадлежности собираются и складываются в сундук. Мать молчит. Она, конечно, всем сердцем хочет отдать сыну аппарат. Он так был нежен с ней всё это время. Мать видела в нём свою опору. Она знала, что из него получится хороший человек. Кем он станет, было трудно

предположить. Она не исключала увидеть его учителем, сочинителем пьес, начальником типографии или почты. Кем бы он ни стал, мать может положиться на него как на кормильца. Эти мысли пришли в голову, потому что Герасим Петрович приехал удивительно красивым. Форма так шла ему. А она за эти годы изменилась не к лучшему.

Всё бывает в жизни. К тому же… он моложе её.

Приезд отчима вернул оскорбительное прошлое. Маврика не называли петрушкой, но это прозвище так недвусмысленно подтверждалось подаренным и тут же отобранным аппаратом.

Чтобы не уронить себя, чтобы скрыть свои страдания, Маврикий, сказав, что послезавтра трудная диктовка и ему нужно готовиться к ней, ушёл из дому.

Маврик направился к тёте Кате в Замильвье через плотину и, как это бывало часто, задержался у медведя,

Все привыкли к тому, что на его горбу корона. Даже кто-то из просвещённых людей сказал, что эта корона никому не мешает и ничем не угрожает. Маврик не соглашался с этим. Каким памятником, чему памятником может быть зубастый зверь с короной на горбу. Разглядывая с младенческих лет знакомый монумент,

Маврик думал о шестиглавом чудище, которое он топчет и которое совершенно определённо ещё в прошлом году называли крамолой, то есть революцией.

Маврику захотелось пойти к Киршбаумам, и он направился к ним. Всю дорогу он думал о медведе и, придя к Киршбаумам, продолжил свои мысли вслух.

Киршбаум, соглашаясь с Мавриком относительно медведя, сказал:

— Едва ли можно придумать более злую сатиру. Российский капитализм был горбат от рождения. И он сгорбился ещё больше, когда стал матёрым зверем. Таким он остаётся и теперь. Горбатого может исправить только могила.

— Хорошо бы его сбросить с камня в пруд. Тут очень глубоко. Леска в семнадцать колен не достаёт до дна. Это больше пяти саженей. Со дна пруда никто и никогда не поднял бы медведя.

— Кому нужно, Маврик, возиться с этой махиной? В нём же, наверно, пудов двести. А то и больше, если он отлит не пустотелым. Хорошо, если б с него хотя бы свинтили корону.

Об этом тоже думал когда-то Маврик. А теперь он твёрдо решил отвинтить корону и сбросить её в пруд.

Этим планом он поделился с Ильюшей.

— А что ты думаешь, Мавр, и свернём. Нужно только узнать размер гаек и подобрать ключ.

Залезая мальчишкой на медведя, Маврик точно помнил, что корона привинчена четырьмя большими гайками, но каков их размер — он не знал. Ему на память пришёл раздвижной французский ключ. Тот самый французский ключ, что изображён скрещённым с молотком на фуражках техников. Если бы достать такой ключ!

Оказалось, что можно достать и не такой, а цепной, с большим рычагом.

— Перед таким ключом не устоит никакая гайка, — заявил знающий Илья. — И такой ключ есть у Терентия Николаевича.

Услышав это дорогое имя, Маврик вспомнил, как Терентий Николаевич всегда потакал их затеям. И уж если кому-то можно было довериться без опасений, то только ему, верному другу детства. Захотелось взять в компанию по свёртыванию короны и Санчика Денисова.

— Решено?

— Решено!

II

А дальше всё было как в сказке. Санчик, конечно, немедленно согласился раскороновать медведя. Терентий Николаевич тоже сказал:

— В чём дело, рабочий класс? Только керосинчику всё ж таки нужно захватить. Вдруг да прикипели, приржавели гайки к болтам.

Ночь была мглистая и тёплая. На счастье, не горели на плотине дуговые электрические фонари. Полицейского поста не было и в помине.

Три друга благополучно отвернули три гайки. Четвёртую заело.

— Значит, и на мой пай осталась гаечка. Спасибо, не обошли своего старого дружка.

Терентий Николаевич полез на памятник, и гайка с первого же рывка отломилась вместе с изоржавевшим болтом.

Самое лёгкое оказалось самым трудным. Корона была литой и тяжёлой. Её нужно было, во-первых, снимая с анкерных болтов, приподнять, а потом скатить с горба по хребту к хвосту, не дав ей сползти по боку медведя.

Нашлась доска. Доску подвели под корону. Затем её протащили по доске к хвосту и скинули в пруд. Корона будто сама рвалась в воду. Пока-

тившись, она не упала на кромку, а булькнула в промежуток отбитого от кромки плотины льда. Так что не пришлось и спускаться на лёд.

— Теперь скорым ходом-пароходом по домам! — скомандовал Терентий Николаевич.

Дуговые фонари зажглись до того, как Маврик пришёл домой.

О похищении короны с горбатого медведя стало известно ночью. Утром об этом узнали рабочие, идущие в завод через плотину, а затем и весь завод.

С наступлением дня по плотине нельзя было ни пройти ни проехать. Всем хотелось посмотреть на медведя без короны. Побывал на плотине и доктор Комаров. Он сказал:

— И очень правильно сделали… Если он нёс на своей спине эмблему, не соответствующую времени, её нужно было сбросить, как сбрасываем мы всё, противоречащее нашему революционному духу…

А на обратном пути, едучи в своих лёгких санках, доктор пожалел, что не было торжественного церемониала сбрасывания короны. Как бы это могло быть театрально… Корону можно было бы отправить в печь для переливки на оборону.

Турчанино-Турчаковский тоже имел суждение

по этому поводу на деловом совете:

— Я и сам думал об этом, да постеснялся выглядеть слишком левым. Мне давно казалось, что корону следует заменить якорем.

— А почему именно якорем? — играя в некоторую оппозицию, по крайней мере интонационно, спросил зауряд-техник Краснобаев.

— Якорь, Игнатий Тимофеевич, — мягко принялся отвечать Турчаковский, — помимо того, что является давнейшим изделием нашего завода, ещё олицетворяет собой надежду! Это символ надежды.

— А на что? — спросил снова с наигранной ершистостью Краснобаев.

— Все люди во все века надеялись на что-то! — с той же мягкостью разъяснил Турчаковский. — А теперь после революции мы живём столькими надеждами! И такими, — он простёр руки, — великими надеждами.

— А как же насчёт крамолы, которую попирает медведь?

— Игнатий Тимофеевич, это не крамола, а са-модер-жа-ви-е… Ненавистный царизм растаптывает русский народ в образе проснувшегося после вековой спячки могущественнейшего исполина леса, которого из чёрного нужно перекрасить в…

во всяком случае, подсветлить.

И всем это понравилось.

Было велено подыскать четырёхлапый якорь или отковать новый по размеру.

III

В Мильве каждый день что-нибудь да случалось, и ничего не происходило существенного, изменяющего жизнь, становившуюся день ото дня труднее.

Из несущественного, занявшего некоторое время внимание, была продажа дома приехавшей в Мильву Соскиной. У нотариуса Виктора Самсоновича Шульгина, всегда восторгавшегося особняком и парком Соскиной, никогда не хватило бы денег на покупку дома Соскиной, а теперь их оказалось более чем достаточно. Соскина просила очень немного, но золотыми монетами. А они были у дальновидного нотариуса.

Придя к Соскиной для завершающего разговора, Шульгину предстояло познакомиться с её мужем. Он не сразу, но и не так долго узнавал в важном господине с шелковистой бородкой Антонина Всесвятского.

— Извините, если мне показалось, что мы были знакомы. И если мне это действительно показа-

лось, то давайте знакомиться.

— Как вам угодно, Виктор Самсонович. Я человек свободный и независимый во всех отношениях.

— Чем же вы изволите заниматься? Уж не состоите ли в какой-нибудь из партий?

— Да. Я представляю собой партию анархистов-индивидуалистов.

— Не слыхал-с такой.

— Это новейшая партия. Она легко умещается в одном пиджаке. Мне кажется, вы тоже представляете из себя такую.

Сделка не заняла много времени. Соскина умчалась в Петроград, где её ждёт полное разорение. Всесвятскому понадобились соскинские миллионы на подкуп охраняющих бывшего царя, которого он задумал выкрасть и перепродать тому из союзных правительств, которое дороже заплатит. Главное — выкрасть, а продать нетрудно. Это стоящая афера. Дело не только в деньгах, но и в мировой славе. Не так часто в истории мира воровали и продавали царей. Не предали бы только сообщники и не погубили гениальную затею. Что ты ни говори, хоть и бывший, но император…

А в Омутихе на мельнице в бывшем тихо-

мировском доме строились свои планы. Они были несравненно мельче и благовиднее, хотя суть их была той же самой — воспользоваться «неразберихой», добыть, приумножить то, что обесценилось в сумятице войны. Поэтому, если мужики под шумок рубят казённый лес и продают почти даром за посевное зерно отличные брёвна, бери их, Сидор Петрович, складывай, укрывай. Есть-пить не просят. Брошенный овдовевшей солдаткой клин земли будет стоить подороже золота. Покупай, Сидор Петрович, да делай вид, будто ты это жалеючи соглашаешься взять маловажную землю. Глупо скупать скот. Он требует ухода, а медь, листовое железо, что тащат с завода недоедающие люди, тоже подымется в цене, как только люди, прикончив войну, начнут латать свои прорехи.

Кому теперь нужен тот же гвоздь? Кто строится теперь? А как понадобятся гвозди, когда вернутся уцелевшие на войне!

На горбатом медведе нет короны, но медведище царствует. Он ведёт за собой ещё многих людей, и ему ещё очень многие поклоняются.

Как же сломать это всё и можно ли сломать?

И однажды, задумавшись у окна в тихой квартире тёти Кати, Маврик спрашивает:

— Правда ведь, тётя Катя, я стал серьёзнее?

— Ты всегда был серьёзным мальчиком. Серьёзным и жизнерадостным.

— Нет. Это неверно. Я никогда не был серьёзным. И может быть, никогда не буду. Вообразив себя поэтом, я написал глупый роман в стихах. Вообразив себя взрослым в восемь лет, я поверил, что Лера влюбилась в меня. Это же глупо.

— Почему же? Если б я была Лерой, то разве бы я взглянула на кого-нибудь?

— То ты, тётя Катя. В любовь играть нельзя, как и в революцию. А я играл… Забастовка в гимназии разве не была игрой? Разве эта игра не продолжается?.. Тётя Катя, не перебивай!.. Мне пятнадцатый год. И если бы не мой низкий рост, я бы походил на мужчину.

— Да ты и сейчас походишь, Мавруша, очень походишь!

— Нет. Я хочу походить. Я играю в мужчину. Тётя Катя, когда же, когда из моей жизни уйдёт игра, уйдёт детство, которое не отстаёт от меня? Ведь отвинчивание короны с медведя на плотине — это тоже было мальчишеством.

— Это ты отвинтил её, Мавруша?

— Тебя это пугает, тётя Катя?..

— Нет, нет. Мне почему-то хотелось думать, что

это сделал ты. И, конечно, Ильюша. И, конечно, Санчик.

— И, конечно, Терентий Николаевич. Это он разболтал тебе.

— Нет, Маврик, я могу поклясться, мне этого никто не говорил.

— Как это удивительно! Наверное, ты и я — это почти что одно.

— Наверно.

— А с папой я, кажется, на разных политических позициях.

Екатерина Матвеевна не отозвалась на это. Тогда Маврик спросил прямее:

— Так много партий, что не запомнишь их всех. Какая, ты думаешь, лучшая?

— Я так далека от всего этого и даже не знаю, как ответить.

— И не можешь посоветовать мне, какую лучше выбрать?

— Зачем же тебе советоваться со мной? У тебя столько хороших и умных друзей. А я скажу тебе, что ранний и торопливый выбор партии тоже может оказаться игрой…

IV

Тётка и племянник теперь сдружились по-новому. Как взрослый со взрослым. И тем более было странным то, что в разговорах они почти не касались Ивана Макаровича Бархатова. Они скрывали друг от друга то, что потеряло всякий смысл держать в тайне.

На другой же день, когда в Мильве стало известно о падении монархии, счастливая Екатерина Матвеевна хотела рассказать своему самому близкому человеку о том, как с первой встречи в Перми у неё проснулись добрые чувства к Бархатову и как после его приезда в Мильву она поняла, что любит Ивана Макаровича. Боясь этого чувства, уходя от него, она приближалась к нему. Екатерина Матвеевна рассказала бы о встречах с ним в Елабуге, в Верхотурье, не утаив ничего.

Ей нужна была исповедь. Она всё ещё в чём-то чувствовала виноватой себя, хотя и не видела за собой никакой вины.

Прошлое в ней не было сильнее её большой любви, но всё же оно давало себя знать. И что скажет соседка, как отнесётся к этому родная сестра, для неё не было безразлично. И тем более очень важна была для неё оценка Маврика. Так

уж была устроена Екатерина Матвеевна.

Откладывая со дня на день разговор с племянником о своём замужестве, она в конце концов пришла к заключению, что будет правильнее, если обо всём расскажет ему сам Иван Макарович.

А почему же Маврик избегал счастливого для них обоих разговора? Прежде всего, как и раньше, он считал неуместным вмешиваться в тёти Катины тайны. Может быть, всё на самом деле не так, как ему хочется верить? Может быть, как случается с самыми хорошими людьми, они разонравились друг другу? Ведь почему-то от него нет никаких известий, хотя теперь он мог бы написать открыто. И это тоже заставляет думать, что в их отношениях произошли не очень хорошие изменения. Зачем же напоминать о нём тёте Кате и ранить её, заставлять стыдиться, раскаиваться. Нет, он этого никогда не сделает. Другое дело, что он никогда не сумеет плохо относиться к Ивану Макаровичу. И он не сумеет обвинить его, даже если… Ну, правда же, тётя Катя не так уж красива, хотя и очень цветуща для её лет… Правда, что она довольно далека от революции… Нет, Маврик не будет винить его. А виденное им в Верхотурье на берегу излучины Туры он забудет для всех и для себя.

Но, как бывает обычно, сложные узлы, запутанные истории развязываются нередко просто и быстро.

Екатерина Матвеевна получила от своего мужа письмо и не раздумывая показала его Маврику. И Маврик прочитал:

«Родная моя! Прости меня за молчание. Там, где я был, оттуда не доходят письма. Сегодня с гордостью могу сказать, что выполнил очень большое поручение, такое большое, что даже не могу поверить в то, что было. В ближайшие недели буду на Урале и, конечно, в Мильве. Следующее письмо пошлю завтра, оно будет подробнее. Целую тебя и барашу-кудряшу…»

Тут Маврик прервал чтение и, приникнув к тётке, сказал:

— Я очень счастлив, тётечка Катечка…

Не будем давать волю розовым сентиментальным строкам, которые готовы занять несколько страниц, скажем только, что этот день для Маврика был днём многих и неожиданных развязок.

V

Не зная, куда деться от счастья, заполнившего всего его, Маврик решил пробежаться по плотине. А потом ему захотелось побывать на Мёртвой го-

ре, где самые ранние проталины. Там начинается весна раньше, чем где-либо в Мильве.

Идя через кладбище, Маврик никак не предполагал, что здесь произойдёт драматическая сцена, и даже не одна.

Надо сказать, что кладбище в Мильве вовсе не такое уж мрачное место. Огромные разлапистые сосны, могучие лиственницы в сочетании с лиственными деревьями делают его похожим на парк.

И весной, когда ещё всюду снег, здесь немало гуляющих. Были они и сегодня. И среди них Маврик встретил Леру Тихомирову и Волю Пламенева. Они шли медленно по широкой, как улица, аллее. Лера выглядела совсем взрослой. Ей семнадцать лет. Она всегда будет старше Маврика на два года.

То ли почувствовав за собой шаги, то ли глаза Маврика, Лера оглянулась.

— И ты здесь, Маврик? Здравствуй!

— Здравствуй, Лера, — ответил на «ты» Маврик. Зачем же он ей будет говорить «вы», когда она говорит «ты»?

Они бы, наверно, как все эти годы, раскланявшись, разошлись, но глаза Леры смеялись, а глаза Воли Пламенева насмехались. Он спросил:

— Уж не назначил ли ты кому-нибудь здесь свидание? — Его глаза насмехались ещё более.

В это время, неожиданно до невероятности, меж могил и новых крестов появилась девушка. Это была Соня. Та самая Сонечка Краснобаева, которая шутливо прочилась в невесты Маврику. Соня, не ожидая и, конечно, не желая такой встречи, на секунду замерла, потом спряталась за памятник, похожий на часовню. Лера, заметя это, сказала:

— В самом деле, Маврикий Андрееивч, вы, такой влюбчивый молодой человек, наверно, здесь не просто так…

Этого оказалось достаточно, чтобы «завести» Маврика. И он стал говорить, не заикаясь, не ожидая от себя таких точных слов. Может быть, не только обида, но и прочитанное письмо от Ивана Макаровича придавали ему и силу, и красноречие, и смелость. Он сказал:

— Нет, я никому не назначал свиданий с тех пор, как в вашем доме, на мельнице, посмеялись над моей ребячьей любовью, которую ты, Лера, заставила зажечься во мне под рябинами на Ходовой улице, когда я был ребёнком.

Лера заметно смутилась На её щеках появился румянец.

Соня Краснобаева не хотела слушать далее их разговор, но какая-то сила удерживала её.

— Ну что ты, право, Маврик, — сказала тихо Лера. — Это всё было милой шуткой…

— Милая шутка стоила мне горьких слёз, — сказал Маврик. — Это было первое безутешное горе…

— Но теперь-то, когда всё прошло и забылось, зачем вспоминать об этом? — негромко и наставительно сказала Лера.

— Откуда ты можешь знать, Лера, что всё забылось и прошло?

Соня снова попыталась покинуть свою засаду и не могла. Хотела — и не могла.

— Послушай, ты забываешься! — прикрикнул на Маврика Пламенев, как старший на младшего. — Я запрещаю тебе…

— Запрещаешь? Ты запрещаешь? А разве это в твоих силах? — спросил Маврик. — Разве можно запретить мечтать, верить, надеяться, любить… Этого не может запретить никто… Никто, кроме смерти… — Так он сказал, наверно, потому, что кругом были могильные кресты, надгробные плиты и сама гора называлась Мёртвой. — Ты, может быть, запретишь Лере встречаться со мною во сне? Попробуй уведи её из моих снов!

Пламенев подошёл к Маврику и хотел приподнять его за воротник шинели и тряхнуть, как это делают с озорными мальчишками, а затем наподдать коленом, но пронзительный голос Леры остановил его:

— Не смейте, Пламенев! Это бесчестно. Вы хотите воспользоваться своим превосходством?

— Превосходством? — переспросил Маврик. — Каким? Мускулы — превосходство быка, но не человека… По-латыни это изречение звучит выразительнее, — сказал он только Лере и затем, поклонившись тоже только ей, заметил: — Какая сегодня хорошая погода. Прошу передать поклон от меня и от тёти Кати Варваре Николаевне… Всего хорошего.

Маврик ещё раз поклонился Лере и ушёл. Удивлённая Лера осталась посреди главной аллеи. Обескураженный Пламенев поднял вытаявший сосновый сук и пустил им в удаляющегося Толлина. Сук не долетел до цели. Маврик не оглянулся.

— Тоже мне… — сказал Пламенев. — Щенок, наторевший тявкать трагическими монологами. Доморощенный стихоплёт…

Лера не отозвалась, провожая Маврика виноватыми, широко раскрытыми глазами. Она искала слова и взвешивала их.

Слов нашлось много, и хороших слов, но почему-то не сказалось ни одно из них. Наверно, Лере было жаль обидеть Волю Пламенева, который так неожиданно померк для неё. Как будто ничего не произошло, но что-то случилось непоправимое. И Лера сказала Пламеневу:

— Воля, вам лучше всего сейчас молча оставить меня, если вы хотите на что-то надеяться. Идите же, — сказала она, свернув на боковую просеку.

Маврик был уже далеко. Он не слышал и не видел, что происходило за его спиной. Но всё же ему пришлось оглянуться. Его догнала Сонечка Краснобаева.

— Мы так давно не виделись и не говорили.

Перед Мавриком стояла тоненькая гимназистка с тёмными печальными и взрослыми глазами.

— Да, Соня, мы так давно не виделись…

— Какой ты стал большой-пребольшой и умный-преумный. Я всегда верила, что будешь таким, и гордилась тобой.

Маврик, остановившись, настороженно спросил:

— А зачем тебе нужно гордиться мною?

— Не знаю, — тихо сказала Соня. — Только ты всё это время жил в моих глазах. Стоило только

мне их закрыть, и ты тут. — Соня закрыла глаза, повторяя: — И ты тут. Где бы ты ни был и кто бы ни был с тобой, я никогда не отпускала и не отпущу тебя из моих глаз… Этого мне тоже никто не может запретить, как и тебе видеть во сне ту, которая не стоит ни одного твоего сна, ни одного колечка твоих волос, ни одного лучика твоих глаз…

— Это неправда! — крикнул Маврик.

VI

Ранняя влюблённость не похвальна, но если она чиста, то за что же её хулить?

Соня, признавшись Маврику, стремглав умчалась, счастливая, весёлая, окрылённая…

Маврик, желая осмыслить события, направился было к дедушке с бабушкой, но его привлёк стон и храп.

Меж могильных холмов лежал оборванный, с грязным лицом, заросшим свалявшимися седыми волосам, очень дряхлый старик. Он был смертельно пьян. И смерть сторожила его здесь, на кладбище, где было сыро, а ледяная земля и не думала оттаивать.

Маврик не сразу узнал лежащего. Это был изгнанный законоучитель кладбищенской цер-

ковноприходской школы отец Михаил.

Маврик слышал, что просвирня Дударина очень плохо обращается со своим старым спившимся сударем. Бьёт его. Отбирает у него довольно большую пенсию благочинного, ушедшего на покой. Старик, страдающий неизлечимым алкоголизмом, был вынужден просить милостыню или, появляясь у казёнки, молить о глотке водки.

Как ужасно, как жестоко поступила с ним жизнь! Но должен ли быть жестоким он — порядочный человек Маврикий Толлин? Не безнравственно ли пройти мимо, не оказав помощи?

Маврик побежал за церковным сторожем. Нашёлся и другой человек, прирабатывавший на кладбище. Они согласились за предложенные Мавриком деньги стащить пьяного в просвирнин дом, находившийся напротив кладбища.

Просвирне Маврик сказал, что ей придётся отвечать перед судом, если она не позаботится о своём гражданском муже.

— Теперь не старое время, — напомнил Маврик, обещая поговорить с протоиереем Калужниковым об устройстве отца Михаила в богадельню.

Что было и сделано Мавриком. Однако же скажем, чтобы не возвращаться к личности кладбищенского попа, что он, попав в режим бо-

гадельни, без алкоголя не прожил и двух недель. Но всё же умер по-человечески, не под забором и в трезвом виде.

VII

О приезде Прохорова в Мильву стало известно в день открытия обновлённого памятника на плотине. После того как были произнесены примелькавшимися ораторами помпезные речи, после того как театрально сполз белый полог, закрывавший перекрашенного в цвет старой бронзы медведя, который нёс теперь на своём горбу четырёхлапый символ надежды — позолоченный якорь, слово было предоставлено Прохорову.

У Маврика, стоявшего в толпе вместе с Ильюшей и Санчиком, замерло сердце. На трибуне появился Иван Макарович Бархатов. Хотелось крикнуть. Хотелось побежать к нему. Но разве это возможно? Иван Макарович, может быть, теперь не только не Бархатов, но и не Иван Макарович. Но всё равно это тот человек, который навсегда записан в сердце Маврика Иваном Макаровичем. Нужно взять себя в руки и слушать его.

— Товарищи! Граждане! Господа! — начал он. — Якорь, олицетворяющий надежду лучше, чем

корона, олицетворяющая власть царя. Однако же не всякая надежда достойна того, чтобы в честь неё возводились памятники…

В толпе пришедших на открытие перекрашенного медведя послышался шумок одобрения.

— Низвергнут и развенчан культ монархов, управлявших народами великой страны по самому нелепому из всех нелепых прав, праву семейно-родовой наследственности. Этому с трудом будут верить потомки… Но если кто-то, открывая этот памятник, надеется, что царя свергли для того, чтобы расчистить путь к власти капиталистам и помещикам, это — напрасная надежда.

— На что вы намекаете? На что надеетесь? — послышался голос. Этот голос принадлежал Игнатию Краснобаеву.

И он получил ответ:

— На лучшее. На большее. На величайшее.

Маврику нужно было как можно скорее побежать в Замильвье к тётке. Но ему в то же время хотелось знать, что будет дальше на трибуне.

А на трибуне приезжий всё более овладевал вниманием слушающих. В его самых обыкновенных словах звучала правда, которую нельзя не понять и не принять.

— Власть должна принадлежать тем, кому принадлежит всё — от этого старого завода до этой трибуны. Всё, созданное трудовыми руками народа. Народ будет владеть и управлять всем сам. Сам! — повторил Прохоров. — Это значит, что к управлению должны быть привлечены и Яков Евсеевич Кумынин, и Терентий Николаевич Лосев, и, уж конечно, Африкан Тимофеевич Краснобаев, — называя их, Прохоров указывал рукой на знакомых, известных всей Мильве рабочих.

Сеня, Толя и Сонечка Краснобаевы стояли неподалёку от трибуны рядом с отцом. Они мысленно благодарили оратора, который при всех так ясно дал понять, что у их отца и у всей их семьи общего с Игнатием Краснобаевым только фамилия. Только фамилия!

Слушающим Прохорова хотелось верить, но ещё не верилось, что к власти придут простые, совсем простые люди, составляющие большинство населения Мильвы, и не только Мильвы, но и всей огромной страны. Если бы это всё так и было…

Будет!

Верили в это и три друга — Иль, Маврик и Санчик, слушавшие, обнявшись, такие хорошие слова о том, какой должна быть жизнь.

И об этом тоже должен Маврик сказать своей тётке.

И вот он бежит по плотине так, что в ушах свистит весенний ветер. И ему кажется, что сейчас он бежит вовсе не к тётке, а навстречу времени… Навстречу времени, в котором так много заключено неизвестного, таинственного и прекрасного…